

- ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН
" ПРИГЧА О ПОТЕРЯННОМ БРАТЕ"
- КУДА ИДЕШЬ, ИЗРАИЛЬ?
- ЛАГЕРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДОРЫ ШТУРМАН
- ВАЛГАЛЛА, ГОЛГОФА, ОСВЕНЦИМ
- ПОХИЩЕННЫЙ ЗАПАД,
ИЛИ ТРАГЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

42

22

№ 42

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингера за 1984 год.

Год издания VIII

№ 42

май-июнь 1985

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Притча о потерянном брате 3
ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. Маленькая барабанщица (роман, окончание;
сокращенный перевод с английского Р. Нудельмана) 46

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- СЭМ ЛЕМАН-ВИЛЬЦИГ. Конец идеологии? 105
АМОС ОЗ. Спящая красавица: грезы и пробуждение 117
АЛЕКСАНДР ГОРДОН. Герои нашего времени. 122
АВИГДОР ЭСКИН. Либеральная демократия и еврейское
государство 125

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- ДОРА ШТУРМАН. Ни мне меда твоего, ни укуса твоего 136

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- ШЛОМО ШОХАМ. Валгалла, Голгофа и Освенцим 164

ЗАПАД – ВОСТОК

- МИЛАН КУНДЕРА. Похищенный Запад, или трагедия
Центральной Европы. 181

ИСКУССТВО И ДЕЙТЕВИТЕЛЬНОСТЬ

- АЛЕКСЕЙ БЫСТРИЦКИЙ. Архитектура нового типа 200

ЛЮДИ И КНИГИ

ВИКТОР КАГАН. Наука ломать	213
ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Семейная хроника.	220

ПИСЬМА

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ	222
-----------------------------	-----

На последней странице обложки — Меир Гельфанд (1930 — 1985)

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман
И. Чаплина	

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии
"ЯКОВ ПРЕСС"
ул. Рош-Пина, 22
Тель-Авив

ЛИТЕРАТУРА

В этом и в следующем номере мы публикуем главы из нового романа Ф. Горенштейна "Псалом", который широко читается французским читателем, но все еще неизвестен читателю на русском языке, на котором этот роман написан. Автор живописует советскую жизнь глазами еврейского пророка, посланного на землю во исполнение пророчества Иеремии о посланце, несущем не благословение, а проклятие. Жестокость и подлость окружающей жизни вызывают у автора гнев, в глубине которого все же остаются семена понимания и утешения, но не всепрощения.

Фридрих Горенштейн

ПРИТЧА О ПОТЕРЯННОМ БРАТЕ

(Главы из романа "Псалом"; полностью роман будет опубликован в издательстве "Страна и мир"), © автора

Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены, — так говорил пророк Иеремия в пасмурный, как и ныне, день, глядевший на пустые поля земли обетованной, которые в осенние сумерки были необжиты и страшны, как и темное, грозное небо над ними, — смотрю на землю и вот она разорена и пуста — на небеса, и нет на них света.

И действительно, из окна бывшего кабака, ныне народной чайной колхоза "Красный пахарь", видна была та самая земля и то самое небо, которые терзали сердце еврейского пророка, проникнутое состраданием сердце пессимиста-человеколюбца, печальника-псалмопевца.

Надо попутно заметить, что если более чем две тысячи лет нынешней цивилизации почти не изменили характер оптимиста, не убавив у него ветренных легких восторгов и не прибавив ума, то пессимист изменился полностью... Утратив лиричность, он приобрел философскую остроту и надменное презрение к жизни... Впрочем, из всех, собравшихся в тот вечер в народной чайной колхоза "Красный пахарь", обо всем этом имел понятие только один человек, да и тот подросток, почти что мальчик, причем явно не из местных, так что на него остальные посетители первое время довольно часто поглядывали. Мальчик этот сидел

в стороне от общества, в самом неудобном месте, за столиком у окна. Одет он был по-городскому и вида явно еврейского, но так как в этот год коллективизации и неурожая из города приезжало множество уполномоченных и среди них немало евреев, то мальчик-подросток вскоре примелькался посетителям и о нем забыли. К тому ж от окна, частично заколоченного фанерой, сильно дуло и столиком у окна никто из опытных посетителей не пользовался.

Посетители чайной были в тот вечер из самой зажиточной по нынешним временам части местного населения — трактористы-ударники, собравшиеся после районного слета. По случаю слета в буфет привезли селедку и булочки, а в чайную семечки и монпансье-леденцы. И потому с раннего еще утра ударникам-трактористам начали досаждать нищие. Да еще полбеды, если только из своего села Шагаро-Петровского. Шли отовсюду — из Ком-Кузнецовского, и из поселка Липки, и с хуторов...

— Господи! Иисусе-Христе... Сыне Божий...

Этот припев, исполняемый то звонким детским голосом, то старческим заплетающимся шепотком испокон веков сопровождал традиционный русский неурожай и голод. И во времена Бориса Годунова, и во времена более поздние, описанные Львом Толстым и Короленко, отцы и матери и все работающее население в разорении и голоде становилось нахлебником детей своих и стариков, живя Христовым именем. Когда-то Короленко назвал нищего на Руси грандиозной народной силой. Однако ныне к неурожаю и голоду прибавились страх и волнение, и эта сила, последняя сила в беде, начала изнемогать. Церковь, за грехи ее, стала прахом, а о народе без пастыря давно еще с тоской сердечной сказал Иеремия: "Неразумные они дети и нет в них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют..."

И ранее не все подавали с охотой, не по добром сердцу, а из страха перед грехом. Ныне же все грехи небесные были отменены новой властью, а в церквях, где еще недавно священники равнодушными устами превращали живые истины в мертвые побрякушки, в церквях ныне пахло сырым погребом, спиртной запах стоял от преющей соломы и дурно хранящейся картошки. Иисус Христос из колена Иудина был повсюду отменен и заменен, снят со стен в местах общественных, соскоблен и заклеен. Но нищенствовали по-прежнему Христовым именем хотя бы потому, что ничего другого для нищих придумано не было, ибо нищий, испокон веков стоящий на самой низкой ступени общества, для пропитания своего может

пользоваться лишь самым высоким, чтоб воздействовать на черствость братьев своих. Но кто мог додуматься нищенствовать именем Совета Народных комиссаров и при этом не сойти за провокатора, караемого ГПУ? Поэтому Христово имя для нищенства было сохранено как анахронизм, подобно некоторым маркам дореволюционных папирос.

Итак, к вечеру, когда в народной чайной раздался обычный припев:

— Господи! Иисусе Христе... Сыне Божий, — мало кто поднял голову от беседы или от питья морковного чая с леденцами монпансье, или от настоящего застолья, что шумело у стола бригадира. Там стоял штоф разбавленного спирта и лежало на тарелках рядом с селедкой настоящее розовое сало...

Незадолго перед этим подали двум мальчикам-братьям, которые пели и плясали "цыганочку", потом старику, потом женщине с грудным младенцем... Нищета назойлива, у нищеты нет ни такта, ни совести, ее желание — побольше урвать для себя, опередив своего же брата нищего...

Вошедшая в чайную девочка явно не желала знать о том, что люди устали за день, что они ели и пили свое, добытое тяжелым трудом, а также счастливым везением и привилегией, что нищие надоели им как слепни, сосущие кровь рабочей лошади.

Вообще в нищенстве детей есть нечто наглое и требовательное в отличие от нищенства взрослых и, особенно, стариков. Во-первых, ребенок-нищий редко плачет, стараясь разжалобить, а если плачет, то явно фальшиво, видно, что его научили плакать, а не он сам. Во-вторых, благодарит он за подавание без удовольствия, а часто и вовсе не благодарит, берет как должное, словно все вокруг должны ему и словно все вокруг ему родные отец и мать. К тому ж, в народной чайной женщин не было, а мужчина в чайной подаст скорей, если нищий его не разжалобит, а наоборот, развеселит, как щедро подали двум братьям, плясавшим "цыганочку". Но девочка, видно, нищенствовала недавно, она не веселила публику, просто шла меж столиков, заученно произнося Христово имя звонким голоском как детскую считалку. Лицо у девочки было типично "бабье", спокойное, в серых глазах нечто меж глупостью и добротой, а в губах уже женское, припухлое, но понятное не ей, а более со стороны и лишь опытному глазу. Такие лица обычно бывают круглы и сыты и от малого, от кусочка хорошего хлеба и ломтика сала, но видать малого этого не было давно. Малое это щедро

лежало на столе бригадира, но от того богатого стола ее прогнали, а у других столов, победнее, на нее никто и внимания не обратил, даже леденца не подал или горсти семечек. Тому, как известно, были причины — народ жил трудно, устал от нищих и не боялся греха. Девочка, обойдя все столики, направилась было к последнему, самому дальнему, где сидел городской мальчик еврейского облика. Но вдруг остановилась в нерешительности. Надо заметить, что все нищие, посещавшие чайную в этот вечер, не подходили к дальнему столику, наверное, опасаясь городского чужака. Девочка тоже сразу признала в нем чужака, но не потому она остановилась в нерешительности. Свои не подали, и она как раз решила просить у чужака в надежде, что тот подаст. Взгляд остановил ее, мгновение, словно вспышка огня межзвездного из темных глаз. Она, конечно, не знала, что это взгляд Аспида, Антихриста, предсказанного пророком.

Нет, не того Антихриста, о котором кликушествуют христианские живописцы и проповедуют философы, не Антихриста — врага Христа, и не того Антихриста, которым балуются мистики-модернисты, называющие Антихриста Творцом и ставящие его выше Господа, а Антихриста, который вместе с Братом своим делает Божье... Один послан для Проклятия и Суда, другой для Благословения и Любви... Один с горы Проклятия Гевал, другой с горы Благословения Геризим... Лишь на мгновение, подобно блеску молнии не сдержал своих чувств Дан из колена Данова, предсказанный Иеремией, но тягостно вдруг стало в народной чайной, затих говор и все головы, даже бригадира трактористов, человека влиятельного, втянуты были в плечи невольно и бессознательно, что случается, когда мимо проносится нечто тяжелое или острое, несущее смерть...

Причина несдержанности чувств у Дана была тоска по дому своему, которая была свежа, как недавно вырытая могила. Ненастный вечер с дождем, столь нередкий осенью на Харьковщине, еще более усилил эту тоску, которая доходила до крайности при виде чужих, далеких сердцу его лиц, к тому ж веселивших друг друга и друг другу приятных, что подбавляло последние капли к жгучей тоске чужака... Весь вечер Дан, Антихрист, впечатлительный, как все еврейские дети, старался найти для глаз своих, умных и злых глаз Аспида, покойный предмет, чтоб если и не развеселить душу, то хотя бы дать ей передохнуть. Но обращался ли он внутрь народной чайной, повсюду были темные головы отступников и на унылых

лицах не было ни тени лиризма, на наглых — ни тени величия, а на добрых — ни тени ума. Обращал ли он свой взор вне народной чайной, и за окном являлась та, российская, осенняя провинциальная безнадежность с мокрыми тополями у дороги, с собачьим лаем, с двумя—тремя мигающими вдали огоньками, что хоть закричи, хоть заплачь, ничего противнее не действует, кроме стакана бурякового самогона. Но славянский рецепт был непригоден сыну Иакова, в забвении видевшему подобие смерти. Смерть же, столь возвеличенная во многих восточных религиях и философских системах, была ненавистна народу его, смерть ли физическая, смерть ли в буддийском созерцании... "Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей". Так сказано в псалме номер шесть. Смерть лишает человека возможности исполнить долг свой — сознательно любить Господа. В буддистской же нирване он любит не Господа, он любит себя... Всякому посланцу Неба, идущему земным путем, не избежать человеческого. Дан помнил это наставление, оно было записано на повязках его рядом с изречениями из Закона Моисеева, повязках, прикрепленных к запястьям. Но здесь, на Харьковщине, в первые часы свои все человеческое было еще чуждо Дану, и потому он обратил взор свой внутрь себя и увидел город свой, освещенный солнцем месяца Нисан.

Овечьи ворота и Рыбные ворота и ворота Источника у водоема Селах против Царского сада у ступеней... И Печную башню... И Оружейную на углу близ гробницы Давидовой. И выкопанный пруд у дома Елиашива, первосвященника. И Верхний дом царский возле двора темничного, где страдал великий провидец Иеремия. И стену Офел. И Конские ворота против дома торговцев. И Водяные ворота на площади Торговцев, где с деревянного возвышения великий книжник Ездра от рассвета до полудня читал народу, павшему духом в Вавилонском угнетении, Книгу Закона Моисея, и уши народа были преклонены к Книге. Ездра из колена Левия читал, а священники поясняли. Дан знал, что Ездра пережил самое счастливое, что может пережить пророк — редкую покорность народа доброму. "И открыл Ездра Книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал".

Дан помнил, что, приобщаясь к великому, слушая слова Закона, весь народ, стоя, плакал от счастья. Тот самый народ, который не-

сколькими веками ранее сжег проповеди Иеремии, а несколькими вечерами позже отверг царя своего Иисуса из колена Иудина. Дан знал, что Брат его Иисус мечтал об успехе, выпавшем на долю Ездры, Брат мечтал подняться с рассветом на деревянное возвышение среди площади Торговцев у Водяных ворот и увидеть в глазах народа радостные слезы раскаяния. Ибо он любил народ свой также страстно, как великий книжник Ездра, свой народ с медными лбами упрямота и железными жилами в шее, жилами непокорности Господу. Он любил свой народ так, что порой даже терял благородство в словах. Это ведь Он, Иисус, Брат Дана сказал, что живет ради своих злых детей, а не ради чужих добрых псов. Но эту его мысль, которую весьма бегло и неполно, но по сути ясно изложил евангелист Матфей, христианские проповедники, начиная с Савла из колена Вениаминова, впоследствии апостола Павла, первого выкреста на земле, христианские проповедники как-то ухитрились не заметить... Брат его жил и боролся ради своего народа и умер от рук тех, кто сотрудничал с римскими оккупантами, кого по нынешним временам именуют "коллорабационистами". Так же, как свои угнетенные братья не поняли его любви к ним, также и чужие угнетатели не поняли его ненависти к ним. В истории с римлянином Пилатом, пытавшимся выручить Иисуса, повторяется история с Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского, выручившего Иеремию из темницы, куда он был посажен своими братьями как пораженец. Ибо и Иеремиа, и Иисус указывали на путь непротivления злу, который кажется идеалистическим только тем, кто не понимает основы еврейской мысли — предельная практичность в бытии, при предельной метафизичности в Небесном. Путь непротivления злу перед лицом сильного нечестивца возможен однако при одной важной оговорке, указанной у Иеремии. В принципе она звучит так: пусть нечестивец берет все, но и ты должен взять у нечестивца, в качестве добычи своей, душу свою... Главное перед лицом нечестивца сохранить, как добычу, душу свою, ибо нечестивец душу свою рано или поздно потеряет, а любовью твоей, которой ты полюбишь его взамен на зло его, воспользоваться не сумеет. Ты же сам ею и воспользуешься. Вот она, предельная еврейская практичность мысли о непротivлении злу насилеи... Но перед лицом современного нечестивца, созданного движением цивилизации, все менее возможна оговорка пророка Иеремии, оговорка, которую знал и на которую рассчитывал

Брат Дана Иисус из колена Иудина, Брат с горы Благословения Геризим...

Ох, как далеко в мыслях своих и видениях своих ушел Дан от осеннего дождливого вечера села Шагаро-Петровское Димитровского района Харьковской области к тому моменту, когда девочка-нищенка направилась было к нему в надежде, что он ей подаст милостыню. В первые секунды, когда он обратил к ней еще не остывший от Нездешнего взор свой, она сильно испугалась, так испугалась, что и хотела бы закричать, да сил нет. Когда же силы начали к нищенке возвращаться, Дан уже протягивал ей кусок хлеба, который достал из своей пастушей сумки грубой необработанной кожи. Хлеб этот был нечистый хлеб изгнания, завещанный Господом через пророка изгнания Иезекииля. Испечен он был из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы. За грехи завещал Господь печь этот нечистый хлеб изгнания на человеческом кале, но пророк Иезекииль выпросил у Господа право печь его на коровьем помете...

И тот, кто подавал, и милостыня его пугали девочку, но она была голодна и взяла кусок нечистого чужого хлеба. Гул прошел по народной чайной. Общество было уязвлено. Что-то старое, полузабытое всколыхнулось сперва в наиболее добрых лицах, затем перешло к лицам унылым, а затем своеобразно, в виде негодования коснулось и лиц наглых. Они, местные люди, своя кровь, отказали девочке-нищенке, в то время как чужак, городской еврей, подал ей. Сперва сидевший ближе всех над морковным чаем худой мужик, еще не старый, но уже без передних зубов, так что хлебные корки ему приходилось мочить в кипятке, а уж потом не жевать, а сосать, что было, кстати, и экономней, — сперва этот беззубый протянул девочке такую размокшую корку, потом другой поодаль дал ей два леденца монпансье, кто-то сыпанул горсть семечек и, наконец, от самого богатого стола, где сидел бригадир трактористов, девочку поманил сам "ваше благородие".

— Иди, дура, — шепнул ей беззубый мужик, — не робей... Петро Семенович теперь добрый. Ты сальца проси...

И точно, едва подошла девочка к столу, как бригадир Петро Семенович торжественно и на глазах всей публики, как вручают награду ударнику — отрез полотна в два метра или сапоги — вручил ей кусочек сала на газетной бумажке...

— Вот так, — сказал Петро Семенович, — а ты к чужим обращаешься за помощью... Чужой, он, может, еще и из враждебного лагеря, кулак или подкулачник... Это еще треба уразуметь...

Петро Семенович был в данный момент человек выпивший, и его тянуло на разные политические высказывания. Девочка же, не смея возражать и будучи испугана второй раз за короткое время, правда, по другому поводу, молча взяла сало и начала его заворачивать в газету.

— А что ж ты не ешь, дитяtko, — сказал Петро Семенович, на которого вдруг нашло новое и он прослезился, — кому ж ты бережешь, такая малая? Разве ж есть у тебя дети?

— Меня на крылечке брат Вася дожидается, — робко сказала девочка.

— Брат Вася, — сказал Петро Семенович, — то добре. А тебя ж как звать?

— Мария, — сказала девочка.

— А отчего ж это, Мария, брат твой Вася тебя просить посылает, а сам на крылечке прохлаждается?

— Он малый еще... Боится...

— Отчего ж бояться, — обиделся Петро Семенович, — здесь не звери... Свой народ... Село... Другое дело посторонние люди... Их следует бояться, ежели они без мандата... Ты, видать, местная, что тебя в такой поздний час отец просить отпускает...

— Отец прошлый год помер, — сказала Мария.

— А как звали отца? — спросил Петро Семенович.

— Не знаю, — сказала Мария.

— Это как же понять, — удивился Петро Семенович, — а мать твою как звать?

— Не знаю, — сказала Мария, — мать и мать.

— Э-э, — сказал Петро Семенович и по-хохлацки вытер большим и указательным пальцем концы губ своих, — да тебя, дитя, кто-то дурному научил...

— Брось, Петро, — сказал чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, — хай ее идет...

— Нет, подожди, Степан, — сказал Петро Семенович, — тут что-то нечисто... А фамилие твое как?

— Не знаю, — сказала девочка, уже едва не плача.

— Тикай, — шепнул ей беззубый мужик, шепнул едва слышно.

Но Петро Семенович, который разом возбудился и попал в свою колею, уловил и засек шептуна.

— Я тебе пошепчу, — сказал он, прихватив девочку за руку, — в сибирские переселенцы захотел? Я знаю, что по хуторам скрываются многие семьи кулаков и подкулачников, чтоб не переселяться

в Сибирь... Ты ж с хутора, — сказал он, приблизив к Марии свое страшное лицо с сабельным шрамом от гражданской войны.

— С хутора, — едва живая от испуга отвечала Мария, — с хутора Луговой.

— Вот сейчас ты дело говоришь, — сказал Петро Семенович, несколько успокаиваясь, — продолжай показания свои по порядку.

— Дяденька, — сказала Мария, — фамилию свою я не знаю, не знаю как звать отца и мать, потому что с нами родители никогда не занимались, да и было им не до нас, так как они всегда заняты колхозной работой, а теперь, как отец помер, и вовсе мать то в доме, то в огороде, прибирать надо, сеять и прочей работой заниматься, а нас ничему не обучила. Есть у меня большие брат Николай, и сестра Шура, и маленький брат Вася, и Жорик, тот еще в люльке.

— Молодец, — сказал Петро Семенович, — вот теперь ты не придуриваешься. А только как же вас кличут? Вот меня, например, сыном Семена в детстве все соседи звали... Вон, сын Семена пошел... А вас как?

— А мы гражданкины дети, — сказала Мария.

— Это как же понять "гражданкины"? Это в Димитрове или Харькове "граждане". А здесь крестьянство... Что ж вас "гражданкины дети" кличут? Мать у тебя, выходит, городская?

— Нет, — опустив голову, сказала Мария.

— Врешь, — сердито сказал Петро Семенович, — врешь, в глаза не смотришь, — речь его вдруг почти утратила украинский акцент и украинские словечки, стала сухой, русской, протокольной. — Почему ж вас "гражданкины дети" называют, если вы не из города?

— Ну называют и называют, — снова пытался вставить слово чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, — что ты, Петро, не знаешь деревенских кличек?

— А ты помолчи, заступник... В адвокаты, что ли, записался? Так ты не жид, чтоб тебя в адвокаты приняли... Ну, продолжай, — обратился он к Марии.

— Говори, девочка, не бойся, — сказал ей чернявый.

— Прошлый год помер наш отец, год был голодный.

— Это я уже слышал, — сказал Петро Семенович, — дальше...

— Нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше, — сказала Мария, — после отца у нас завалилась хата и нам управление колхоза дало другую хату, возле тамбы... И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все пухлые и большая часть наших детей лежат больные... Менять у нас не осталось ни единой

тряпочки, что на нас, что под нами и только кроме лохмотьев ничего...

Мария замолчала. Молчал и Петро Семенович. Молчали все. Эта девочка-нищенка рассказывала о том, что все знали и что многие сами перенесли, но почему-то произнесенное сейчас вслух детским голосом, да еще по принуждению, оно прозвучало словно молитва-жалоба о тяготах и горестях своих. И, может, оттого, что давно уж не молились, у многих на глазах показались слезы, а Петро Семенович сидел с побелевшим от тоски и гнева лицом, лишь сабельный шрам его налился кровью.

— Вот что они с нами, буржуазные пьявки, делают, — сказал он тяжело, сквозь зубы, — капиталистическое окружение... Ничего, выдюжим... Не позволим позлорадствовать... В гроб вгоним, — вдруг он рывком поднял голову, — а где ж тот, который у окна сидел, который хлеб подал? Ну-ка, предъяви подачку свою, — сказал он Марии и протянул к ней огромную ладонь, из которой торчали железные пальцы-прутья, способные в секунду сжать горло до смерти.

И в эту намозоленную орудиями труда и оружием ладонь лег кусок нечистого темнокоричневого хлеба изгнания, изготовленного по рецепту пророка Иезекииля.

— Так и знал, — сказал Петро Семенович, — не наш хлеб, заграничный хлеб... Эх, не проявили бдительности...

И верно, место у окна было пусто. Никто не видел, как ушел чужак.

— Надо б в сельсовет, — крикнул Петро Семенович, — Степан, — обратился он к чернявому, — мотай в сельсовет, звони Максиму Ивановичу, уполномоченному ГПУ... А мы пока здесь пошукаем... Ну-ка, пять человек айда со мной... Ты, ты, ты, ты... — И он на ходу совал пальцем в лица посетителей народной чайной, отбирая из них подходящих для поиска и преследования.

Так же на ходу вытащил он из тужурки выдавший виды наган с облупившейся краской и много раз чиненный собственными руками умельца-самоучки. Редкой цепью по грязи и лужам побежала группа преследования вдоль сельской улицы — вдоль темных хат и собачьего лая.

Между тем дождь прекратился, дожидаясь, видать, рассвета, чтоб уж зарядить на целый день, когда голодные жители выйдут из своих хат по делам личным и общественным. Явилась луна, украинский месяц, который здесь на Харьковщине, где была сильная

примесь России, может быть, и не был так маслянист, как полтавский, но все ж отличался от рязанского меньшей строгостью и большей лучистостью и игрой. В свете этого месяца и выбежали на тамбу, как называли здесь почему-то большую дорогу в город Димитров.

— Видать, в заказ побежал, — сказал беззубый мужик, также попавший в преследователи, — в заказе не споймаешь, ночь...

А заказом на местном наречии именовался лес, темневший вдали за полем.

— Ты чего, Охрименко, народ дезорганизуешь, — по-революционному, как в восемнадцатом году, заиграл желваками Петро Семенович, — да я контру не то, что из заказа, из-под собственной шкуры своей, если она туда спрячется, ногтями выцарапаю. Многих я уже так преследовал и от многих социалистическую землю очистил...

И верно, многих преследовал на своем веку Петро Семенович, нынешний бригадир. Интеллигентов-деникинцев, кстати, жестоко замучивших в плену его лучшего и единственного друга, пулеметчика и тезку — Петра Лушню, и мужиков-петлюровцев, оставивших на лице сабельную отметину до самой смерти. Помнит Петро Семенович, как неподалеку от села Ком-Кузнецовское, или попросту Кузнецовки, перехватил он на тамбе петлюровскую подводку, груженую награбленным еврейским барахлом из города Димитрова. Петлюровцев тут же, невзирая ни на какие мольбы, шашкой порубал, — Петро Семенович любил шашкой рубать, из нагана он стрелял реже, а из карабина и вовсе редко, больше любил врукопашную, — итак, петлюровцев шашкой, а потом и до еврейского барахла очередь дошла. Пух из перин выпустил, бархатные платья с кружевами, платки, простыни, какие-то кацавейки тоже в куски, а серебряные рюмки и подсвечники в реку выбросил, поскольку бессеребренник... Был случай, кое-кто из его отряда пытался еврейское барахло присвоить, так он его мигом к стенке. Тоже плакал, тоже умолял, вошь кобылья. Но зачем такому на свете жить? Если уж вор, не умеешь жить честно, воруй свое, полушубок укради или коня. А на что мужику еврейская перина или бархатное платье с кружевом? От него дух неприятный в хате — не мочеными яблоками и коровьим дерьмом пахнет, а сладкими конфетками воняет. Вот такой человек был Петро Семенович, бригадир. Воевал крепко, но соблюдал принцип — руки хоть и в крови, но чистые... И в прошлом году, когда Митька-кулак, сын мельника, поджег

колхозную конюшню, преследовал его Петро Семенович вместе с уполномоченным ГПУ Максимом Ивановичем и настиг в заказе, схватил за горло, а когда Максим Иванович подбежал со своим обычным: "Руки вверх!" сдаваться уже некому было... Составили акт, заверили в сельсовете, направили в Димитров, а удушенного Митьку выдали старику-мельнику для похорон. Многих преследовал и многих настиг Петро Семенович, но никогда еще не бежал он по следам Антихриста, как бежал он сейчас под своей харьковской луной, более постной, чем полтавская, но более игривой, чем рязанская.

А играть, надо признаться, было чем, поскольку село Шагаро-Петровское красивое даже и в осеннюю пору... И хутор Луговой, где жила Мария, девочка-нищенка, совсем рядом. Хата их новая, которую выдало им колхозное управление вместо старой, завалившейся, стояла на отшибе, а против хаты был цветник, где летом собирали ягоды, землянику и грибы. В цветник этот можно было лазить лишь тайком и с большой опасностью, поскольку принадлежал он санаторию. Санаторий этот стоял на бугре, и мать рассказывала, что в санатории этом раньше жила старая барыня, которая после революции сильно озлилась и все норовила какого-либо мужика или мужичку палкой ударить, а дочь ее, добрая плаксивая барышня, постоянно мать удерживала. Но однажды дочь зазевалась, и старуха-помещица выбежала за ворота с палкой, и ударила этой палкой мужика Володьку Сенчука, проходившего мимо из кабака, а тот, поскольку был пьян, развернулся да как врежет в ответ, тут из старухи и дух вон... Потом барышня куда-то уехала, а в доме организовали санаторий для рабочих из Димитрова. При санатории был большой яблоневый сад, куда Мария часто лазила, пока были яблоки, и кормилась этими яблоками, и домой носила. Тут же была церковь — ныне колхозный склад, рядом колхозный клуб и водяная мельница шумела, а река под бугром текла в другое село — Ком-Кузнецовское. По другую сторону тамбы был заказ, а за заказом село Поповка. Мария помнит, что очень давно, когда она была совсем малая, меньше брата Васи, а брат Вася еще лежал в люльке, как Жорик, а Жорика вовсе не было, мать и отец, одетые по-праздничному, веселые, взяли ее с собой в Поповку к дедушке и бабушке. Шли пешком сперва полем, потом через заказ. Пришли в какой-то большой двор, и из сарая вдруг выскочил поросенок. Мария испугалась и закричала, а мать взяла ее

на руки и успокоила. У бабушки на тарелке лежали красные яички, потому что была Пасха. Бабушка сказала:

— Деточка, скажи "Христос воскрес", и я дам тебе яичко.

Но Мария испугалась и ничего не сказала, а бабушка все равно дала ей яичко. Это было давно. Больше Мария никогда не была у бабушки и не знает, то ли они с дедушкой померли, то ли уехали. С тех пор и отец помер, и голодно стало, и в голодное это время брат Вася подрос. Сначала был он веселый, ласковый. Мария только с ним время и проводила, потому что у сестры Шуры, брата Николая и матери были свои дела. Но потом у Васи стал увеличиваться живот, а ножки сделались очень тоненькие и он больше сидел, чем ходил. Переступит раз—другой на печке и садится. И стал он угрюмым, злым. Щипаться у него сил не было, так он кусался. Но не всегда — когда поест что-либо, опять ласковый становится. Мария не хотела брать его с собой просить, но сестра Шура сказала:

— Бери, у него вид болезненный, больше подадут.

Мария не стала спорить с Шурой, та за споры и побить может, но когда пришла к чайной, Васю на крыльце оставила, в уголочке на лавочку посадила, с себя платок сняла и ему лицо укутала. Подали на сей раз хорошо, хоть и испугали два раза — тот городской и бригадир. К тому ж бригадир отнял хлеб, поданный городским. Однако и без того набралось — и корок хлебных, и семечек, и леденцов несколько, и главное — кусочек сала. Вышла Мария на крыльцо, а брат Вася, так же как оставила она его, сидит, словно спит, но не спит, а смотрит, глаза открыты.

— Пойдем, Вася, — сказала Мария, — поздно уже, ночь.

— Не хочу, — говорит Вася, — далеко идти, лучше здесь до утра посидим, притулись до меня, Мария, теплой будет.

— Глупый ты, — говорит Мария, — да тебя отсюда прогонят. А в хату придем, поедем, что я выпросила, может, и мать что даст, или сестра Шура.

— Что ты выпросила? — спрашивает, — дай мне хлеба, а то не дойду.

— Да я, Вася, кое-что и послаще выпросила, — с гордостью говорит Мария и показывает сало.

Вася хватъ сало и целиком в рот запихал, весь кусок.

— Как же ты, Вася, так, — говорит Мария, а потом подумала и не стала жалеть. Пусть, думает, ест, он из нас самый замученный.

Поел Вася сала, встал и говорит:

— Пойдем домой до хаты.

Пошли они темной улицей, потом полем, потом через тамбу перешли и пошли мимо заказа. А заказ шумит мокрыми ветвями, какие-то птицы ночные пугают. Но ни Мария, ни Вася не боялись ночи. Волков тут давно уже под корень истребили, а из людей кто польстится на нищих детей. Разве что из озорства, но в голодное время и лихой народ озоровать перестал, потерял разбойничий идеализм и стал слишком практичен — продкомиссара подшибить или склад зерна ограбить. Впрочем, какой-либо интеллигент-разночинец, мучаемый желанием понять идею всемирного страдания и причины, по которым оно было допущено Богом, какой-нибудь поклонник Мессии Достоевского, этот мог бы зарезать нищих детей из соображений доктринерских. Но в результате революции таковые либо сильно повымерли, либо сильно по форме преобразовались, да и в лучшие свои времена водились они в местах более кликушеских, где икон побольше, а на скучную Харьковщину не забредали. Так что, благодаря всем этим обстоятельствам, Мария и Вася благополучно дошли до своего хутора и вот уже шум плотины у водяной мельницы слышен, вот уж и церковь со сбитыми крестами показалась, а вот и забор санатория. Постучали они в хату, отперла сестра Шура и говорит:

— Пришли... Мать уж беспокоится, а я говорю — придут...

Мать обняла и поцеловала Марию и Васю и спрашивает:

— Выпросили вы что-либо, дети?

— Выпросили, — отвечает Мария.

— Тогда садитесь в уголочек, поужинайте вместе и спать ложитесь, а то у меня с Колей и Шурой разговор.

— Я, мама, сало выпросила, — говорит Мария, — но его Вася съел сам, весь кусок.

— Ничего, — говорит мать, — Вася слабый, ему надо. Ужинайте, а мы с Колей и Шурой уже сыты.

Поели Мария и Вася людскую милостыню, погоревали, что отнял у них бригадир кусок хлеба, который подал им городской чужак, и полезли на печь, прижались друг к дружке, заснули. А мать со старшими своими детьми, Шурой и Колей, продолжала разговор.

— Нет у нас, — говорит мать, — ни коровы, ни одежды, ни хлеба. За лето заработала я в колхозе десять килограмм ржи, да и с картошкой плохо. Ничего нам не остается, кроме двух исходов — либо мы помрем, либо останемся в живых, но неполноценные... Кормить вас, дети, мне нечем, и решила я вас разделить. Меньших свести

со двора, а ты, Коля, и ты, Шура, пойдете на колхозное поле, сможете себя прокормить.

— Это верно, — сказала Шура, — если оставить на нашей шее Марию, и Васю, и Жорика, то нам не справиться. Может, их разберут люди, или в приют возьмут, и они останутся в живых.

— А если помрут, — сказала мать, — то пусть хоть не на глазах моих. Тяжело мне видеть, как они на моих глазах помирать будут.

И приняли они решение — свести малых детей со двора.

Еще не рассвело, как разбудила мать Марию и Васю, а Жорик к тому времени уж был вынут из люльки и завернут в красное теплое одеяльце. Вася, тот, конечно, вставать не хотел.

— Холодно, — говорит, — еще на дворе, еще солнце не поднялось.

Мать отвечает:

— Пойдемте, дети, в город Димитров на ярмарку, может, что наменяю или куплю, будет вам подарок. Может, веточку куплю, на которой привязаны сушеные сливы, орехи да леденцы. Помните веточки, какие вам давали на поминках у отца?

Мария не только встала послушно, но и в помощь матери говорить начала, чтоб Васю поднять.

— Помнишь, Вася, какие были сушеные сливы? Только спешить надо, потому что город далеко и если запоздаем, другие крестьяне придут и разберут.

Вышли еще при сером пустом небе. Опять привычно миновали забор санатория, церковь, мельницу, а как спустились с бугра в поле, небо осветилось и над заказом всплыло нетеплое утреннее солнце.

Мария и Вася шли, взявшись за руки, а маленького Жорика, закутанного в красное одеяльце, мать несла на руках, и было ему лучше всех. Пока шли полем, Вася несколько раз порывался присесть передохнуть, ибо ножки у него были тоненькие, плохо держали тело, но мать и сестра его то стыдили, то уговаривали, а как вышли на тамбу, и Вася прибодрился, ровней пошел, не переваливаясь. Солнце меж тем уже отошло от заказа, осветило все небо, стало тепло, огромная стая перелетных птиц опустилась неподалеку в надежде найти и поживиться бесхозяйственно брошенными колосьями, и какое-то насекомое, блестя крыльями, выпорхнуло из-под самых ног, понеслось и исчезло в придорожной канаве. И стало ясно, что осень не такая уж и поздняя, что в прежние удачные годы в это время в речке купались, и дачники из города Димитрова жили на дачах и варили варенье из деревенских ягод,

которые носили им и мать, и сестра Шура, и другие женщины. Даже Мария помнит, как пошла с матерью за ягодами и продала их дачникам, как в саду санатория играл оркестр и какой-то дачник с бородкой смеялся и что-то говорил матери, и мать тоже смеялась и отмахивалась от него, а дачник с бородкой вдруг поймал ее руку, и когда мать вырвала руку и пошла с Марией домой, то всю дорогу улыбалась. Мать была тогда бела лицом и носила на черных волосах цветастый платок, который прошлой зимой выменяли на пшено.

Потеплевшее солнце, и похорошевший день, и ветряк, который неподалеку лениво вертел деревянными крыльями, и колхозные подводы с мешками зерна, которые согласно государственному продналогу сворачивали с тамбы к ветряку, все это видно и мать одурманило и пробудило приятное. Она вздохнула как-то от души и задумалась без грусти. А Вася, который уж давно ходил с трудом, тут взбрыкнул подобно жеребцу на раннем выпасе и радостно побежал к канаве, чтоб поймать пролетавшее красивое насекомое и задавить его. Дышалось легко и усталость исчезла. Тут и первые дома показались каменные, не сельские.

— Вот мы, Васечка, и пришли, — весело сказала Мария, — вовремя на ярмарку успели.

— Нет, дети, — словно пробудившись от дурмана, сказала мать, — это еще не город Димитров, а поселок Липки. Возьмитесь за руки, поскольку здесь народу уйма, затеряетесь.

В поселке было тесно от людей и подвод, и сразу стало очень голодно. На площади у большого каменного дома в безветрии провисало полотнище красного флага и сильно пахло пшенной кашей со смальцем. Вася захныкал, что хочет каши или хлеба, а Мария сказала:

— Мама и ты, Вася, не горюйте. Я сейчас пойду к тому дому, начну просить и мне подадут.

Но мать сказала:

— Некогда нам, дети. До Димитрова далеко, мы на ярмарку не успеем. Лучше выйдем за поселок, тут колодец есть с такой чистой водой, что попьете и наедитесь.

И верно, как попили, есть стало меньше хотеться, пошли дальше.

Уж далеко за полдень пришла мать с тремя своими детьми в город Димитров. Никогда не была до того Мария в городе Димитрове, только слышала о нем, и Вася никогда не был, а мать уж была здесь и все здесь хорошо знала, потому шла, ни у кого дороги

не спрашивая и пришла куда хотела. Остановилась она возле большого красивого дома с железным крыльцом, увитым диким виноградом. И рядом на улице, мощеной булыжником, было много таких же домов и росли деревья, побеленные до половины, как белят в селе хаты. По улице часто проезжали подводы, видно, вела она к ярмарке, и булыжник был щедро усеян соломой, утерянной с подвод. Собрала мать с булыжной дороги охапки этой соломы, постелила на лавочке возле дома и говорит:

— Сидите дети, и ждите меня здесь. У вас ножки болят, и вы устали, а на ярмарке толчея, народу много. Я пойду куплю вам слив сушеных и леденцов, и приду сюда опять.

Васю упрашивать не надо было, он быстро сел, а рядом с ним села Мария с Жориком на руках. И мать быстро ушла, не поцеловав даже детей, чтоб у них не появилось подозрения, будто она их бросает и с ними прощается. Сперва сидеть было приятно, мягко на соломке и солнышко припекало, да еще думалось хорошо про то, как мать принесет с ярмарки сушеных слив. Но вот уж подул ветер, предвестник вечера, и подводы потянулись в обратную сторону с ярмарки, больше порожняком, распродав товар, уж и тощая собака, напугав Васю, подбежала к лавке, на которой сидели дети, а мать все не шла с ярмарки и не несла слив. Вася несколько раз порывался плакать, но Мария успокаивала его, говорила, что время теперь голодное и достать хороших сушеных слив не просто и дело долгое. Однако, когда у нее на руках раскричался маленький Жорик, она сама впала в отчаяние. Жорик был больной, весь в прыщиках да и голодный, он требовал еды, но у Марии ничего не было ни для него, ни для Васи, у нее самой от голода нутро болело, и она тоже заплакала, поскольку не могла заменить ни Васе, ни Жорикку мать. Так сидели они и плакали, а Жорик начал дергать ножками и развернул красное одеяльце, в которое был завернут. Тут открылась дверь, из дома вышел дядька в очках и спросил:

— Откуда вы, дети, и почему здесь плачете?

— Мы с хутора Лугового, — сказала Мария.

— А где ж ваши родители? Отец или мать, — спросил дядька в очках.

— Отец наш помер прошлый год, — сказала Мария, — год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей. После смерти отца у нас завалилась хата и нам управление колхоза дало другую хату вблизи тамбы...

— Ясно, ясно, — нетерпеливо сказал дядька в очках, прерывая слова Марии, видать, для него скучные, — а как фамилия ваша, как мать звать?

— Не знаем, — сказала Мария, — знаем только, что по деревенской кличке мы гражданкины дети.

В этот момент из дверей выглянула очень красивая женщина, одетая в мужскую рубашку с галстуком и спросила:

— Павел, что случилось?

— Да вот подбросили нам детей... Я сейчас позвоню в приют.

— Ну, пригласи их в дом, — сказала женщина, — а то смотри, уж из окон выглядывают и подумают, что мы этих детей чем-то обидели... Заходите, дети, — добавила она, широко раскрыв дверь.

И Мария с плачущим Жориком на руках, и Вася вошли в переднюю, где висело много одежды и пахло чем-то очень вкусным. То был запах нафталина, но для Марии всякий запах был сейчас вкусен, даже исходящий от Жорика запах напомнил ей что-то квасное, которое она ела или пила у бабушки в деревне Поповка на Пасху. Из передней куда-то вверх вела деревянная лестница с перилами, крашенная в зеленый цвет и очень крутая. Вася сделал два шага своими тоненькими ножками и тут же сел, ибо пухлый животик мешал ему. Но Мария шепнула:

— Пойдем наверх, Вася, может, нам что подадут. Может, хлеба подадут, или борщом вчерашним накормят, которого им не жалко.

Она слышала от старухи-нищенки из их села Шагаро-Петровское, что в городе нищим иногда дают в богатых домах поесть борща, которого варят так много, что лишнее выбрасывать приходится, и старухе часто удавалось поесть такого лишнего борща. Но борща им не дали и хлеба тоже, пока добрался наверх Вася своими ножками и Мария с тяжелым Жориком, женщина уже успела наверное убрать борщ со стола, а на стол наложила книг. Дядька куда-то звонил по телефону, телефон Мария знала, он стоял в сельсовете. Очень скоро, как будто из дома напротив, пришла сердитая, коротко стриженная женщина, развернула привычно и грубо одеяльце, посмотрела Жорика, спросила как его зовут и как фамилия. Как зовут Мария сказала, а вместо фамилии начала рассказывать свою историю о завалившейся хате. Но женщина не стала слушать, взяла Жорика и ушла.

— Ну, теперь идите домой, — сказал дядька в очках.

— Нет, домой мы не можем, — сказала Мария, — мы хотим на ярмарку. Там мать наша. Как пройти на ярмарку?

— Очень просто, — оживленно сказал дядька, — проще пареной репы. Идите по улице все влево и влево, перейдете площадь, вот вам и ярмарка.

И он быстро свел по деревянной лестнице Марию и Васю и запер за ними дверь.

Сперва Мария и Вася пошли к ярмарке и быстро ее нашли, но матери там не оказалось, сколько они ни искали. Зато хоть был уже вечер и подводы мало-помалу разъезжались, еще было вдоволь пшена в мешках и лука-цыбули в вязках, и какая-то старушка, похожая лицом на старую нищенку из села Шагаро-Петровское, ту, которая рассказывала Марии о своих удачах в получении лишнего борща от богатых домов, так вот, какая-то старушка продавала сушеные сливы, которые разложила на мешковине кучками. И тут Васе впервые пришла в голову мысль украсть.

— Обеими руками я целую кучку слив схвачу, — говорил он, — и хоть ноги у меня слабые, но и торговка старая, не догонит.

— Да Боже тебя упаси, — отвечала Мария. — Это грех большой. Чтоб я за тобой этого больше не замечала. Да и не убежать тебе. Старуха не догонит, но крик подымет, и тебя другие люди поймают. А знаешь, как воров бьют? Я видела раз, как у нас в селе били цыгана.

— А почему ж, — говорит Вася, — наша мама не купила нам слив, чтоб нам их не воровать?

— Наверно, за платок, который она принесла продавать здесь на ярмарке, мало хотели заплатить, — сказала Мария, — а платок красивый, шерстяной. Это отец ей к свадьбе подарил. Жалко его продавать дешево. Вот она и понесла его продавать в богатые дома. Давай, Вася, походим по городу, может, и найдем нашу маму.

Город Димитров большой, красивый. Тут и бульвар, огражденный забором, забор хоть и железный, но низенький, даже и Вася, если его чуть подсадить, перелезет. Тут и электрических лампочек множество в больших стеклянных окнах, где товары разные лежат — одежда и обувь, а съестных товаров не было, поскольку год был голодный, и съестное городским по карточкам выдавали. А народ по улицам шел все чужой, впервые виденный, незнакомый и потому, когда Мария узнала в толпе возле главпочтамта, в самом центре города уже известного ей чужака, она тут же шепнула Васе:

— Гляди, вот тот, кто нам хлеб подал. Пойдем, может, опять подаст. Ни мамы нашей, ни бригадира рядом нет, отнять некому, мы и съедим хлеб, а то голодно.

Перед главпочтамтом был фонтан, еще дореволюционный, потемневший, с изображением голых деток, сидящих верхом, как на конях, на жабах-лягушках, и из жабьих морд били водяные струи. А рядом был недавно вырубленный из гранита кумир, установленный на пьедестале каменном, так что тяжелая глыба еще не успела соединиться с землей, на которой она установлена, как это бывает со старыми кумирами в городах языческих.

За короткое время своего пребывания здесь Дан из колена Данова, Антихрист, понял, что находится среди язычников, либо недавно принявших эту веру, либо переживавших расцвет этой веры, ибо слишком много кумиров, литых из металла, выстроганных из дерева, высеченных из камня, а также слишком много рисованных изображений было вокруг. Кумиры были разные, но чаще всего попадалось изображение усатое с азиатскими скулами, похожее на вавилонских идолов, против поклонения которым предостерегал пророк Иеремия... Два великих пророка, два ненавистника идолов — Исая и Иеремия предостерегали, но народ не вразумился.

— Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, — с горечью восклицал Исая. — Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотком обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, как становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает на нем линии, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его и выделывает из него образ человека красивого вида, чтоб поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть этого он употребляет на то, чтоб ему было тепло, и разводит огонь и печет хлеб. И из того же делает бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другою частью варит мясо и пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо я согрелся, почувствовал огонь". И из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: "спаси меня, ибо ты мой бог".

Нет, пожалуй, не внове на этой земле язычество и идолопоклонство. Дан из колена Данова, Антихрист видел в местном храме множество старых людей, которые стояли на коленях и преклонялись вырезанному из дерева изображению распятого на кресте

Александрийского монаха-затворника, истязавшего в неверии свою плоть, которого они именуют почему-то именем Брата Данова Иисуса из колена Иудина, крепкого, как прародитель его, зачинатель колена молодой лев Иуда, с жаркими глазами, как у братьев Маккавеев, погибший от рук идолопоклонников своих и чужих, как погиб на семь веков ранее его пророк Иеремия, предлагавший покорностью сокрушить хребет нечестивца. И стоя в храме среди треска множества свечей и величественного песнопения, глядя на согнутые старые плечи, Дан из колена Данова с горечью думал через пророка Исаяю:

— И не возьмут они этого к своему сердцу и нет у них столько знания и смысла, чтоб сказать: “половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатков его сделаю ли я мерзость? Буду ли преклоняться куску дерева?”

Дан знал, что даже ранние христиане, христиане первых двух веков христианства, хоть в них и было уже немало не Господнего, языческого, никогда не преклонялись изображениям и кумирам. С того же момента, как начали они преклоняться изображению тощего александрийского монаха, с того момента и произошла подмена и христианство стало врагом Христа. Но если ранее подменяли имеющего плоть, но не имеющего формы Господа изящными греческими идолами из дерева, кости и мрамора, то ныне начали подменять Творца грубыми вавилонскими кумирами, созданными из материалов тяжелых — металла или камня. Однако процесс этот был единый, длящийся уже более полутора тысяч лет, и суть была одна. Лишь греческое идолопоклонство, красивое и изящное, сохранившееся еще кое-где для старых людей, начало вытесняться вавилонскими кумирами на площадях, кумирами, вокруг которых толпились молодые и преклоняться которым учили даже детей, во множестве бегавших в тот вечер перед недавно установленным кумиром усатого скуластого азиата, а также вокруг фонтана. Ибо дети есть дети, и когда проходит первый испуг от грозного вида обожествленного каменного лица, им хочется побегать и пошалить. В шалости детской, в их игре зачатки того Господнего, чему научил Бог человека на седьмой день творения, но предельный голод губит ребячество и голодный ребенок подобен мудрому старику, он существует лишь оттого, что мыслит, а мысли голодного всегда одни — где достать хлеба. Вот с такими-то мыслями Мария снова подошла к Дану, протянув руку для подаяния, и тут же была схвачена за эту руку представителем власти, пост наблюдения

за порядком которого располагался рядом с установленным кумиром и где всякое нищенство, азартные игры и прочие беспорядки были запрещены.

— Ты, девочка, чья будешь? — твердо, но не сердито спросил милиционер, — где твои отец и мать?

— Отец помер прошлый год, — сказала Мария, — год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше. После отца у нас завалилась хата и правление колхоза дало нам другую хату возле тамбы. И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все были пухлые и больные.

— Отпустите девочку, товарищ милиционер, — сказала какая-то сердобольная женщина.

— Да я ее не задерживаю, — сказал милиционер, — а где она живет... Где ты живешь? Дорогу домой знаешь?

— Знаю, — торопливо сказала Мария, — вот ей-богу, знаю... Хутор Луговой... Надо все по тамбе идти и никуда не сворачивать. Как пройдешь санаторий, мимо церкви, потом клуб и школа, а под бугром течет речка и водяная мельница стоит. А рядом цветник, где летом ягоду землянику да грибы собирают. Вот против цветника и наша хата.

— Ну иди домой, — сказал милиционер, у которого и без нищих детей дел было по горло, — иди быстрее домой и скажи матери, что если она еще будет посылать тебя за милостыней, то и ее и тебя арестуют.

— Верно, — поддержал какой-то доброволец из толпы представителей власти, — вместо того, чтобы в колхозе работать, они попрошайничают и воруют, как цыгане.

— Только не надо насчет нации, у нас все нации равные.

— Извините за ошибку, — торопливо сказал доброволец, ретируясь вглубь толпы.

А Мария, взяв голодного брата своего Васю за руку, голодная пошла прочь.

И глядя на все это, Дан из колена Данова, Антихрист облизал губы свои и вот горечь на языке его. И сказал он через пророка Иеремию:

— Лучше полезный сосуд в доме, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги.

А означало это, сказанное пророком, любящим Господа, следующее по нынешним понятиям:

— Лучше уж атеизм, если нет сил верить в Господа, чем идолопоклонство. Лучше здоровый, материальный, полезный атеизм. Но атеизм, терпимый Господом, доступен либо честным, черствым душой труженикам, либо, наоборот, бездеятельным мудрым созерцателям. То есть, подлинный атеизм доступен весьма немногим. И испокон веков в стране этой и в народе этом было так же мало атеистов, как и мало верящих в Господа. А были либо равнодушные псалмопевцы, либо неистовые идолопоклонники. И сказал Дан себе:

— Пророки ваши пророчествуют ложь, и священники ваши господствуют при посредстве их, и народ любит это. Что ж вы будете делать, отступники, после всего этого? Неужели не отомстит моя душа такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается на сей земле...

И, сказав это, Дан, Антихрист, свернул за угол главпочтамта в слабо освещенный редкими фонарями переулок и удалился.

А Мария и Вася еще долго блуждали по вечернему городу, боясь спросить кого-либо дорогу, чтоб их опять не схватили, пока сами по себе не вышли к тамбе.

— Ну теперь-то уж мы найдем свою хату, — обрадованно сказала Мария, — все по тамбе, да по тамбе и никуда не сворачивать до самого заказа.

И опять пошли ночью без всякого присмотра нищие дети, и опять никого не прельстила их беззащитность, и опять светила им с неба харьковская луна. Только путь на сей раз был очень долгий и пока дошли до поселка Липки, выбились из сил. По обыкновению своему брат Вася начал плакать да просить.

— Давай, Мария, заночуем где-либо в сеньях, на лестнице. Или лавочку в закоулке найдем, где не дует. Прижмемся друг к дружке и поспим до солнца. Как утро, дальше пойдём.

— Нет, Вася, Бог с тобой, — отвечает Мария, — может, мама наша уже вернулась домой и, не найдя нас, будет беспокоиться. Пойдем, иди-то нам уж недолго.

Уговорила Мария брата, и пошли они дальше, усталые, голодные и беззащитные. А ночью все кажется иным. И колхозное поле более ветренное, и в речке берега от воды не отличишь, и заказ точно темная сплошная туча, и сами они малые и одинокие, уж такой соблазн для злодея, которому их нищета не помеха и который в награду себе берет лишь человеческие мучения, что не будь это в провинциальной Харьковщине, где нечестивец ходит в смазанных

дегтем сапогах и не имеет бледного, вдохновенного творческого лица, навряд ли дошли б дети к своей хате. Но дошли. Постучали они в дверь хаты раз и другой. Отперла им сестра Шура, посмотрела сердито и говорит:

— Где ж вы оставили Жорика?

— Чужая тетя пришла и унесла его куда-то, — отвечает Мария.

— А знаете ли вы, — говорит брат Николай, — что наша мама за-вербовалась, хочет от нас уехать?

— Куда уехать? — спрашивает Мария.

— Это мы не знаем, — отвечает Шура, — но раз пришли, ложитесь вон там в уголке и спите.

Легли Мария и Вася у холодной печки на полу земляном, обняли друг друга, согрели как могли и заснули усталые. Утром, еще и солнце не поднялось, кто-то растолкал их — вставайте! Мария вскочила торопливо, думала, это Шура за что-то ругать собирается, ибо Шуру она боялась, но это не Шура, а мать их стоит над ними в ватнике и с мешком в руках.

— Давайте, — говорит, — дети, попрощаемся, я уезжаю.

Поцеловала она Марию, поцеловала Васю, совсем сонного, поцеловала Шуру, поцеловала Николая и ушла. Мария с той поры уже не спала, а Вася спал. Но лишь солнце поднялось, растолкала Мария Васю.

— Хватит, — говорит, — спать. Пора идти за пропитанием.

Как вышли они на улицу, зябко еще было и петухи в селе Шагаро-Петровском то там, то здесь перекликались. Перешли Мария и Вася тамбу, миновали болото и с бугра спустились к речному берегу. Туман еще над водой, плещет вода в тумане, сыро и неласково здесь, но зато растет съедобная трава — рагоза.

— Дергай, Вася, — говорит Мария, — пучок травы набери в ладонь и дергай вот так, — и она выдернула пучок травы, — побольше пучков наберем, — говорит Мария, — сколько унести сможем, потому не все в этой траве съедобное, часть в отход пойдет.

Пока набрали Мария и Вася рагозы, туман разошелся и теплее стало. Вернулись они с рагозой к хате, расположились на солнышке, и начала Мария эту траву-рагозу очищать от несъедобной кожицы да сухих стеблей, все же съедобное в той траве Васе давать и самой есть. Наелись Мария и Вася вдоволь, а как наелись — задумались.

— Вот что, Вася, — говорит Мария, — двинем-ка мы в город Дмитров на станцию, так как нам дорога уже знакома.

— Двинем, — отвечает Вася.

— Только всю дорогу бежать надо, — говорит Мария, — потому, боюсь, не застанем мы мать... Согласен?

— Согласен, — отвечает Вася.

И побежали они и бежали всю дорогу, и на этот раз дорога показалась им короче, может, оттого, что поели травы-рагозы вдоволь и сил больше было. Как санаторий, да мельница, да церковь, да заказ за спиной остались, и не помнят. Только перед Липками, на колхозном поле, дух перевели и дальше побежали. Вот и город Димитров.

— Тетенька, — говорит Мария какой-то городской женщине, — как нам на станцию пройти и побыстрее?

— А ты что, — говорит женщина и улыбается, — на поезд опаздываешь?

— Что такое поезд, я не знаю, — отвечает Мария, — но нам быстрее на станцию надо.

— А если ты не знаешь, что такое поезд, то откуда же ты знаешь, что такое станция?

— Станция, это где паровозы гудят, — отвечает Мария.

— Вот как, — рассмеялась женщина, — что такое поезд, ты не знаешь, а что такое паровоз — знаешь? — И, продолжая смеяться, она показала Марии и Васе дорогу к станции.

Перешли Мария и Вася через железнодорожные пути и видят, на лавочке сидит их мать рядом с мешком. Как подбежали они к матери, как всплеснула она руками, как начала их целовать и плакать, и пошла с ними в станционный буфет, и купила им булочки. Поели Мария и Вася булочки, и мать говорит:

— А теперь, дети, бегите скорее домой, пока не смерклось.

Тут уж Мария и Вася начали сильно плакать и просить не прогонять их, да так, что посторонние заинтересовались, в чем дело. Тогда мать говорит:

— Не плачьте, дети, сидите рядом со мной, я вас не прогоню от себя. — И какой-то женщине, тоже в ватнике, только не с мешком, а с сундучком, она сказала: — Знаю, что запрещено, а не могу их прогнать от себя. Сердце не переварит.

— Да, — говорит женщина с сундучком, — мать есть мать своим детям.

Сели Мария и Вася рядом с матерью, прижались к ней, хорошо им. А Вася, тот больше по сторонам смотрит, любопытно.

— Ой, какие горы большие, — говорит и пальцем на пути показывает.

— То не горы, — поясняет мать, — а то платформы с песком. Здесь, дети, не так, как на хуторе, здесь всюду опасно и враз задавить может. У нас посадка ночью будет, так что ты, Мария, за Васей гляди. Ты с ним отдельно от меня в поезд садись, уж потом, в вагоне встретимся. А то вербовщик заметит и запретит вас брать.

И верно, как потемнело, страшно стало на станции. Людей много, все толкают, бегут, паровозы гудят, в общем суета и никому ни до кого дела нет. А в поезд садиться совсем уж страшно. Как явился он, железный, Вася перепугался, упирается ножками, дрожит, не хочет садиться в вагон. Ох, как намучилась Мария, пока его в тамбур втолкнула, но в вагоне, хоть и людей битком было, их сразу же мать нашла. Васю она посадила с собой на лавку, а Марии говорит:

— Ты под лавку лезь.

Полезла Мария под лавку, там еще удобней, людей поменьше, под полом стучит, точно в кузне в два молота, но не звонко железом по железу, скорей, железом по доскам. Стучало, стучало, потом гудеть начало, потом шипеть, и Мария уснула. Проснулась от того, что мать ей под лавку жестяной чайник сует.

— Попей, дочка, водички.

Выпила Мария водички и опять спать. Спит она и вдруг во сне чувствует — что-то дурное и для нее страшное происходит. Проснулась она, выглянула, сразу чьи-то пальцы ей в плечо больно вцепились и из-под лавки вытянули.

— Так вы и под скамейкой прячете, — кричит какой-то неясный в темноте на мать, а она сидит перед ним бессловесно, виновато голову опустив, — я вас предупреждал... Я запрещаю вам брать с собой детей. — Сказал и ушел.

— Кто это? — говорит Мария.

— Это вербовщик, — отвечает мать, — он мимо проходил и увидел Васю рядом со мной. Ох беда, беда, — и она пригорюнилась, но Марию уж больше под лавку не гнала, и Мария с Васей остаток ночи спали у матери на коленях.

Утром приехали в город Харьков. Боже мой, что за роскошь перед детьми явилась. Можно ли поверить, что такое бывает, если бы о том рассказали Марии и Васе. Город Димитров красивый, большой, а перед Харьковом он как село или хутор. Вошли они с матерью вроде бы в дверь, а оказались и не в доме и не на улице. Над ними небо стеклянное, деревья диковинные растут прямо в деревянных кадках, а меж деревьями лестница из белого блестящего камня, вообще блеску вокруг много, а народу в одну минуту

Мария увидела столько, сколько за свою жизнь не видела. И весело стало сразу Марии и Васе, все захотелось посмотреть да пощупать. Взяла она брата Васю за руку и побежали они вверх по белой блестящей лестнице, поднялись, а наверху пол из малиновых квадратов скользкий, как лед. Вася, который любил с горок скользить зимой, разбежался и упал, но не заплакал, а рассмеялся. Мария следом за ним разбежалась и упала и тоже засмеялась. Так бегали они и падали, а потом Мария новую игру затеяла — кругом кадки, где дерево росло, бегать от Васи, а Вася ее догонял. Но надо заметить — как ни веселилась Мария, время от времени все ж подбежит к перилам, посмотрит вниз и видит — мать их сидит на скамейке рядом с мешком. Всякий раз как подбежит — мать их на месте. А последний раз как подбежала — матери не было. И побежали Мария и Вася вниз, стали кричать и звать мать свою, и где силы взяли, чтоб кричать так долго, так громко и без перерыва, ведь с вечера по булочке поели в Димитрове и больше ничего. Однако, сколько ни кричали, нигде матери не обнаружили. Народ на крик сошелся, стал тесным кругом, повернулся лицом к Марии и Васе и начал их уговаривать...

— Вот мы сейчас дядю милиционера позовем и он сразу найдет.

Пришел милиционер, взял Марию и Васю за руки и сказал ласково:

— Пойдемте искать вашу мамашу.

Марии этот милиционер сразу понравился, а Вася смотрел на него исподлобья и хотел выдернуть руку, однако, милиционер держал крепко. Он повел Марию и Васю через пути и привел в вагон, стоящий отдельно, отцепленный на путях. В вагоне этом было много детей и такого возраста как Мария и такого — как Вася. Марии здесь сразу не понравилось, а Васе понравилось. Мария сказала милиционеру, который их привел:

— Дяденька, побудьте с нами, пока наша мама найдется и мы отсюда уйдем, а то нас могут побить.

— Некогда мне, девочка, — ответил милиционер и погладил ее по голове, — а вы, огольцы, — обратился он ко всей компании, — глядите, ребят не трогайте. Они еще к такой жизни не привычны. Они из деревни. Ведь верно, вы из деревни?

— С хутора, — сказала Мария.

— В случае чего, вы дежурную позовите, — сказал милиционер, — она там, за перегородкой.

Но только милиционер ушел, как огольцы начали смеяться над Марией и Васей и говорить, передразнивая милиционера:

— Позовите, позовите... Дежурную, дежурную... Она за перегородкой.

Был этот народ большей частью грязный, в угле и мусоре, и позабывший давно про родительскую ласку, либо ее вовсе не знавший, а Марию и Васю только еще утром мать обнимала и прижимала к себе. Мария сказала Васе;

— Сядь ближе ко мне и не смотри на них.

Но какой-то мальчишка такого, примерно, возраста как Мария, в жирных от грязи лохмотьях, с очень грязной шеей и грязными в царапинах руками показал Васе глиняную свистульку, и Вася придвинулся к нему, забыв о сестре. Только Вася придвинулся, как мальчишка щелкнул его пальцами по уху и вся компания рассмеялась.

— А я рада, — сказала Мария Васе, — будешь знать как сестру не слушать. Я еще и маме расскажу, когда мы ее найдем.

Но после этого Вася вплотную придвинулся к Марии и от сестры уже не отходил. Вскоре в вагон вошел мужчина с портфелем и женщина с бумагами в руке. Мужчина огляделся, поморщился, видно, от тяжелого духа, поскольку огольцы, не стесняясь, громко, с хохотом портили воздух, и сказал:

— Что-то народу прибавилось, куда я их... В детдоме мест нет... Скандал... Разве что в область отправить.

Тут Мария, которая была девочкой сообразительной, сказала:

— Дяденька, мы маму свою сегодня потеряли, нам бы маму найти.

— Ну вот, — говорит мужчина с портфелем, — Калерия Васильевна, таких у нас множество. Их всех надо по своим домам отправлять, а не занимать места для сирот.

Женщина сказала Марии и Васе:

— Пойдемте, — и привела их за перегородку.

Здесь стоял стол, топилась железная печка. Мужчина положил портфель на стол, снял пальто, снял шляпу, повесил все это в углу и начал спрашивать Марию, а женщина записывала.

— Как ваша фамилия? — спросил мужчина.

— Не знаю, — сказала Мария.

— А как звать папу и маму?

— Тоже не знаем, папа да мама, вот и все... Папу мы звали "отец", но он в прошлом году умер, поскольку год был голодный.

— А братья и сестры есть у вас? — спрашивает мужчина.

— Есть, — отвечает Мария.

— А знаете, как их звать?

— Знаем, — говорит Мария, — брата зовут Коля, а сестру — Шура, и еще братик у нас был Жорик, но теперь его дома нет.

— Ну хорошо, — говорит мужчина и почему-то переглядывается с женщиной, которая все записывает, — а знаете ли вы, где жили? Деревня ваша, или район, или область?

— Нет, — говорит Мария, — ничего этого мы не знаем, а село и хутор свой знаем.

— Какое же название вашего села? — спрашивает мужчина.

— Село Шагаро-Петровское, хутор Луговой, — отвечает Мария.

— Вряд ли, чтоб это было далеко, — говорит мужчина, — вне Харьковской области.

— Но, Модест Феликсович, — говорит женщина, — в Харьковской области сел Петровских много... Я лично знаю три села такого названия.

— Что ж, — говорит мужчина, — дадим им провожатого, дадим сухой паек и пусть поедят по селам, поищут свой дом. Думаю Наробраз одобрит нашу новую инициативу. Затраты только на проезд и на сухой паек. Провожатых подберем на общественных началах из местного актива.

А Мария слышит все это и говорит:

— Век будем за вас бога молить, если вы доставите нас с Васей до своей хаты, и увидим мы брата Колю и сестру Шуру, а Жорика мы знаем, что его дома нет.

— Теперь, — говорит мужчина, — отправьте-ка их, Калерия Васильевна в санпропускник при станции.

Тут Мария снова проявила сообразительность и говорит:

— Дяденька, дорогой, дайте мне и Васе хлеба Христа ради, потому что мы с вечера не ели и съедобной травы-рагозы, как у нас в селе, здесь не нарвешь.

Мужчина посмотрел на Марию, очень умело у нее иногда просьбы получались, как тогда в народной чайной, когда железный чекист и бригадир тракторной бригады Петро Семенович прослезился. И мужчина вдруг тоже вытер очки платком и сказал:

— Калерия Васильевна, налейте-ка этим детям по кружке кипятка и дайте им вот, — и он вынул из портфеля жирную бумагу и подал ее женщине.

— Я им выпешу паек, — сказала Калерия Васильевна. — Как же вы без завтрака, Модест Феликсович?

— Ничего, — сказал Модест Феликсович, — дайте детям. Я вижу, воровать они еще не умеют и вообще полностью от посторонних зависят, как котята. Это еще не закаленные улицей огольцы.

Женщина взяла жестяной чайник с печки-буржуйки, налила кипятку в жестяные кружки и развернула жирную бумагу. Ох, какое счастье получили в свои руки Мария и Вася. Это была французская свежая булка, разрезанная пополам и на каждой половинке по два ломтика вареной колбасы с жирком. В минуту проглотил Вася свою половину, в минуту осталось у него от счастья одно лишь воспоминание и жадно начал смотреть он на Марию, которая свой кусок ела умно и медленно.

— Ты кипяточком запей, Вася, — говорит Мария, не в силах оторвать от своего куска хоть крошку булки и ломтик колбасы и дать это Васе. А он так хотел.

И потом часто видела она в этом знамение и часто себя за это упрекала. Так и не отдала Мария Васе ни кусочка от своей порции, съела ее до последней крошки, которые с коленок подобрала. Вася видит, ничего ему дополнительно не получить — начал пить кипяток. И Мария свой кипяток выпила, разомлела, глаза потяжелели. Спала ведь она урывками, то под лавкой, то у матери на коленях. Но женщина не дала понежиться на стуле в тепле.

— В санпропускник, — говорит, — поскольку у меня и помимо вас дел хватает.

Повела она Марию и Васю опять через пути, и Мария была рада, что избавились они с Васей от огольцов, которые и побить могли и от которых Вася дурному мог научиться.

Пришли они в помещение душное, мокрое, вода под ногами хлюпает.

— Все с себя скидывайте, это на прожарку, — говорит женщина.

Снял с себя Вася одежду — животик еще больше стал и ножки еще тоньше и под шкурой каждая косточка видна. А у Марии тело хоть и изможденное, но правильной формы, она давно уже перед мужчинами раздеваться стеснялась, даже перед братом Колей. Но перед Васей не стеснялась. В санпропускнике никого в тот час не было, и дети помылись с радостью горячей водой, это после булки с колбасой было второе счастье, причем подряд... Мария нашла на полу обмылков и густо намылила Васю, а тот от удовольствия прямо урчал, как благодарная собака. Выдали им вафельное полотенце, одно на двоих. Только начала Мария в предбаннике Васю вытирать, как чувствует — кто-то смотрит. Оглянулась, а в дверь

парень заглядывает. Как крикнет она, и назад, в баню. Парень смеется.

— Чего ты, — говорит, — я ваш проводник, к вам прикреплен, и вы мне обязаны подчиняться.

— Закрой дверь, — говорит Мария из бани, — пусть я сперва оденусь и Васю одену.

— Ладно, — говорит проводник, — одевайтесь, — и скрылся, ухмыльнувшись.

Проводник этот чем-то был похож на Васю, если б тот вырос. Как и Вася, был он худой, глаза маленькие, серые, лицо продолговатое, нос прямой, чуть курносый. Хоть и был он похож на Васю, Мария его сразу невлюбила, а Вася, наоборот, к нему потянулся. Так что Мария впервые испытала странное чувство, как будто одно общее, но в отношении Васи оно было недовольством, а в отношении проводника — завистью, точно проводник для Васи что-то имел, чего она, родная сестра, не имела. Однако, показывать открыто проводнику, которого звали Гриша, свою неприязнь нельзя было, поскольку у него находилась корзинка с провизией — хлебом и салом. Правда, сала Гриша-проводник не выдавал им еще ни разу, но хлеб — выдавал.

И поехали они так по селам Петровским Харьковской области. Приезжают они в село большое, много в нем домов каменных и церковь белая на площади.

— Вот оно, — говорит, — ваше Петровское.

И Вася, чтоб проводнику угодить, говорит:

— Наше это, наше...

А Мария посмотрела вокруг и говорит:

— Нет, не наше... У нас церковь на бугре стояла и санаторий рядом, а внизу речка течет.

— Ладно, — говорит Гриша, — не ваше, так не ваше.

Сели опять на поезд и поехали, а потом с поезда слезли и на подводе по местной тамбе ехали. Пока на подводе ехали, Гриша-проводник все шептался с Васей, а Мария посматривала на это неодобрительно, но молчала, поскольку корзинка с провизией была у Гриши. Замечает Мария, наконец, что Гриша себе и Васе отрезал хлеба и сала, себе побольше, Васе поменьше, а ей один лишь хлеб, да и то небольшой кусок. "Пусть, думает Мария, Вася сала поест, раз мне сала не достается, пусть" — и хоть за себя огорчается, но за Васю радуется.

Наконец приезжают они в село. На бугре церковь стоит, под бугром речка течет.

— Ваше это село Петровское?

— Наше, — чтоб угодить ему отвечает несмышленный Вася.

— Нет, не наше, — говорит Мария, — хоть и церковь стоит на бугре и речка есть, а где ж санаторий? И заказа не видно, через который в село Поповка идти, где бабушка и дедушка хату имели.

Поехали опять, сперва на подводе, потом на поезде, потом опять на подводе.

— Ваше это село? — спрашивает Гриша.

— Наше, — говорит Вася.

— А если наше, — не выдержала Мария, — то где ж хутор Луговой? И найди-ка, Вася, нашу хату, где Шура и Коля живут... Развѣ ты не помнишь, что хата наша стояла на отшибе и против был цветник, где летом собирали ягоду землянику да грибы?

— Ладно, — говорит Гриша и улыбается, — вы меж собой не ругайтесь, поедем дальше.

Приехали на какой-то маленький полустанок.

— Поездов сегодня уж больше не будет, — говорит Гриша, — так что здесь заночуем. Да и не время ночью село Петровское искать. Вы и днем его узнать не можете.

А Мария отвечает:

— Я и ночью его б узнала, если б увидела. На бугре мельница, под бугром речка идет в другое село, Ком-Кузнецовское, а тамба идет в город Димитров и по пути там поселок Липки.

— Вот завтра ты по этим признакам и найдешь, — улыбаясь по своему обыкновению, говорит Гриша, — а сейчас ужинать пора, — и отрезает себе большой кусок хлеба и кусок сала, Васе поменьше кусок хлеба и кусок сала, а Марии опять только хлеба небольшой кусок.

Вася хлеб укусит, сало полижет, хлеб укусит, сала полижет и все с Гришей о чем-то перешептывается. Наконец, Гриша говорит:

— Чего нам здесь на полустанке ночевать. Здесь дует и не заснешь, поезда грохочут, паровозы гудят. Я эту местность знаю, пойдемте, неподалеку большой сарай имеется, еще от помещика остался, и в нем полно соломы. Крыс мы криком разгоним, и там переночуем.

Мария возражать начала, и не потому, что ей на полустанке нравилось, а просто — что Гриша ни скажет, ей возражать хочется. Но Вася Гришу поддержал.

— Холодно мне здесь, — говорит, — не засну я. В сарай хочу...

Что сделаешь, раз и Вася в сарай хочет. Пошли они от полустан-

ка, где хоть фонарь горел, куда-то во тьму, поскольку в тот вечер и постной харьковской луны на небе не было, и звезд не видно. Небо темное, но дождя нет, тихо, даже собачьего лая не слышно, и безветрено, вроде бы потеплело. Хотела Мария брата своего Васю за руку взять, но тот руку выдернул и поближе к проводнику жметя, а Мария идет одна, чуть поотстав. Дороги никакой, под ногами сплошные бугры да ямы и вообще, вроде бы по полю идут, поблизости никакого жилья. Наконец впереди что-то показалось.

— Вот он, сарай, — говорит Гриша, — только дверь заперта, надо доску отодвинуть, тут доска одна надорвана.

Полезли в дыру и, верно, на солому наткнулись.

— Ух, мягко здесь, — говорит Вася, — тепло.

— Вот так, Мария, — говорит Гриша, — а ты не хотела.

— Давай, Вася, — говорит Мария, — ложись со мной рядом, прижмись, еще теплей будет, а то хоть и солома здесь, но под утро прихватит холодом.

— Нет, — отвечает Вася, — я с Гришей лягу.

Уж не “дядька Гриша” он его зовет, и не “проводник”, а просто Гриша, вроде бы он ему брат, как Коля.

— Ложись, где хочешь, — сердито отвечает Мария, — дурной ты...

— Сама дурная, — отвечает Вася.

Тут Мария даже растерялась.

— Вася, — говорит, — братик мой, кто ж тебя этому учит? Ведь слышала б тебя мама наша, или сестра Шура, или брат Коля, какой ты стал, они б думали, что я тебя учу дурному, поскольку я все время с тобой вожусь. Ведь ты еще малое дитя, Вася, ты должен сестру свою слушать, как мать, раз от матери мы отстали...

— Ты мне не мать, — говорит Вася, — мать я бы слушал, а тебя слушать не хочу.

Тут Гриша вмешивается из темноты.

— Ладно, — говорит, — ты, Вася, действительно сестре не груби.

И только он это сказал, как Вася перестал грубить. Но от такого отсутствия грубости у Марии не только не появился покой, а, наоборот, еще более тоскливо стало. “Если, думает, станет Вася дурным человеком, не простит мне этого ни мать, ни брат Коля, ни сестра Шура”.

Так в тоскливых мыслях она и задремала одна, без брата, который начал похрапывать в другом конце сарая. И слышит она сквозь дремоту, кто-то рядом.

— Ты, Вася, — обрадованно говорит Мария сквозь сон, — ложись потесней ко мне.

И верно, кто-то ложится, прижимается к ней и в колени ее, а спала она на боку коленка к коленке прижата, в колени ей руку сует. И сразу Мария поняла — не Вася это. Чужую руку от себя толкнула, вскочила.

— Чего тебе?

— Тише, — говорит Гриша шепотом, — Васю разбудишь.

— Чего тебе? — потише повторяет Мария.

— Я тебе сала принес, — говорит Гриша, — ты ж сала не ела, а только хлеб. Вот я тебе и всю норму одним разом.

Взяла Мария сало, чувствует наощупь, действительно большой кусок, надкусила, попробовала — хорошее сало, сочное, мягкое, надкусила еще кусочек, почувствовала, как тоска, с которой заснула, мало-помалу исчезает. "И с Васей, думает, все образуется, это он по глупости так".

— Хорошее сало? — спрашивает Гриша и посмеивается.

— Хорошее, — отвечает Мария.

— Ну вот, — говорит Гриша, — а ты все против меня, да против меня. Если ты меня полюбишь, тебе никакая мать не понадобится.

— Как это мне мать не понадобится? — говорит Мария. — Она ж мне родная...

— А так, — отвечает Гриша, — что мать твоя тебя с брательником, видать, специально бросила... Чтоб избавиться... Тебе не мать нужна, тебе парень нужен, поскольку сейчас самый твой возраст для настоящего удовольствия, а как повзрослеешь и вырастут у тебя груди и начнешь ты беременеть, так уж удовольствия не те.

Только как сказал все это Гриша, Мария окончательно поняла, чего он хочет, хоть никто ее этому понятию не учил и все это происходило с ней в первый раз.

— Отойди, — говорит, — бесстыдник, я сразу тебя поняла, как ты в бане на меня раздетую заглядывал.

— Раз поняла, тем лучше, — говорит Гриша. И вдруг, как схватит Марию под мышками, точно подсадить ее хочет куда-либо, а железными своими мужскими коленями разъединил ее детские коленки и оказалась она у него в полной власти, в темном сарае, запертом снаружи замком и стоящем на отшибе среди темного поля, примыкающего в конце своем к темному железнодорожному полотну у глухого полустанка. И даже постная харьковская луна не светила в ту ночь.

Одна лишь живая душа была рядом — брат Вася, но и тот похрапывал у стены сарая. А если и не похрапывал, что б он мог сделать — ведь дитя еще... Кричать было некому, только Васю испугаешь, потому Гриша ей рта не зажимал, как не зажимают рта животному, которое режут, пусть кричит, кто его услышит. Мария пробовала себя защитить молча, но всякий раз, как она пробовала себя защитить, Гриша выворачивал ей руку и становилось очень больно, когда же переставала себя защищать, Гриша отпускал ей руку. И добился Гриша от Марии чего хотел, и стонал он при этом, как тифозный, но Вася спал, и даже, когда Мария крикнула от боли необычной и незнакомой, которую причинил ей Гриша ради своего удовольствия, и Гриша особенно сильно застонал, точно ему тоже рвали тело, как рвал он тело Марии, даже и тогда Вася не проснулся. Мария поняла это после того, как все кончилось. Лишь слышно было ее и Гриши тяжелое дыхание и храп Васи. И Мария обрадовалась тому, что Вася ничего не слышал и не напугался. Меж тем дыхание у Гриши стало спокойней и он сказал Марии, которая по-прежнему дышала тяжело:

— Ты не переживай... При твоей жизни все равно тебя б изнасиловал какой-либо старик... Так уж лучше я... Вот возьми, — и он дал ей хлеба.

Мария взяла хлеб и притихла, а Гриша полез от нее в другой конец сарая и вскоре захрапел, как и Вася.

Нельзя сказать, что Мария заснула, скорее, она впала в беспамятство, поскольку видела над собой все время проступающие во тьме стропила сарая и чувствовала под собой солому. У нее болело в животе и под животом, точно она вместо травы рагозы наелась ядовитой травы, как соседка их по хутору, которая в один почти день с отцом померла от отравления кишок. Но постепенно боль утихла, а когда стропила стали видны ясно в посветлевшем сарае, боль была незначительная, точно намек на то, что произошло ночью. Мария поднялась, села и увидела: в сарае лишь она с Васей, а проводник их Гриша исчез. Этому она обрадовалась, но тут же огорчилась, поскольку он унес корзинку с провизией. Однако, тут же опять обрадовалась, поскольку нащупала в кармане кусок сала и кусок хлеба, хоть и не такие большие при свете, как казалось во тьме, но все ж ей и Васе было на первое время чем жить.

— Вася, вставай, — сказала Мария, — проводник, которому велено доставить нас домой, убежал, и теперь нам придется самим добираться. И унес всю провизию... Вот, брат, убедись, кого ты прини-

мал за хорошего человека и не слушал своей сестры, единственного тебе сейчас родного человека, поскольку нашей мамы нет с нами, а сестра Шура и брат Коля далеко.

Вася молчит, видно, чувствует себя виноватым.

Полезли они наружу через дыру, огляделись. Поле в одну сторону, поле в другую сторону, куда идти? И пошли они наугад, но пришли точно к железной дороге и к тому полустанку, где проводник Гриша не мог бы сотворить с Марией того, что он сотворил с нею в сарае, на отшибе, поскольку тут и дежурный заглянет, да и вообще ходит по перрону сонный народ. Никогда б такое не случилось, если б не Вася, но Мария не стала Васю упрекать и вообще ему ничего о произошедшем в сарае не рассказала, а сказала она ему:

— Дорогу домой в село Шагаро-Петровское я не знаю, но знаю, что отсюда нам надо уезжать до какой-нибудь большой станции, где в случае чего легче еды выпросить... Как поезд придет, ты сразу лезь следом за мной.

— Полезу, — говорит Вася.

Исчез проводник Гриша, и Вася опять стал Марию слушать, а поездов он уже не боялся, как в городе Димитрове.

В поезде Мария и Вася поели сала и хлеба, которые дал Марии проводник Гриша за то, что он с ней сотворил в сарае. Но не все поели, часть Мария припрятала от Васи на следующий раз, ибо Вася хотел все съесть. Приехали Мария и Вася на большую станцию, вышли вместе с общей толпой пассажиров, поскольку дальше поезд не шел. Огляделись брат и сестра и ахнули от радости.

— Да ведь это ж город Димитров... Отсюда тамба прямо к нашему хутору.

А какой-то старик пояснил.

— Это дети, не город Димитров, а город Изюм... Такой сладкий сушеный виноград, вы ели? Вот в честь его и назван этот город "Изюм", — и улыбается.

А Мария хоть и огорчена, что это не Димитров, а Изюм, но про старика думает: "Старики редко улыбаются, а этот, раз улыбается, значит добрый, а добрый — подаст чего-нибудь, поскольку хлеба и сала у нас самая малость осталась".

— Ничего, — говорит, — мы, дедушка, ни сладкого, ни сушеного не ели, поскольку вот, с братом малым отстали от матери... Подайте нам, Христа ради, что можете...

— Знаем мы вас, — говорит старик и сразу сердитым становится,

— по поездам шляетесь, чемоданчик, какой плохо лежит, утащить хотите... Вот я вас...

Подхватила Мария Васю за руку и побежала прочь от злого старика по перрону, а оттуда в вокзал.

Вокзал в Изюме не такой как в Харькове, ни стеклянного потолка, ни лестницы белой, блестящей, но тоже красивый, теплый, скамеек много, и даже дерево такое же диковинное, как в Харькове, в кадке стоит, правда, одно всего.

— Ничего, Вася, — говорит Мария, — здесь мы проживем пока что не плохо. Просить я умею, голос у меня жалостливый, один не подаст, так другой подаст. Народу, гляди, вон сколько вокруг. Попробуй нас тронь кто-либо. Здесь и ночью народу много и светло. Только Боже тебя упаси, Вася, воровством промышлять... Видал, как старик озлился? Это он не на нас сардился, это он на воров озлился... Народ, Вася, не обижай никогда, и народ за тебя в любой момент заступится, а если обидишь народ, он тебя на произвол судьбы бросит... Хорошо ли нам было в темном сарае ночью, когда кругом поле темное, а рядом дурной человек, которого ты, Вася, по глупости своей полюбил...

Так говорила Мария брату своему Васе наставление, и Вася слушал, поскольку зависел от того, что Мария соберет подавляниями. А собирала Мария здесь, на станции Изюм, действительно, неплохо.

— Господи, — говорила, — Иисусе Христе... Сыне Божий...

На эту мольбу подавали ей и старые, и молодые, и мужчины, и женщины. И даже некоторые партийные не могли отказать в просьбе ребенку, пусть и использующему отжившие старорежимно церковные термины. Один партийный пассажир, этот безусловно партийный, поскольку в кожаном пальто и с сабельным шрамом, как у Петра Семеновича, бригадира, один партийный подал Марии пакет, в котором было пять пирожков с горохом. Случалось, подавали и селедку, и колбасу, а про хлеб и говорить не приходится, здесь, в Изюме, на станции, Мария и Вася впервые поели хлеба, если и не вдоволь, то хотя бы и не впроголодь. Ночью спали дети на скамейках в теплом углу и были довольны своей жизнью.

Но всякая случайная, не подготовленная судьбой удача непрочна и временна. Однажды, возвращается Мария после сбора подаваний, было это на третий день их удачной с Васей жизни и видит, рядом с Васей стоит сердитая женщина, похожая чем-то на ту, что за Жориком в городе Димитрове приходила.

— Вон она, моя сестра, — говорит Вася и на Марию пальцем указывает.

- Очень хорошо, — говорит женщина, — а мать ваша где?
- От матери мы затерялись, — говорит Мария.
- Тогда пойдете.

Выводит она Марию и Васю из теплого вокзала на ветреную площадь, а там еще стоят дети, но, к счастью, не огольцы, как в Харькове, в вагоне-приемнике. Огольцов Мария уже различать научилась. Построили всех попарно и повели. Мария, конечно, с Васей шла и за руку его держала. Если б раньше, когда Мария на хуторе жила, она б себе глаза проглядела по сторонам на дома и на людей. А теперь она на Изюм не очень-то обращала внимание, больше думала, куда их приведут и чем накормят. Привели их на конный двор, где несколько конюшен и среди утрамбованной площадки были столбы с цепями — коновязи и много конского навоза. Стриженная женщина назвала себя воспитательницей, а как ее звать не сказала — просто воспитательница. Открыла она ворота одной из конюшен, там на полу солома прелая, но лошадей всего несколько и в дальнем конце конюшни, здесь же пусто.

— Располагайтесь, — говорит воспитательница, — ждите, пока я за вами приду и поведу вас обедать. Но самим никуда не отлучаться, лошадь может ударить насмерть.

Сказала и ушла. Села Мария с Васей в стороне от других детей за кучей соломы и поели милостыню, что Мария насобираала на станции. Вдруг видит Мария, приближается к ним какой-то мальчишка, чуть помоложе Марии, но постарше Васи.

— Меня, — говорит, — Ваня звать...

— Ну и что? — говорит Мария.

— А то, — говорит, — что дайте пошамать.

— Иди ты, — говорит Мария, — нам с братом самим еле хватает... Вот будет общий обед, пошамает...

Отошел он, ничего не сказав.

Общий же обед случился не скоро. Через несколько часов пришла воспитательница, построила всех попарно и повела в столовую рядом с конным двором. Может, при голодовке на хуторе Мария ела б обед этот с удовольствием, но после того, как на станции Изюм ей хорошо подавали и она попробовала и селедки, и колбасы, и пирожков с горохом, обед этот Мария ела с трудом и по нужде... И Вася, она замечает, тоже ест с трудом. "Эге, думает Мария, да мы с Васей вряд ли проживем, если не ходить просить милостыню. Да и Васю надо обучить просить, а то он лентяем растет и того гляди приспособиться воровать".

Так оно и получилось. Раз в сутки в одно и то же время, после полудня, приходила воспитательница и вела в столовую, где всегда давали суп-затируху, кипяток с мукой, пшеничную кашу без жира и хлеба кусок. В остальное же время все уходило искать себе пропитание, кто просить, кто действительно занимался воровством. Однако, Васю Мария от себя не отпускала, хоть и видела, что просить он не любил. А раз просить не любил, значит ему редко подавали, ибо каждое дело труда и умения требует. Ну пусть, если не просит, то хоть рядом будет, постоит за углом, или на скамеечке посидит. Чтоб слушал ее Вася и был у него интерес, Мария, как выпросит хороший кусок, ему отдаст. Просила Мария по пивным, возле домов, какие побогаче, но на вокзал ходила редко, базар же вовсе не посещала и все из-за Васи. Знала, что там воров много и они могут на Васю плохо повлиять. Так дни проходили, а ночевали в конюшне.

Был на конном дворе дедушка, ночной сторож по кличке "Москаль". Добрый был он, ласковый, любил детей, и дети его любили. Собирал всех детей в конюшне вокруг себя и, пока не уснут дети, рассказывал им сказки. Одни при том сразу засыпали, а другие слушали допоздна. Мария слушала допоздна, и Вася тоже. Сказки у дедушки были разные. И про Ивана-царевича, и про сиротку Марфушу, и про Илью Муромца — сокрушителя бусурманов. И была еще одна, самая интересная сказка про божью деточку — Иисуса Христа. Подопрет дедушка морщинистое, белобородое лицо свое ладонью, задумается, пригорюнится и начинает:

— В тридевятом царстве, в тридесятом государстве был на земле большой грех. И решил Господь спасти народ от греха, и послал он на землю любимую деточку, сыночка Иисуса Христа. Как появился Иисус среди людей, сразу им хорошо стало. Взял он хлеб и накормил всех досыта, и водой окропил из реки Иордан, и сказал: "Будете вы теперь народ крещеный, православный, а евреям-жидам за то, что они работать не хотят, а только торговлей в храмах святых занимаются, не будет царства божия". И задумали еврей-жиды любимую деточку божию, сыночка божьего Иисуса Христа погубить. А главный среди евреев был Иуда-антихрист, — и старичок поднял кверху палец, словно кому-то в темноте погрозил, прислушался, как в дальнем конце конюшни переступают с ноги на ногу, похрапывают лошади, — собрал Иуда-антихрист весь всемирный еврейский кагал — это значит шайку свою разбойничью, и говорит: "Пока жив Иисус Христос, не одолеть нам народ православный,

не заставить нас работать мужчин и женщин православных, и не сможем мы у деточек православных кровь брать, чтоб печь нашу мацу". Это их лепешки такие нечистые. Раз пошел Иисус Христос в сад, а Иуда и другие евреи его в кустах подстерегали. Схватили они Иисуса Христа, потащили его на гору и прибили ему руки и ноги к кресту, думая, что он умрет. Но он не умер, а вознесся на небо силой божьей и с неба опять явился народу православному и сказал: "Вот он я. Не верьте жидам, что я умер и отплатите им за мои божьи муки..."

Хоть и интересная была сказка, но длинная, так что к концу ее большинство детей уже спало. Однако Мария не спала, и Вася не спал, и тот мальчик, что в первый день приходил, пошамать просил — Ваня — тот тоже не спал, слушал конец. Конец же старичок всегда по-разному рассказывал. То на зов Иисуса Христа являлся Илья Муромец и Алеша Попович, то Степан Разин и Емельян Пугачев, то Ермак Тимофеевич — завоеватель Сибири... И так каждую ночь. Кони похрапывают, в окошко конюшни из-под крыши луна глядит... Наконец Вася не выдерживал, опустит голову на грудь и давай спать.

— Поснул Вася, — говорит тогда Мария и осторожно брата в уголок поведет, где соломки она заранее приготовила, уложит, а сама рядом. Нравились Марии эти ночные сказки, но после она пожалела, что разрешила Васе их слушать, поскольку Вася при том с Ваней подружился, тем мальчишкой, который пошамать просил.

Раз говорит Вася Марии, когда та собиралась милостыню просить, в город идти:

— Я с тобой не пойду, я с Ваней пойду.

— Братик, — говорит ему Мария, — Вася, да разве я тебя обижала? Что попрошу — тебе лучше... А Ваня тебя воровать научит, я знаю, он на базар ходит.

— Ну и что, если на базар, — отвечает Вася, — на базаре подают больше и лучше.

— Знаю я, как на базаре подают, — отвечает Мария, — там народ жадный, те, кто покупают, хотят подешевле, а кто продают — подороже... Лучше нет места, чем пивная или дом богатый. Хорошо и на вокзале подают, но на вокзале народ подозрительный, воров боится. Если расположишь к себе — подаст, а не расположишь — побить может. Пойдем со мной, братик, сыт будешь.

Не послушал Вася Марию, ушел с Ваней. К вечеру приходит, говорит:

— Мария, дай мне хлеба. Я ничего не выпросил.

Мария отвечает с упреком:

— Нужно не бегать на базар, а просить милостыню, трудиться...
— но все ж дала ему хлеба.

На следующий день он уже к ней не обратился и даже к обеду не явился. Поздно они вместе с Ваней возвратились и оба довольные, леденцы сосут. Мария сразу же все поняла, Васю ни о чем спрашивать не стала, а Ваню в сторону отозвала и говорит:

— Вы воруете на базаре?

— Воруем, — отвечает Ваня.

— Ваня, — говорит тогда Мария, — ты сам за себя в ответе, а я за Васю перед матерью нашей, от которой мы в дороге отстали, отвечаю... И перед сестрой Шурой, и перед братом Колей... Не втягивай, Ваня, Васю в воровство.

— А мы не ворует, мы просим, — отвечает Ваня и усмехается нагло, — я тебя обдурил.

— Врешь ты, как собака, — сердито говорит Мария и отойдя от Вани подумала: единственная теперь надежда — это то, что скоро отсюда переводить будут, распределят по разным детдомам, и Ваня с Васей разлучится.

О переводе давно уже слух был, но как-то утром собрала детей воспитательница и говорит:

— Дети, сегодня придет машина, и вы все поедете, но куда, я не знаю. Машина эта всех не заберет, отвозить будут партиями и потому, у кого есть братья или сестры, держитесь вместе, чтоб попасть в одну партию.

Только воспитательница такое сказала, кинулась Мария Васю предупредить, а его и след простыл. Пришла машина — грузовик. Отвезла первую партию — ждет Мария. Пришла машина, набрала вторую партию, начала Мария волноваться — нет Васи. Что делать? Пойти на базар искать его, разминуться можно. Вернется он на конный двор и усадят его, увезут без сестры. Уж так переживала Мария, уж так кляла Ваню за то, что подбил он Васю уйти на воровство, да еще в такой день. Уж так себя кляла за то, что разрешила Васе слушать ночные сказки старика-сторожа, где Вася с Ваней близко сошелся. Пришла в третий раз машина, набрала партию, осталось немного детей, на один раз. Не выдержала Мария, побежала на базар, искала, звала, но нигде не нашла. Бегала и по городу возле пивных, где просили они с Васей раньше, может, и верно он за ум взялся, воровать бросил, а начал милостыню собирать, побежала и на вокзал. Вся мокрая, усталая прибежала на конный двор.

Васи нет, но машина уже пришла, и последних детей сажают. Начала Мария просить, чтоб оставили ее здесь, не увозили, пока она брата найдет, но воспитательница сказала:

— Твой брат ворует, мы это знаем, и ты тоже хочешь остаться с ним воровать? Найдем его, привезем туда, где будешь ты...

Плакала Мария, объяснить хотела, что перед матерью она за Васю в ответе, но воспитательница и какой-то седой мужчина взяли ее крепко, как Гриша тогда в сарае, под мышки и посадили на машину, велели другим детям держать ее. Однако, если в ночном сарае она Грише покорилась, поскольку он ей руку вертел, то здесь, за брата Васю, она боролась до конца, рвалась, несмотря на то, что ей было больно от чужих рук, ее державших, кричала так, как, может, лишь на вокзале в Харькове кричала, когда от матери они с Васей потерялись. И наконец ей удалось вырваться, прыгнуть с машины, но ее догнали воспитательница и седой, подхватили под мышки и посадили опять на машину. Тронулась машина под плач и проклятия Марии, и пока не выехали за Изюм, не переехали мост, не поехали полями, была Мария с открытым ртом, кляла этих людей. Уж далеко от Изюма устала Мария и покорилась и ее перестали держать. И снова, как после того, что сотворил с ней Гриша в сарае, впала она не в сон, а в беспамятство. Вроде бы все видит, но ничего не понимает. Помнит она, что в каком-то селе из всей партии детей осталось только двое — она и девочка постарше. Девочку куда-то повели, а Марии сказали:

— Останься здесь, подожди.

Однако ее теперь никто не караулил, и как только она осталась одна — убежала.

Выбежала за село и пошла по дороге, и как вышла она среди полей — впервые одна-одиошенька, поскольку хоть редко кто из родных с ней рядом был, но в пути Вася всегда был рядом, как вышла она одна среди полей — почувствовала в мире перемену и смотрит — снег идет... "Ах ты, Боже мой, думает, как же в такой холод, да еще голодная, я Изюм найду, где Вася остался". Закуталась она теснее в кофту старую, которая на ней была, лицо в ворот уткнула, чтоб дыханьем грудь согреть, и пошла.

Идет и видит — поля белыми становятся — сыпет и сыпет снег, и чем больше сыпет снег, тем больше голод донимает. Земля под ней белая, чистая, а небо чуть потемней, но тоже белое, снежное, и движется среди всей этой белизны Мария черным убогим пятном. Если б могла она сама себя понимать, то именно сейчас ощутила б,

до чего ж ее жизнь лишняя в мире и до чего ж она портит красоту. Но, к счастью для себя, не могла Мария ни себя видеть со стороны на фоне первого снега, ни себя понимать со стороны, подобно личностям философствующим. А если б могла философствовать, то ужаснулась бы, что никому до сих пор не нужна была, даже брату Васе, и от ее существования получил удовольствие только человек дурной, а именно Гриша, изнасиловавший ее в сарае. Такие предельные, не из трактатов, человеческие мысли и являют тот редкий плодотворный атеизм, который угоден Творцу более, чем холодное псалмопение или распространенное идолопоклонство. Однако от Марии ее собственная душа и ее разум были отделены бесконечным пространством, но безмолвное сердце, лишенное Божьего дара слова, сердце ее было рядом с ней, и она заплакала, не имея ни слов, ни понятий, а одни только лишены смысла звуки.

Плач этот не был тем частым, распространенным плачем, которым плакала она еще недавно, когда ее уводили от Васи, не крикливый с проклятиями плач, и не горький, бессмысленный, ничего не дающий плач. Это был Божий плач, от сердца, которым иногда Господь награждает неразумных, подменяя этим плачем великие истины, доступные лишь пророкам. И нищая девочка Мария, от которой отказалась мать и старшие брат и сестра, которая потеряла младшего брата Васю, и отсутствие которой на Божьем свете могло лишить удовольствия только насильника, воспользовавшегося ее телом в сарае, через Божий плач среди белого неба и белой земли возвысилась и достигла этим неразумным, но сердечным плачем утешения Господа, которое произнес он через пророка Исаяю.

— Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас... И увидите это и возрадуется сердце ваше и кости ваши расцветут как молодая зелень...

МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА

(Окончание; начало см. "22" №№ 38–41)

Профессор Минкель жил в седловине, соединяющей Сторожевую Гору с Французским Холмом, на восьмом этаже нового башенного дома рядом с Еврейским университетом; Курц нашел этот дом только с третьей попытки.

Дверь с номером "18 Д" была снабжена замками по всей своей высоте, и фрау профессор Минкель открывала их один за другим, сверху донизу, терпеливо приговаривая при этом: "Минуточку, минуточку..." Затем Курц оказался в тесном коридорчике, где ему пришлось ждать, пока фрау профессор с той же методичностью закрывала все замки в обратном порядке, снизу доверху.

Фрау профессор была подтянутой старушкой, с аккуратным профессорским пучком седых волос на затылке и пронзительным взглядом недоверчивых голубых глаз.

"Господин Шпильберг из министерства иностранных дел, — словно информируя Курца, сказала она. — Ганси ждет вас, проходите..."

Она открыла дверь в крохотный кабинет, где за крохотным столом, окруженный горами книг и рукописей, возвышался Ганси. Книжки лежали также на полу в весьма упорядоченном беспорядке, и чтобы протянуть гостю руку, профессору пришлось долго лавировать, выбирая место, свободное от свидетельств его эрудиции. После чего профессор вернулся за свой столик, Курцу было предложено сесть, а фрау профессор уселась между ними, всем своим видом выражая готовность защитить своего беззащитного Ганси. Наступило неловкое молчание.

"Фрау Минкель, — произнес наконец Курц со смущенной улыбкой подневольного человека, — фрау Минкель, я очень сожалею, но нам с профессором необходимо обсудить некоторые вопросы безопасности, за которую отвечает наш отдел, поэтому я вынужден просить вас..."

И он снова смущенно улыбнулся. Профессор кашлянул и спросил, не выпьет ли господин Шпильберг чашечку кофе. Господин

Шпильберг попросил чаю, фрау профессор удалилась, напоследок послав супругу встревоженный взгляд, и профессор Минкель вопрошающе повернулся к Курцу.

“Профессор, насколько мне известно, вам уже звонила наша общая знакомая Рут...” — начал Курц, которому это было тем более известно, что он стоял за спиной Рут, когда она по его просьбе звонила профессору, и прислушивался к их разговору, чтобы представить себе своего будущего собеседника.

“Рут Задир была одной из моих лучших студенток”, — с чувством утраты заметил Минкель.

“Сейчас она одна из лучших наших сотрудниц, заверяю вас, — искренне сказал Курц. — Кстати, знаете ли вы, чем занимается наш отдел?”

Профессор Минкель не знал, чем занимается отдел господина Шпильберга. Но если это касается политических взглядов его нынешних — или бывших — студентов, то он вынужден заявить, что не намерен обсуждать такие вопросы. Он не считает их легитимными. Он уже заявлял это раньше. Он просит прощения, но у него есть свои принципы. Когда у человека есть принципы, он обязан им следовать. Более того, он обязан действовать в соответствии с ними. Так он считает.

Курц, который знакомился с личным делом Минкеля еще накануне, знал, в чем состоят эти принципы. Минкель был учеником Мартина Бубера и членом той почти позабытой группы идеалистов, что между войнами 67-го и 73-го годов призывали к миру с палестинцами. Правые называли его предателем; левые, когда вспоминали, что он существует — тоже. Кроме того, Минкель был признанным авторитетом по части еврейской философии, раннего христианства и еще пары десятков аналогичных вопросов, а также автором трехтомного труда по теории и практике сионизма, в котором библиографический указатель был толщиной с телефонный справочник.

“Профессор, — вкрадчиво сказал Курц, — я знаю ваши взгляды и заверяю вас, что пришел вовсе не для того, чтобы заставить вас их изменить. — Тут он для убедительности помолчал. — Кстати, правильно ли я понимаю, что ваша предстоящая лекция во Фрейбурге тоже связана с правами человека? Что-то насчет арабов и их права на самоопределение, кажется, не так ли?”

Профессор не мог согласиться с таким приблизительным определением. “Как раз в данном случае, господин Шпильберг, моя тема

будет совершенно иной, — торжественно произнес он. — Я намерен говорить о путях самореализации иудаизма. О пути культурного и нравственного примера, как противостоящем пути завоевания...”

“Очень интересно! — с пылким интересом воскликнул Курц. — Не могли бы вы пояснить?”

“Пожалуйста, господин Шпильберг. — Когда профессора просили поделиться мудростью, он никому не мог отказать. — Будучи небольшим еврейским государством, Израиль мог свободно и демократически развиваться по пути самореализации еврейского духа. Однако превратившись в большую страну, включающую также множество арабов, Израиль вынужден выбирать. — Он показал руками, что Израиль действительно вынужден выбирать. — Либо демократия без еврейской самореализации, либо еврейская самореализация — без демократии...”

“Но решение, профессор, решение?!” — взволнованно вскричал Курц.

“Очень просто! — уверенно отрезал Минкель. — Уйти с Западного берега и из Газы, пока мы еще не утратили наши еврейские духовные ценности”.

“А как относятся к этому предложению палестинцы?”

Лицо профессора омрачилось. “Они называют меня циником, — печально сказал он. — Они говорят, что я хочу все сразу: и еврейское государство, и международные симпатии. Я для них — подрывной элемент...”

“Подрывной элемент?! — возмущенно воскликнула фрау Минкель, появляясь в дверях с подносом в руках. — Вы смеете называть моего Ганси “подрывным элементом”, господин Шпильберг?! Только потому, что он принимает близко к сердцу все, что происходит в этой стране? Только потому, что он осмеливается выступить против угнетения арабов?! Мы, немецкие евреи, — подрывной элемент в Израиле?!”

“Но, дорогая...” — сконфуженно промямлил профессор. Однако фрау Минкель нелегко было остановить. “Почитайте, что о нас пишут во всем мире, господин Шпильберг! — И она ткнула в Курца пальцем, словно пригвождая к стене, так что Курц даже приподнял руку, прикрывая ею свое лицо. — Эта ваша Рути! — презрительно фыркнула фрау Минкель. — Такая светлая голова, три года занималась в семинаре у Ганси и надо же — работает на истеблишмент!”

Курц медленно опустил руку, приоткрывая смеющиеся глаза. Он улыбался сконфуженной улыбкой человека, который втайне

гордится поразительным многообразием человеческих характеров.

Теперь он выбирал свои слова тщательно, почти любовно. То, что он говорит, является абсолютно секретным. Этого не знает никто. Даже Рут Задир, прекрасный офицер, посвященный во многие государственные секреты, даже она не знает. (Что было не совсем верно, но кто проверит?) Это не имеет отношения к студентам профессора Минкеля, а также к его благородным принципам, которые он, Курц, не намерен оспаривать, упаси Боже. Это связано исключительно с предстоящей лекцией во Фрейбурге, которая привлекла внимание определенных экстремистских организаций.

И он рассказал им все. Во всяком случае, все, что им следовало рассказать.

“Таковы факты, — заключил он, разводя руками. — И если некоторые из палестинцев, права которых вы так мужественно защищаете, профессор, добьются своего, то, боюсь, вам не доведется прочесть эту лекцию во Фрейбурге. Боюсь, что вам вообще не доведется больше читать лекции. Если наша информация верна, то эти палестинцы считают вас опасным проповедником умеренности, которая вредна для их радикального дела. Они считают вас глашатаям решений бантустанского типа. Они считают вас лжепророком, который увлекает слабодушных в пропасть очередного — и рокового — компромисса с сионистскими угнетателями”.

“Простите! — резко перебил его Минкель. — Но именно так писала обо мне палестинская пресса после моего выступления в Бир-Зейте...”

“Профессор, мы именно оттуда и взяли это описание!” — горячо заверил его Курц.

24.

В Цюрих она прилетела ранним вечером. Штормовые огни горели вдоль посадочной дорожки, словно освещая ей путь к ее собственной цели. Всю дорогу она лихорадочно готовила себя к встрече с прогнанным прежним миром. Теперь она знала, что в нем не было ни единой искорки добра; теперь она видела, какой ценой покупается его заплывшее жиром самодовольство. Она снова была давней — разгневанной бунтаркой, лишь сменившей прежнее бесплодное вспышкопускательство на более убедительный Калашников. Огни неслись мимо окна, словно пылающие обломки. Самолет коснулся

земли. Но в ее билете стояло "Амстердам", поэтому ей еще только предстояло приземлиться. "Одинокая девушка, возвращающаяся с Ближнего Востока, вызывает подозрения, — сказал капитан Тайе на последнем инструктаже в Бейруте. — Мы должны сделать вас более респектабельной". Фатме, которая пришла с ней проститься, сказала прощом: "Халил велел тебе сменить паспорт в Цюрихе".

В пустынном зале для транзитных пассажиров звучала тихая музыка, автомат для продажи шоколада и сырков сверкал праздничной пустотой, нигде не было ни души. Она вошла в туалет и уставилась в зеркало. Всклопоченные волосы, перекрашенные в каштановый цвет (Тайе лично наблюдал за тем, как Фатме калечила ее прическу); ни помады, ни краски, никакого секс-эпила; тяжелый коричневый чемодан и такие же тяжелые астигматические очки, сквозь которые тарасились на окружающий мир подслеповатые глаза. Типичный синий чулок, подумала она, нехватает только грубого свитера и большой соломенной шляпы. Она далеко ушла от бесстрашной любовницы пламенного революционера.

У соседнего зеркала стояла Рахель, но Чарли смотрела прямо сквозь нее. Я ее не люблю, я ее не знаю, я по чистой случайности поставила свою открытую сумочку рядом с ней и положила сверху пачку "Мальборо", как учил Иосиф, я не видела, как она подменила эту пачку своей. Это не мне она подмигнула в зеркало.

У меня есть только эта жизнь. У меня есть только один возлюбленный — Мишель и только один командир — великий Халил.

Вы должны сесть как можно ближе к выходу на посадку, наставлял Тайе. Она села у самого выхода и вынула из сумки рекламную брошюру об альпийских лугах. Брошюру она положила на колено, так, чтобы название можно было прочесть даже издали. Вторым опознавательным знаком была круглая наклейка с надписью "Спасите китов!" Халил настаивал, чтобы все было парным: два плана, два опознавательных сигнала, второй выход — на случай, если первый подведет; вторая пуля, если мир не погибнет после первой.

"По первому разу Халил не доверяет никому", — предупреждал Иосиф. Но Иосиф умер и давно похоронен, незадачливый пророк времен ее невинного детства. Теперь она вдова Мишеля, солдат капитана Тайе, новобранец великой армии неуловимого Халила.

Швейцарский солдат пристально смотрел на нее. Пожилой солдат с карабином через плечо. Чарли перевернула страницу. Из такого карабина она выбила на последних стрельбах в пустыне 84 очка из 100, высшее достижение что для женщин, что для мужчин. Солдат

все еще смотрел. Сейчас я сделаю с тобой то же самое, что сделала Буби с тем фашистом, которого ей поручили ликвидировать в Венесуэле. Она подбросила ему детский резиновый мячик, когда он вышел из дому на работу. Какой отец не наклонится поднять детский резиновый мячик? Когда он наклонился, Буби спокойно его застрелила. Разве склонившийся человек может выхватить из кармана револьвер?

Какой-то тип подсел на ее скамейку, посмотрел на нее оценивающим взглядом, перешел в наступление. Серый фланелевый костюм, дешевые туфли, трубка во рту — типичный английский фашист, сексуальный маньяк, буржуй. “Э-э, простите; может быть, вы говорите по-английски?” Она вдруг преисполнилась такой ненавистью, что ее чуть не вывернуло. Она испепелила его взглядом, но он, видимо, был из невозгораемого материала. Настырный. Как все эти, буржуи. “Просто, понимаете, так пустынно... Вот я и подумал — может, нам выпить рюмочку вместе, а? Просто так, без всяких там, знаете ли... От рюмочки оно как-то легче становится”.

Ей хотелось сказать: “Папа не велел мне говорить с незнакомыми мужчинами” — но она сдержалась, и он наконец отвалил, пошел оскорбленно — наверно, жаловаться на нее полицейскому. Она вернулась к своим эдельвейсам, прислушиваясь к тому, как заполняется зал — шаги за шагами, по одному. Шаги — мимо — к бару. Шаги — мимо — к туалету. Шаги — к ней — остановились.

“Имоген? Ты меня не помнишь? Сабина...”

Подними голову. Сделай вид, что припоминаешь. Веселенький швейцарский шарфик, скрывающий всклокоченные волосы каштанового цвета. Надеть на нее очки, и мы на любой фотографии сойдем за близнецов. Большая сумка фирмы Вебер через плечо — второй опознавательный знак.

“Сабина? Привет! Вот это здорово!”

Поднимись. Облобызайся с ней. Какое совпадение? Куда ты летишь?

Черт, мой самолет сейчас отходит, Имоген, даже поговорить не успеем, вот жизнь, а?! Ты посмотришь за моей сумкой, пока я..? Что за вопрос, Саб, конечно! Пока Сабина в туалете, рука Чарли смело, как в собственную, ныряет в ее сумку, нащупывает продолговатый конверт, в котором лежат паспорт и авиабилет, быстро подменяет их своими паспортом и билетом, сует туда же свою карточку транзитного пассажира. Сабина возвращается, хватаяет сумку — извини, Имоген, я спешу, объявили посадку. Чарли счи-

тает до двадцати и тоже направляется в туалет. Усаживается на насест, читает. Имоген Бааструп, Южная Африка, вылет в Штутгарт через час двадцать. Прощай, Сабина, не поддавайся толстогадым буржуазным садистам, которые рыщут по залам ожидания в поисках белых девушек!

Выходя из туалета, она перехватила чей-то взгляд. Опять этот солдат! Она уставилась на него, пока он не отвел глаза. Ему просто скучно, решила она, снова открывая свою альпийскую брошюру.

Ей показалось, что полет продолжался минут пять. В Штутгарте стояло запоздалое Рождество, и в зале прибытия царило оживление семейного праздника, когда все торопятся по домам. Проходя мимо плаката с фотографиями разыскиваемых террористов, Чарли отвернулась — ей почудилось, что она увидит среди фотографий свою. Паспортный контроль она прошла, не моргнув глазом, на таможенном пошла на зеленый. У выхода она увидела Розу, свою южноафриканскую подружку, которая спала в углу, подложив под голову рюкзак, но Роза тоже давно умерла, как Иосиф, и была невидима, как Рахель. Дверь распахнулась, снег ударил в лицо. Подняв воротник, она побежала через дорогу к стоянке машин. Четвертый этаж, сказал Тайе, дальний левый угол и цветок "лисьего хвоста" на антенне. Ей представлялся настоящий рыжий лисий хвост, гордо развевающийся на верхушке антенны; на самом деле это оказалась нейлоновая имитация, уныло лежавшая на капоте маленького "Фольксвагена".

"Меня зовут Сол, — произнес мужской голос рядом с ней по-английски. — А тебя, радость моя?" Длинноволосый парень прислонился к стене, озорная, ленивая улыбка, тяжелые кеды. И значок "Спасите китов!", приколотый к куртке.

"Имоген", — ответила она, потому что Тайе назвал ей имя — Сол.

"Подними крышку багажника, Имоген. Поставь туда свой чемодан. Заодно кинь глазом, кто тут тобой интересуется. Есть кто-нибудь?"

Она неторопливо обвела взглядом стоянку. В кабине стоявшего неподалеку фургона Рауль усиленно зажимался с какой-то девушкой, лица которой она не могла разглядеть за стеклом.

Никого, сказала она.

Сол распахнул дверцу. "И надень пояс, радость моя, — сказал он, — у них тут на этот счет законы, видите ли. Где ты была, Имо-

ген? Откуда у тебя такой потрясный загар?”

Но вдовы, поклявшиеся мстить за своих возлюбленных, не развлекаются разговорами. Сол пожал плечами и включил музыку.

Машина шла ярко освещенными улицами, и снежинки на этом свете казались черным пеплом. Потом они въехали на развязку, и внизу под собой Чарли увидела детишек в красных дубонах, которые играли в снежки. Я делаю это для них, подумала она. Странно, но Мишель тоже в это верил. Все мы в это верим. Кроме Халорана, который усомнился. Сомнение — это предательство, говорил капитан Тайе. Иосиф тоже говорил что-то похожее.

Теперь они въехали в новую страну — дорога превратилась в черную реку между белыми берегами, на пепельном небе вырисовывались силуэты сказочных замков и зачарованных деревень, игрушечные церковки с луковичными головками напоминали, что есть на свете такая вещь, как молитва, но молитва была для слабых, а она уже вышла из пеленок. И с каждым очередным прекрасным видением ее сердце рвалось к нему и пыталось его остановить, но ничто не останавливалось, ничто не оставляло отпечатки в сознании, все было как тускнеющий пар дыхания на стылом стекле. Порой их обгоняла другая машина; один раз они обогнали мотоцикл, и ей показалось, что она видит Димитрия; но мотоцикл отстал раньше, чем она успела разглядеть.

Наконец они перевалили через холм, и Сол прибавил скорость. Вокруг лежали поваленные деревья, похожие на замерзших солдат в советских фильмах, потом она увидела на горизонте очертания старого дома с высокой каминной трубой, напомнившего ей их дом в Афинах. Сол затормозил и дважды мигнул фарами. Из дома ответно мигнул фонарь. Сол отсчитал до десяти — фонарь в окне вспыхнул снова. Он открыл дверцу.

“До скорого, радость моя, — сказал он. — Мы чудно поговорили, верно?”

С чемоданом в руке, Чарли, спотыкаясь, побрела между деревьями в призрачном лунном свете. Дом вырастал перед ней. Где-то под навесом блеснуло колесо мотоцикла. Потом она услышала знакомый, хотя и приглушенный голос: “Имоген, осторожней, если с крыши что-то свалится, оно тебя убьет. Имоген — о, Чарли! — это ты? — как смешно!” И в ту же минуту сильное мягкое тело выскользнуло из темноты и прильнуло к ее телу, и охваченная волной странной признательности, Чарли ответила таким же сильным объятием: “Хельга — это ты? — господи! — как хорошо!”

Светя себе фонарем, Хельга провела ее через зал с мраморным полом (половины плиток почему-то не доставало), потом по шаткой деревянной лестнице без поручней. Дом и так выглядел умирающим, но кто-то явно ускорял его кончину. Сочащиеся гнилью стены были покрыты красными разляпинами лозунгов, дверные ручки и патроны лампочек были вырваны с мясом; они проходили анфиладой пустых комнат, в каждой из которых можно было бы устроить банкет: в первой стоял изувеченный изразцовый камин, забитый газетами, во второй — запыленный ручной печатный пресс, пол вокруг которого был по колено завален пожелтевшими листовками позавчерашней революции. В третьей комнате луч фонаря упал на кипу папок и бумаг, сваленных в нише.

“Знаешь, что я делаю здесь со своей подругой, Имоген? — нетерпеливо спросила она. — Мою подругу зовут Верона, ее отец был законченным нацистом, капиталистом, землевладельцем, чем хочешь. Он умер, и теперь мы все распродаем, из мести. Деревья, землю, мебель, все! Видишь этот стол? Мы разрубили его собственноручно. Мы его сожгли. На этом столе он выписывал чеки на свои фашистские дела. Мы сожгли его. Теперь Верона свободна. Она бедна, она свободна, она присоединилась к массам. Правда, замечательно, Имоген? Тебе тоже следовало бы так сделать”.

У последней двери Хельга остановилась и что-то тихо сказала по-немецки. Дверь открылась. “Имоген, это товарищ Верона”, — сказала Хельга, входя первой.

Верона оказалась пышнотелой девицей в переднике поверх широких черных брюк и с револьвером на толстом бедре. Она вытерла руку о передник и протянула ее для буржуазного рукопожатия.

“Год назад Верона была настоящей фашисткой, как ее отец, — хозяйским тоном пояснила Хельга. — Теперь она солдат. Правда, Верона?”

Девица тупо кивнула и отошла в угол, где что-то шипело на походной горелке.

“Иди сюда. Смотри, кто тут”, — сказала Хельга и потащила Чарли вглубь комнаты. Окна были затянуты толстыми шторами, тусклый свет подвешенной на крюке керосиновой лампы не проникал в дальние углы; на прислоненной к стене чертежной доске был нарисован план города с цветными стрелами, обращенными к большому прямоугольному зданию в его центре; на бывшем столе от пинг-понга лежали обрезки сыра, колбасы, засохшие куски хлеба; повсюду валялась одежда; на приподнятом, как сцена, помосте

были разостланы два надувных матраца, на одном из которых голый по пояс и ниже, раскинулся тот итальянец, что когда-то в Лондоне держал ее на мушке у телефонной будки. Вокруг него были разбросаны части разобранного автомата, из валявшегося рядом транзистора доносилась музыка Брамса.

“А это наш энергичный Марио, — с шутовой гордостью воскликнула Хельга, тыча пальцем ноги в его увесистый придаток. — Марио, ты совершенный бесстыдник! Оденься немедленно и прими гостью, я тебе приказываю!”

Вместо ответа Марио лишь перекатился на матраце, освобождая желающим место рядом с собой.

“Как там товарищ Тайе, Чарли? — спросил он. — Что нового в семье?”

Телефон протяжно крикнул, захлебнулся и умолк. Хельга застыла, как изваяние, потом медленно положила хлеб на покосившийся стол и повернулась к аппарату, но не подняла трубку. Росино небрежно прошел в угол комнаты, натянул рубашку и повернулся к Хельге.

“Он сказал, что позвонит завтра, — сварливым голосом произнес он. — Что случилось?”

“Замолчи!” — яростно прошипела Хельга.

Телефон закричал снова, на этот раз дважды, Хельга подняла трубку и тут же положила ее обратно. На третий раз она ответила лаконичным “Да” и замолчала, вслушиваясь в то, что ей говорили.

“Минкели изменили свой план, — объявила она, опустив трубку на рычаги. — Они заночуют в Тюбингене, у друзей. Их багаж состоит из четырех больших чемоданов, нескольких коробок и портфеля. Черного портфеля с простыми застежками. Место лекции тоже изменено. Полиция нервничает и предпринимает так называемые разумные меры предосторожности”.

“Как насчет охраны?” — спросил Росино.

“Минкель наотрез отказался от телохранителей. Это, видите ли, противоречит его принципам. Он, видите ли, не может проповедовать законность и справедливость в окружении агентов секретной полиции. Для Имоген ничего не меняется, ее инструкции остаются теми же. Это ее премьера. И она остается в заглавной роли. Да, Чарли?”

Вдруг оказалось, что все они смотрят на нее — Верона с тупой сосредоточенностью, Росино с ухмылкой, а Хельга своим прямым солдатским взглядом, чуждым, как всегда, всякому сомнению.

Она лежала на тощем матрасе, подложив под голову руку вместо подушки. Хельга сидела рядом с ней, поглаживая ее стриженные волосы своими сильными пальцами. Лунный свет заливал комнату, за окном царило снежное безмолвие. Тут впору писать волшебные сказки, подумала Чарли. Мой возлюбленный должен включить электрическую плитку и взять меня в ее тусклом багровом свете. Мне ничего не грозит, кроме завтрашнего дня.

“В чем дело, Чарли? Открой глаза. Я тебе уже не нравлюсь?”

Она открыла глаза и уставилась в пустоту перед собой.

“Ты все еще вспоминаешь нашего маленького палестинца? Тебя пугает завтрашняя операция? Тебе хочется все бросить и бежать?”

“Я устала”.

“Так пойдем, ляжем спать все вместе! Мы можем заняться сексом, Марио замечательный любовник”.

Склонившись над ней, Хельга поцеловала ее в щеку.

“Хочешь, чтобы я прислала к тебе Марио? Ты стесняешься? Я и это могу тебе позволить”. Она поцеловала ее снова. Но Чарли лежала холодная и застывшая, как ледышка.

“Завтра вечером ты не будешь такой холодной. Халилу нельзя отказать. Ему уже не терпится увидеть тебя. Знаешь, что он однажды сказал? “Без женщин я теряю свою человечность и не могу сражаться. Чтобы сражаться, нужно быть человечным”. Халил великий человек. Ты любила Мишеля, поэтому он полюбит тебя. Можешь не сомневаться”.

И, поцеловав ее на прощанье, Хельга вышла из комнаты. Чарли продолжала лежать на спине, глядя, как ночь медленно светлеет за ее окном. Она услышала женский стон, перешедший в захлебывающееся всхлипывание, и требовательный возглас мужчины — Хельга и Марио приближали мировую революцию без ее помощи.

“Иди, куда они тебя поведут, — сказал Иосиф. — Если они велят тебе убить, убей. Мы отвечаем”.

А где будете вы?

“Рядом”.

Иными словами, на самом краю света.

В ее сумке лежал маленький ручной фонарик. Она вытащила его вместе с пачкой сигарет, которую сунула туда Рахель. Осторожно, как учил Иосиф, отделила картонную крышку, разгладила ее и, посплюнув палец, стала тщательно втирать слюну в картон. Темно-коричневые буквы проступили четко, как на чертеже. Прочитав послание, она втиснула порванную пачку в щель между досками

пола и подтолкнула пальцем, так что она исчезла из виду.

“Держись. Мы с тобой”. Вся ее Библия, написанная на рисовом зернышке кончиком иглы.

Их штаб-квартира во Фрейбурге располагалась в наспех арендованной конторе на одной из главных улиц. Их прикрытием была фирма “Уэкер и Гош, Лтд”, одна из многих фиктивных фирм, которые зарегистрировал отдел Гаврона. К их услугам были три телефона — любезный жест Алексиса; один из телефонов соединял их напрямую с самим доктором. Они провели напряженную ночь, половина которой ушла на выслеживание Чарли, а вторая — на споры между Литваком и его западногерманским коллегой — Литвак теперь ссорился со всеми подряд. Курц и Алексис старались держаться подальше от споров своих подчиненных. Они, в общем, сговорились друг с другом, и Курц не был заинтересован нарушать соглашение. Алексис и его люди получают славу; Литвак и его команда — удовлетворение.

Что касается Гади Бекера, то он наконец вернулся в строй. Сомнения, преследовавшие его в Иерусалиме, развеялись, грызущая пустота бессильного ожидания была позади; близость развязки придавала всем его действиям быструю и решительную уверенность. Вот и сейчас, пока Курц дремал под своим солдатским одеялом, а Литвак нервно мерял шагами комнату, хватая то одну, то другую телефонную трубку и бросая в них загадочные, отрывочные приказы, Бекер, стоя у окна, внимательно смотрел сквозь жалюзи на заснеженные холмы, поднимавшиеся за рекой Драйзам. Город Фрейбург был окружен холмами, и каждая его улица, казалось, поднималась в гору к своему собственному Иерусалиму.

“Она раскололась!” — внезапно выкрикнул Литвак за его спиной.

Бекер удивленно обернулся и посмотрел на него.

“Она перешла на их сторону”, — в горле Литвака что-то клочкало.

Бекер снова отвернулся к окну. “Да, она частью на их стороне, — подтвердил он. — Но частью — на нашей. Мы на это и рассчитывали”.

“Она предала нас! — крикнул Литвак, взвинчивая себя собственной догадкой. — Такое уже случалось и случилось теперь. Я видел ее в аэропорту. Говорю тебе, она выглядела ужасно!”

“Если она выглядела ужасно, значит, она хотела так выглядеть, — невозмутимо произнес Бекер. — Она актриса. Она справится, не беспокойся”.

“Зачем ей работать на нас? Она не еврейка. Она ничто. Она перешла к ним. Можешь поставить на ней крест!”

Услышав, что Курц зашевелился под своим одеялом, Литвак заговорил еще громче, чтобы втянуть и Курца:

“Если ты прав, почему она дала Рахели пустую сигаретную пачку в аэропорту, скажи на милость?! Она провела недели в их гнезде и ни о чем не сообщает нам, когда появляется снова. Это ты называешь ее верностью?!”

Бекер искал ответ в заснеженных долинах. “Может, ей не о чем было сообщать. Ее верность — в действиях, не в словах”.

“Германия действует тебе на нервы, Шимон, — сонно утешил Курц со своей постели. — Возьми себя в руки. Какая разница, на чей она стороне? Важно, что она ведет нас по следу”.

Но это только подстегнуло Литвака. Он почувал, что эти двое объединились против него, и несправедливость привела его в бешенство:

“А если она расколется, выдаст, расскажет им все, начиная с Миконоса? Ты тоже скажешь, что это не важно?!”

Он явно нарывался на скандал, на меньшее он не был согласен.

“Что же ты советуешь, Шимон? — уже сердясь спросил Курц, приподымаясь на локте. — Ну, дай нам свои драгоценные указания! Положим, она расколосась. Положим, она изменила нам. Положим, она выдала всю операцию со всеми потрохами. Может, мне позвонить Мише Гаврону, что мы складываем ручки?”

По-прежнему стоя у окна, Бекер повернулся и задумчиво посмотрел на Литвака. Он и Курц казались застывшими изваяниями, только Литвак метался между ними разгоряченной лихорадочной тенью.

“Она где-то там! — крикнул он, в отчаянии вскидывая руки. — В отеле. В пансионе. В каком-то доме. Она там. Нужно оцепить город. Перекрыть все дороги, вокзал, автобусные линии. Пусть Алексис пошлет полицейских, пусть обыщут все дома. Нужно найти ее!”

“Шимон, Фрейбург — не Шомрон”, — с тяжеловесной иронией напомнил Курц.

Но Бекера явно заинтересовал ход мыслей Литвака:

“А когда мы ее найдем, — спросил он, словно не до конца улавливая идею, — что тогда, Шимон?”

“Тогда мы найдем и его! И убьем! И конец!”

“А кто убьет Чарли? — спросил Бекер с той же рассудительностью. — Мы или они?”

Литвак вдруг потерял все свое самообладание. Он крикнул, словно выхаркивал весь сгусток своих сомнений, разочарований и обид: “Она блядь, она коммунистка, она арабская подстилка! Пусть сдохнет! Кому она нужна?!”

Бекер не ударил его. Он только коротко кивнул, словно Литвак подтвердил какие-то его мысли. Курц тяжело сел на кровати, растирая лицо руками.

“Прими душ, Шимон, — тихо сказал он. — Прими душ, выпей кофе, отдохни. Явишься сюда завтра в полдень. Не раньше”.

Литвак в немом ужасе посмотрел на него. Резко звякнул телефон.

“Не отвечай, Шимон! — предупредил Курц, и сам поднял трубку. — Нет, он занят. Да, это Хельмут. Кто говорит? Да. Да. Отлично”.

Он повесил трубку и вдруг улыбнулся своей безрадостной многовековой улыбкой. Сначала Литваку, чтобы утешить его, потом Бекеру, потому что теперь их разногласия становились ничтожными. “Чарли прибыла в отель Минкелей пять минут назад, — сказал он. — С ней Росино. У него в руках новенький черный портфель”.

“А браслет?” — спросил Бекер.

“На правой руке, — торжественно провозгласил Курц. Этот факт, видимо, нравился ему больше всего. — У нее есть для нас сообщение. Она хорошая девочка, Гади, я тебя поздравляю”.

Отель был построен в шестидесятые годы, когда архитекторы еще верили в большие, как цеховой пролет, холлы с подсвеченными фонтанами и маятниковыми часами под стеклом. Широкая двойная лестница вела на балкон, и сидя там, Чарли и Росино могли видеть одновременно и главный вход, и регистрацию. Чарли была все в той же южноафриканской униформе и в тех же дурацких очках, от которых у нее невыносимо ломило в затылке. За тот час, что они провели здесь за омлетом и кофе, она успела уже выучить, казалось, наизусть всю процедуру регистрации и приема, устала от непрерывного потока людей, то появлявшихся в дверях, то исчезающих за ними, от шарканья ног, грохота багажа, погружаемого на тележки, смеха, возгласов, разговоров. Росино, отгородившись газетой, невозмутимо изучал заголовки и время от времени угощал ее очередной порцией новостей.

“Его Святейшество Папа римский собирается посетить южноамериканские страны”.

риканские фашистские страны! — объявил он в очередной раз. — Может, на этот раз они его наконец прихлопнут. Куда, ты, Имоген?”

“Отлить,” — информировала его Чарли.

“В чем дело? Ты нервничаешь?”

Женский туалет был залит розоватым светом и мягкой музыкой, которая тщетно состязалась в громкости с воем вентиляторов. У зеркала Рахель накладывала тени на веки. Проходя мимо нее, Чарли сунула ей в руку записку и закрыла за собой дверь кабинки. Когда она вышла, Рахели в туалете уже не было.

“Пошли отсюда, — сказала она, возвратившись к столику, словное пребывание в туалете изменило ее настроение. — Это становится смешным”.

Росино затянулся сигарой и медленно выпустил клуб дыма ей в лицо.

Очередная группа туристов ввалилась в холл, и Росино хотел было уже пройти по их поводу, но его намерения прервал вызов телефонистки: “Синьор Верди, вас просят в кабину номер три”. Оставшись одна, Чарли допила кофе и огляделась. Рахель с каким-то незнакомым юнцом, по виду немцем, сидела под искусственной пальмой, погруженная в оживленный разговор. В холле было еще несколько человек, но Чарли опознала только ее.

“Минкелли прибыли две минуты назад, — негромко сказал Росино, снова усаживаясь за столик. — Они заказали голубой “Пежо”. Будут здесь с минуты на минуту”.

Он попросил счет, расплатился и снова занялся газетой.

“Почему нам просто не застрелить этого сукиного сына и с концами?” — прошептала Чарли, поддаваясь поднявшейся изнутри волне страха и ненависти.

“Потому что мы хотим уцелеть, чтобы застрелить еще кое-кого, — терпеливо объяснил Росино и перевернул страницу. — Манчестер Юнайтед снова проиграл. Бедная Британская империя!”

За стеклянной дверью остановился голубой “Пежо”. Первой вышла седоволосая женщина, за ней высокий, почтенного вида мужчина. Он двигался медленно и церемонно.

“Внимание!” — сказала Чарли.

“Следи за мелкими вещами, я возьму на себя чемоданы”, — неторопливо сказал Росино, затягиваясь сигарой.

Сначала появились два найлоновых чемодана, перетянутые посреди толстой лентой, за ними старый коричневый чемоданище на колесиках, потом еще один чемодан.

“Сколько они собираются здесь торчать?” — удивился Росино.

Теперь на тележку укладывали мелкий багаж — большую сумку на кожаном ремне, два зонтика, бумажный мешок — наверно, с подарками к Рождеству. Потом она увидела его: простой черный портфель, металлические уголки, табличка с именем. Добрая старая Хельга, подумала Чарли, наметанный глаз. Минкель расплачивался с таксистом. Фрау Минкель подхватила портфель.

“А чтоб тебя!” — шепнула Чарли.

“Подожди”, — сказал Росино.

Нагруженный пакетами, Минкель прошел вслед за женой сквозь вращающиеся двери.

“Сейчас ты говоришь мне, что, кажется, знаешь его, — мягко сказал Росино. — Я говорю, почему бы тебе не подойти. Ты говоришь, что стесняешься. Ты у нас такая скромная, стеснительная целочка. — Он придерживал ее за рукав. — Не пережимай. Если этот номер не пройдет, есть еще другие пути. Давай! Поправь свои очки! Двигай!”

Минкель уже подходил к стойке регистрации. Фрау Минкель, с портфелем в руках, стояла рядом с ним. Чарли начала спускаться по лестнице. Холл наплывал на нее, покачиваясь как палуба корабля. Минкель уже заполнял карточку. Портфель стоял у его левой ноги; фрау Минкель куда-то отошла. Чарли перегнулась через его плечо и заглянула в карточку. Фрау Минкель появилась слева и в недоумении уставилась на Чарли, потом толкнула супруга в бок. Минкель медленно поднял голову и повернулся к Чарли. Она откашлялась и зарделась от скромности. Это оказалось неожиданно легко. Сейчас!

“Профессор Минкель?” — спросила она.

Его голубые растерянные глаза выглядели даже более растерянными, чем у Чарли. Как партнер на сцене, он никуда не годился.

“Это я, — неуверенно подтвердил Минкель. — Да, это я профессор Минкель. А что?”

Ей не раз приходилось выручать плохих партнеров, это даже придавало ей силы. Она сделала глубокий вздох:

“Профессор, меня зовут Имоген Бааструп, я из Иоганнесбурга, факультет социальных наук в Витватерсрандском университете. Я слушала вашу юбилейную лекцию о правах меньшинств в расово ориентированных культурах. Это была замечательная лекция. Она перевернула всю мою жизнь. Я давно хотела вам написать, но никак не решалась. Разрешите мне пожать вам руку?”

Ей пришлось самой схватить его руку. Он неуверенно глянул на жену, но фрау Минкель держалась лучше: она сумела выдавить на лице подобие улыбки. Поймав подсказку, Минкель тоже улыбнулся. Растерянно и неловко. Рука его в потной руке Чарли казалась намыленной.

“Вы собираетесь долго пробыть во Фрейбурге, профессор? Что вы здесь делаете? Неужели у вас здесь лекция?!”

Позади нее Росино расплывшейся в астигматических очках тенью склонился к регистратуре, выясняя, не прибыл ли синьор Бокаччио из Милана.

Фрау Минкель снова пришла на выручку мужу: “Мы совершаем европейское турне, — объяснила она. — Несколько лекций, несколько дружеских визитов”.

Я хочу выбраться отсюда. Господи, помоги мне выбраться.

Клерк за регистрационной стойкой изображал глубокое прискорбие: нет, он не может найти заказ синьора Бокаччио. Другой половиной лица он демонстрировал беспредельный восторг по поводу прибытия профессора Минкеля. Сцена стремительно шла к финалу: все благодарят всех. Росино, зажав под мышкой черный профессорский портфель, благодарил клерка: профессор благодарил восторженную почитательницу; почитательница, утопая в извинениях, многословно благодарила профессора; Росино удалялся, изящно прикрыв портфель свисающим с плеча плащом; все, отыграли! Уже у выхода она поймала в стекле растерянное отражение Минкеля, глядевшее ей вслед в мучительной попытке вспомнить, где он с ней встречался.

Хельга ждала ее на стоянке, за рулем зеленого “Ситроена”. Чарли скользнула в машину. Хельга неторопливо подъехала к шлагбауму, сунула в его щель монету и стояночный талон — полосатое бревно задумчиво покачалось и стало подниматься. Она ощутила, что внутри нее тоже что-то поднялось и освободилось, словно из-за шлагбаума на нее хлынула волна истерического торжества.

“О, Хельга... ты бы только видела... какой дурищей я выглядела... господи!”

Полицейский на перекрестке в недоумении уставился на двух молодых женщин, которые плача и смеясь обнимались в машине. Опустив стекло, Хельга послала ему воздушный поцелуй.

Литвак сидел у приемника, надвинув на голову наушник. Он был бледен и взъерошен. Курц и Бекер молча стояли за ним.

“Росино взял такси, — пробормотал Литвак, вслушиваясь в писк наушников. — Портфель у него. Он едет в сторону вокзала. Видимо, хочет пересесть на свой мотоцикл”.

“Я не хочу, чтобы за ним следили”, — негромко сказал Бекер.

“Не следили? — Литвак дернулся в судорожном изумлении. — Ты спятил! У нас шесть человек на его хвосте, у Алексиса не меньше пятидесяти и машины по всему городу. Росино это портфель, портфель это след, а след выведет нас к нашему человеку!”

И он круто повернулся к Курцу, шаря глазами по его лицу словно в поисках поддержки.

— “Гади?” — спросил Курц.

“Он будет срезать углы, — объяснил Бекер. — Это его привычка. Он передаст портфель другому, тот третьему. Они потянут нас через пустыри и открытую местность, мы не удержимся у них на хвосте. Они обнаружат слежку”.

“Ты что-то темнишь, Гади, — недовольно сказал Курц. — Что у тебя на уме?”

“Бергер будет опекать Чарли весь день. Она будет ждать звонков от Халила. Если Халил почует слежку, он прикажет Бергер ее убить. Если звонка не будет, Бергер убьет ее сама, без приказа”.

Курц нерешительно покачал головой, отвернулся и тяжело прошелся по комнате. Потом подошел к телефону, который соединял их штаб-квартиру с Алексисом. Они услышали, как он негромко произнес: “Поль...” Голос, который собирается просить об одолжении. Он что-то тихо проговорил в трубку, молча выслушал ответ, снова сказал несколько слов и медленно опустил трубку на рычаги.

“Росино подъезжает к вокзалу! — безумным голосом объявил Литвак, прижимая наушники руками. — Он будет там через девять секунд... нет, уже через шесть!”

Курц даже не посмотрел в его сторону. “Бергер и Чарли зашли в модную парикмахерскую, — задумчиво сказал он, снова принимаясь мерить комнату шагами. — Прихорашиваются перед премьерой”.

“Он на вокзале! — В голосе Литвака звучало отчаяние. — Он расплачивается с таксистом! Он уходит!”

Но Курц неотрывно смотрел на Бекера. С уважением. И с глубокой нежностью. Как тренер на любимого ученика, который наконец-то обрел форму.

“Гади выиграл этот раунд, Шимон, — тихо сказал он, не отрываясь от глаз Бекера. — Отзови своих ребят. Пусть отдохнут до вечера...”

И подошел к заоравшему телефону. Минкель, сказал он, прикрывая трубку ладонью. Профессор звонил уже в четвертый раз. Он находился в тяжелой истерике. Он требовал немедленных разъяснений. Он... Неторопливо, мягко, отеческим тоном Курц разъяснил разбушевавшемуся профессору все, что можно было разъяснить. Иными словами, ничего.

“Большой день, — со вздохом сказал он, кладя наконец трубку на место. — Все получают свое удовольствие”.

И стал кряхтя натягивать на голову синий берет. Ему предстояла очередная встреча с Алексисом. Любезнейший доктор тоже был в истерике. Он требовал заново осмотреть место предстоящей операции.

Последнее ожидание. Самое страшное и долгое из всех. Ожидание премьеры, которой кончались все ее прежние премьеры. И ни секунды одиночества под бдительным солдатским взглядом Хельги. Чарли, мы идем в парикмахерскую, нам должны туда позвонить. Из парикмахерской они отправились смотреть тряпки. Чарли, мы немедленно купим тебе новые боты. И перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. А теперь мы идем в собор. Чарли, я сейчас расскажу тебе, какой это замечательный собор. Из собора — на площадь. Чарли, я обязательно должна познакомить тебя с Бертольдом Шварцем. Это самый сексуальный мужчина на свете, вот увидишь, Чарли, ты непременно в него влюбишься! Бертольд Шварц оказался статуей.

“Ну, разве он не сногшибателен, Чарли?! Правда, так и хочется приподнять его рясу? Ты знаешь, что он отмочил, этот Бертольд? Он был францисканцем и алхимиком к тому же, и он изобрел порох. Он так любил своего Бога, что научил все Его творения, как убивать друг друга! — Она схватила Чарли за руку и нервно прижала ее к себе. — Знаешь, что мы сделаем после акции? Мы придем сюда и принесем старику Бертольду здоровенный букет цветов. Мы положим их у его ног, да? Да, Чарли?”

Фрейбургский собор начинал действовать Чарли на нервы. Всякий раз, как они сворачивали за угол, его иззубренный, ржавый, черный шпиль немедленно появлялся перед ними.

Обедать они отправились в модный ресторан, где Хельга заказала баденское вино. Подумай, Чарли, этот виноград растет на бывшей вулканической лаве! Все, что они ели и пили, шло под соусом ее нескончаемых лекций. По поводу шварцвальдского торта тоже.

“Сегодня мы едим только буржуазные блюда, Чарли!” Но тут Хельгу очередной раз позвали к телефону и, вернувшись, она объявила, что они должны немедленно мчаться в университет. Иначе мы не успеем, Чарли! Буржуазный торт остался недоеденным. Они промчались подземным переходом с кучей крохотных магазинов по сторонам и вынырнули прямо напротив тяжеловесного розоватого здания университета. Тяжелые колонны перед входом и золоченные буквы на фронтоне. Которые Хельга тут же стала расшифровывать, разумеется.

“Это специально для тебя, Чарли! Они припасли для тебя цитату из Карла Маркса. “Правда освобождает”. Как трогательно, Чарли, правда?”

“Я всегда думала, что это из Ноэля Коуарда”, — не выдержала Чарли. И увидела на ее лице мгновенно погасшую судорогу гнева.

К главному входу вели четыре широкие ступени, и его охранял пожилой полицейский. Он равнодушно посмотрел на них и устало отвернулся. Еще две восторженные туристки. Имоген, посмотри, какие колонны! Колонны тоже смотрели равнодушно, они были еще старше, чем полицейский. Давай посмотрим, что там за углом, Имоген! За углом был боковой вход. Тот самый. Желтый плакатик у входа извещал, что сегодня вечером здесь состоится лекция профессора Минкеля — Еврейский университет, Иерусалим, Израиль. Вход охраняли две статуи, Гомер и Аристотель. Они повосхищались статуями, стараясь запомнить расстояния и подходы. Она знала, что все равно ничего не запомнит.

“Чарли, ты боишься, — яростно шепнула Хельга, больно стискивая ее руку. Она не спрашивала, а скорее утверждала, как очевидность. — Вспомни, сегодня твой день, Чарли! Ты покажешь им, что такое свобода! Ты покажешь им, где правда и где ложь. Большая ложь требует большой встряски, Чарли! Идем!”

Они заказали кофе в студенческом кафе и выбрали себе столик у самой стены. Сквозь огромную стеклянную стену они видели оживленные потоки студентов, заполнявшие коридор. Все куда-то торопились, только они сидели, как статуи. Как Гомер и Аристотель. Чего мы ждем, Хельга? Мы ждем звонка. Нам должны позвонить, Имоген. Мы ждем звонка.

Наконец ее вызвали к телефону. Жди меня здесь, Имоген. Она вернулась, снова села за столик и пристально уставилась на Чарли. Сумрачный взгляд солдата, который не одобряет всяких там интеллигентских мерехлюндий.

“Что с тобой, в конце концов? — гневно потребовала она. — Ты вдруг преисполнилась сочувствием к этому сионисту Минкелю? Он такой благородный, такой возвышенный, да? Он хуже Гитлера, пойми! Он тиран, он убийца! Слушай, я закажу тебе шнапс. Рюмочку шнапса, для бодрости, о’кэй?”

Шнапс еще догорал в ее горле, когда они входили в пустынный университетский парк. Над замерзшим прудом собиралась ранняя темнота. Громко ударил колокол, ему отозвался другой, поменьше и повыше тоном.

“О, Чарли! — В голосе Хельги снова звучал неутомимый лекторский энтузиазм. — Ты слышишь? Этот маленький колокол? Чистое серебро, правда? Знаешь, почему? Я тебе сейчас все расскажу. Какой-то путешественник заблудился в лесу, давно, понимаешь, и он так обрадовался, когда выехал к Фрейбургу, что подарил городу серебряный колокол. И вот теперь он звонит каждый вечер. Как прекрасно, правда?”

Чарли попыталась улыбнуться. Хельга обхватила ее рукой и притянула поближе. Добрая старая Хельга в своем репертуаре: “Знаешь, бо время войны они держали здесь гусей. Вместо сирены. Когда налетали бомбардировщики, гуси кричали, и жители знали, что нужно спускаться в подвалы. Потом гуси умерли, но после войны им поставили памятник. Здесь, в этом парке. Совершенные психопаты, эти фрейбургерцы, правда? Один памятник своему монаху с порохом, другой — гусям... — Она вдруг замолчала и быстро глянула на часы. — Он здесь. Тебе пора”.

И она слегка отодвинулась, освобождая Чарли дорогу.

Нет. Я не хочу. Хельга, забери меня отсюда. Я люблю тебя, Хельга, я буду каждый день ходить с тобой на завтраки, я буду слушать твои лекции, Хельга, только не посылай меня к Халилу.

Хельга положила ладони на ее щеки. Ее губы были сладкими от шварцвальдского торта.

“За Мишеля, да? — Она снова поцеловала ее, быстро и страстно. — За революцию, за мир, за Мишеля. Иди прямо по дорожке, там будет калитка. Зеленый “Форд”. Сядешь сзади, за водителем. — Еще один поцелуй. — О, Чарли, ты совершенно сногшибательна. Мы с тобой всегда должны дружить, да?”

Ноги не шли. Она сделала шаг, еще один и оглянулась. Хельга стояла выпрямившись, как часовой, который следит за отпущенным на прогулку арестантом. На прогулку в зеленом “Форде”.

Иди — снисходительно и нетерпеливо направляла широкая солдатская ладонь. Иди.

Она махнула в ответ и повернулась в сторону дорожки. Иззубренный черный шпиль в который уж раз возник за кронами деревьев.

В профиль водитель показался ей молодым. И еще ей показалось, что он араб. меховая шапка и поднятый воротник закрывали почти все лицо. Он не повернулся, когда она садилась. Машина шла медленно, плавно. Они миновали небольшой вокзальчик, остановились у переезда и, дождавшись, когда шлагбаум почти опустился, решительно нырнули под его полосатую руку.

“Здорово!” — сказала Чарли. В ответ она услышала гортанный смехок. Он действительно был арабом.

Еще одна пустынная улочка, подъем, автобусная остановка. Машина остановилась. Не оборачиваясь, он протянул ей через плечо монету.

“Возьми билет за две марки. На следующий автобус”.

Мы просто играем в веселую школьную игру. Мы ищем спрятанное сокровище. Эта примета приведет к следующей. Последняя примета ведет к тайнику.

Было уже совсем темно, в небе зажглись первые звезды. Над снежными полями свистел сырой холодный ветер. Далеко внизу светились огни заправочной станции. Вокруг не было ни души. Потом с тяжелым пыхтением подошел автобус, на три четверти пустой. Она села у двери. Парень в кожаной куртке с улыбкой повернулся к ней, и она узнала вчерашнего Сола.

“Через две остановки будет новая церковь. Пройдешь мимо нее и дальше по дороге, по правой стороне, о’кэй? Там будет красная машина с чертиком в окне. Откроешь заднюю дверь, сядешь и будешь ждать. Просто ждать, ничего больше”.

О’кэй, я буду просто ждать. Я готова ждать вечность, лишь бы за мной не приходили. Снег скрипел под новыми ботами, и это мерное поскрипывание почему-то усиливало ощущение одиночества. И отрешенности. Даже от собственного тела. Привет, ноги, как вы там поживаете? Мы идем, Чарли, мы идем. Метрах в пятидесяти впереди она разглядела крохотное кафе, за которым опять простиралась снежная пустота. Дорога уходила в никуда. Кто придумал открыть кафе в этой пустыне? Еще одна загадка, которую уже не разгадать.

Чертик уныло свисал за стеклом красного "Форда". Она открыла дверцу и втиснулась внутрь. Было тихо, как на том свете. Где-то скрипнула дверь, и на пороге кафе показался человек в высокой остроконечной шапке. Он настороженно огляделся, глубоко втянул морозный воздух, потоптался туда-сюда и опять исчез за дверью. Потом появился снова и медленно, не спеша, пошел к машине. Поровнялся с дверцей и негромко постучал рукой по стеклу. Рука была в кожаной перчатке, жесткой и блестящей, в руке был зажат фонарик. Тоненький лучик заглянул в окно и уперся ей в глаза, она инстинктивно подняла руку, защищаясь от света. Дверца распахнулась, чужая рука сжалась на ее запястье и вытащила ее из машины. Он был на голову выше ее. Высокий широкоплечий человек с лицом, скрытым в тени высокой остроконечной шапки.

"Стой неподвижно", — предупредил голос.

Хорошо, что ты сказал. А то бы я еще запрыгала от радости.

Вторая рука протянулась к висевшей на плече сумке, сняла ее, прикинула вес и углубилась внутрь. Так, снова этот проклятый приемник! Как им не надоест? Щелкнул тумблер, и тишину нарушила задумчивая музыкальная нота. Не сводя с Чарли глаз, он повозился с приемником, достал из него что-то, небрежно сунул в карман — музыка смолкла. С той же небрежностью он швырнул приемник в сумку, а сумку — на сиденье машины. Поднял левую руку — правая беспомощно болталась вдоль тела — и начал легкими прикосновениями ощупывать ее тело. Шею, плечи, лопатки. Бретельки лифчика — то место, где должны были быть бретельки, если бы на ней был лифчик. Подмышки и ниже. Бедра, теперь выше — грудь. Теперь живот.

"Утром браслет был на правой руке. Теперь на левой. Почему?"

Его английский был выученный; акцент, несомненно, арабский. Голос мягкий, но властный, — голос оратора.

"Мне нравится менять его с руки на руку".

"Почему?"

"Кажется, будто одеваешь что-то новое".

Теперь он присел на корточки. С той же тщательностью обследовал ноги, между ногами и ниже — до самых бот.

"Ты знаешь, сколько стоит этот браслет?" — спросил он, выпрямляясь.

"Нет".

"Стой спокойно".

Я стою, я стою, миленький. Я стою очень спокойно, будь уверен.

Он обошел ее и встал за спиной. Новый обряд знакомства с ее телом. Еще раз, повторим: спина, бедра, ягодицы и вниз, к ботам. Это все, что у меня есть, миленький, я очень сожалеею.

“Ты застраховала его?”

“Нет”.

“Почему?”

“Мишель подарил мне его в знак любви. Не ради денег”.

“Садись в машину”.

Она села в машину. Он обошел вокруг и сел на место водителя.

“Я доставлю тебя к Халилу. — Он завел мотор. — Как говорится, из рук в руки, о'кэй?”

Машина была с автоматической передачей, но он переключал скорости сам, левой рукой. Правая неподвижно покоилась на колене. На перекрестке он свернул на другую дорогу. Эта тоже устремлялась в никуда. И вдобавок в полной темноте. Но его это не смущало — он вел машину уверенно, на большой скорости. Теперь она видела его лицо. Это было лицо Иосифа — та же сосредоточенная напряженность, те же оттянутые уголки прищуренных глаз, которые ни на секунду не покидали ее лица. И одновременно успевали следить за всеми зеркалами.

“Ты любишь лук?” — неожиданно спросил он. Она терпеть не могла лук.

“Очень”.

“Умешь готовить? Спагетти? Венский шницель?”

“Что-то в этом роде”, — с осторожной уклончивостью сказала она.

“Что ты готовила Мишелю?”

“Стейк”.

“Когда?”

“В Лондоне. В ту ночь, когда он остался у меня”.

“Лук?!” — крикнул он.

“В салате”.

Теперь они возвращались в город. Зарево городских огней розовой стеной упиралось в низкую тучу. Дорога спустилась в долину. Она увидела недостроенное фабричное здание, потом пустынный автопарк, потом огромную мусорную кучу, издали напоминавшую фонтан. Темные здания, ни одного освещенного окна. Ни одного паба или магазина. Они въехали на широкий бетонный двор. Багровые неоновые буквы над входом: “Отель гарни Эден”. Но это

явно был какой-то второсортный рай. Для таких, как она. Добро пожаловать в рай, Чарли!

Он сунул ей в руку сумку. И какую-то картонную коробку. "Передай ему это! — воскликнул он. — Халилу! Он это любит!" Коробка была из супермаркета, битком набитая крупными луковичками. "Номер пять, на четвертом этаже, — сказал он, открывая дверь. — По лестнице, не в лифте. Счастливо".

Его взгляд жег ей спину, пока она шла к ярко освещенному входу. Холл был пуст, двери лифта стояли настежь, но она прошла мимо них, даже не оглянувшись. Приказ есть приказ. Лестница была узкая, с поворотами, дешевый ковер истерт до дыр. Где-то наверху вздыхала консервированная музыка, в воздухе стоял тяжелый запах дешевых духов и застоявшегося табачного дыма. На втором этаже какая-то женщина машинально приветствовала ее из-за стеклянной перегородки, но даже не подняла голову взглянуть. В этом раю одинокие женщины, поднимающиеся в темноте по лестнице, были не в диковинку.

На втором этаже музыка стала громче, из-за какой-то двери слышался женский смех. На третьем ее обогнал лифт, и она мельком удивилась, почему он заставил ее идти пешком. Но на самом деле у нее уже не было сил удивляться. Все ее чувства, слова и поступки были расписаны наперед. Другими. Коробка оттягивала руки, она думала только о коробке и о том, как она оттягивает ей руки. Дверь с номером пять была у самой площадки. Дверь рядом выводила на пожарную лестницу. Лифт и пожарная лестница, машинально отметила она. У него всегда наготове два выхода. А у нее?

Дверь открылась, еще прежде чем она постучала, и конечно, она опять все напутала, потому что перед ней стоял тот же человек, который доставил ее сюда. Минус шапка и перчатки. Он посторонился в дверях, она вошла, механически переставляя ноги. Безнадежная идиотка. Конечно, это Халил. Все повторялось, как в дурном сне. Он снова снял с ее плеча сумку и взвесил ее в руке. Потом открыл ее и высыпал содержимое на стол. В Лондоне они сделали то же самое. Она огляделась. С умывальника распахнутой черной пастью уставился на нее портфель. Тот самый, который она помогла украсть в отеле. Сегодня. Давным-давно. Когда она была еще невинным подростком, не ведавшим, что он творит.

Первозданная глубочайшая тишина, словно вселенная на миг затаила дыхание. Не звонит Минкель, не звонит Алексис, даже

замученные дешифровщики из посольства в Бонне не звонят. Операция висит на волоске. Литвак, в отчаянии скорчившийся в кресле; Курц, в сонной полудреме, с полузакрытыми глазами и ленивой улыбкой аллигатора на губах. И Гади Бекер, самый неподвижный из троих, всматривающийся в сгущающуюся тьму за окном. Человек, допытывающий свое прошлое. Какие обещания оно сохранило? Какие нарушит?

“Нужно было дать ей звонок, — в который раз простонал Литвак. — Почему мы не дали ей звонок?! Они ей уже доверяют. Почему мы ее не подключили?!”

“Потому что он обязательно обыщет ее, — по-прежнему глядя в окно, уронил Бекер. — Он будет искать оружие, провода, звонок. Все, что может ее выдать”.

Литвак приподнялся в кресле. В его голосе был едва сдерживаемый гнев: “Ты спятил! Если они ей настолько не доверяют, зачем она им вообще?!”

“Потому что она еще не убивала, Шимон, — спокойно объяснил Бекер, наконец-то повернувшись и снисходительно посмотрев на Литвака. — Вот зачем она им нужна и вот почему они ей не доверяют. По одной и той же причине”.

Улыбка Курца стала почти человеческой: “До первой операции, Шимон. До тех пор, пока она не станет одной из них. Пока она не перешагнет по ту сторону закона. Вот тогда они ей поверят. Сегодня в девять вечера они ей поверят, не беспокойся”. — И он повернулся к Литваку, словно утешая его этой простой и жестокой истиной.

25.

И он был красив. Как Мишель, только повзрослевший. В нем была сдержанная грация Иосифа и уверенная властность капитана Тайе. В нем было все, что она себе представляла, когда представляла себе его. Широкие плечи, мускулистое тело, изящество драгоценной вещи, укрываемой от чужого взгляда. Когда такой человек входит в ресторан, за ним смолкают все разговоры; когда он выходит, все ощущают облегчение. Человек, предназначенный для большого мира и приговоренный скрываться в маленьких номерах дешевых гостиниц. Узник своего одиночества с тюремной бледностью на смуглом лице.

Занавески были задернуты, комнату освещала настольная лампа, на кровати был развернут походный верстак. Стульев не было, и он смахнул подушки с изголовья кровати, расчищая ей место присесть. Его голос атаковал ее с порога — неумолимая, давящая поступь слов и мыслей, нескончаемый разговор заключенного с самим собой.

“Говорят, что Минкель замечательный человек. Возможно, он замечательный человек. Когда я прочел его статьи, я тоже сказал себе: старина Минкель, мужественный человек, не боится говорить такие вещи. Его можно уважать. Я умею уважать врагов. Врага нужно уважать. Это не трудно”.

Небрежно вышвырнув лук из коробки, он извлек из нее кучу маленьких пакетиков. Придерживая каждый неподвижной правой рукой, он разворачивал их один за другим. Две батарейки от карманного фонаря. Детонатор — вроде тех, что им показывали в Ливане, с торчащими из хвоста красными проводничками. Плоскогубцы. Штопор. Паяльник. Моток красной проволоки, тисочки, моток медной проволоки. Изоляционная лента, лампочка для фонаря, набор болтов и гаек. Последней появилась на свет прямоугольная деревянная плата. Когда он включил паяльник в розетку, в комнате запахло каленной пылью.

“Разве сионисты задумываются, когда убивают замечательных людей? Не уверен. Когда они сжигают наши деревни, убивают наших женщин? Сомневаюсь. Разве израильский пилот за штурвалом бомбардировщика говорит себе: ах, эти бедные палестинцы, ах, эти невинные жертвы?”

Он уговаривает себя, подумала она. Он уговаривает свою веру. И свою совесть. Этот монотонный монолог начинал действовать ей на нервы.

“Я убил немало людей, которых мог бы уважать. Что из того? Сионисты убили еще больше. Но я убиваю только во имя любви. Во имя Палестины. И ее детей. — Он вдруг резко повернулся к ней. — Ты тоже должна повторять это себе. Ты боишься?”

“Да”.

“Это естественно. Я тоже боюсь. Ты боишься на сцене?”

“Да”.

“Это то же самое. Террор — это театр. Мы заставляем зрителей затаить дыхание. Мы внушаем им страх, ненависть, любовь. Мы просвещаем человечество. Как театр. Террорист — это великий актер современности”.

“Мишель тоже так говорил. В своих письмах”.

Он нетерпеливо мотнул головой.

“Это я ему сказал. Это мои слова”.

Очередной пакет был завернут в промасленную бумагу, и он вскрыл его с величайшей осторожностью. Три полуфунтовых бруска русской взрывчатки. Он торжественно водрузил в центре деревянной платы.

“Сионисты убивают из страха и ненависти, — напыщенно объявил он. — Палестинцы — во имя любви и справедливости. Запомни эту разницу, она существенна. — Он быстро и требовательно посмотрел на нее. — Запомнишь? Когда тебе станет страшно, скажи себе: во имя справедливости. Твой страх сразу пройдет”.

“И Мишеля”, — добавила она. Он недовольно поморщился.

“И Мишеля, конечно”, — согласился он нехотя. И отвернувшись, вытряхнул из очередного пакетика две обыкновенные бельевые прищепки. Теперь он стоял у лампы, внимательно изучая их нехитрое устройство. Она увидела полосу изуродованной кожи сбоку на его лице. Там, где щека и ухо были некогда сплавлены вместе и навсегда оставлены застыть бесформенным комком.

“Почему ты подняла руку в машине?” — спросил он, не поворачиваясь.

“Я вдруг устала”.

“Встряхнись. Будь начеку. Тебе знаком этот тип бомб? Тайе показывал тебе такие?”

“Не знаю. Может быть, Буби показывала”.

“Тогда смотри. — Он сел на кровать, почти рядом. Быстрыми штрихами шариковой ручки наметил на плате основные линии схемы. Потом ткнул в нее пальцем. — Это универсальная бомба. Она может работать от часового механизма, вот здесь, — и как обыкновенная мина, вот тут. Никогда не полагайся на один вариант. Это закон. Воткни булавки сюда, в прищепку. Я не антисемит, не думай”.

“Я знаю”.

“Откуда?” — заинтересованно спросил он.

“Тайе тоже говорил, что он не антисемит. И Мишель”. И еще сотни людей, подумала она. Включая антисемитов.

“Антисемитизм — это христианское изобретение. — Он взял в руки портфель. — Вы, европейцы, — вы против всего. Против евреев, против арабов, против черных. У нас много друзей в Германии. Думаешь, они любят Палестину? Они ненавидят евреев. Эта Хельга

— она тебе нравится?”

“Нет”.

“Мне тоже. Я полагаю, что она слишком развращена. Ты любишь животных?”

“Да”.

Он придвинулся к ней вплотную.

“А Мишель?”

Говори уверенно, наставлял Иосиф. Лучше показаться нелогичной, чем неуверенной.

“Мы с ним никогда об этом не говорили”.

“Даже о лошадях?” — вкрадчиво спросил он.

И никогда не поправляй сказанного, наставлял Иосиф.

“Нет”.

Он вдруг потерял интерес к разговору, встал, вынул из кармана аккуратно сложенный носовой платок и бережно развернул. Внутри были обыкновенные ручные часы. Без стекла и часовой стрелки. Он положил их рядом с платой. Потом размотал красную проволоку, прижал правой рукой тисочки, левой распрямил проволочный виток и тщательно уложил вдоль прочерченных по дереву линий.

“Изоляция!” — отрывисто приказал он. Пока она отмеряла изоляцию, он осторожно подпаял концы проводов к зажимам батарейки.

“Вот так!” — с гордостью сказал он, присоединяя к схеме часы.

Сгорбившись над своим детищем, как сапожник над ботинком, он, казалось, забыл о ее присутствии. Но это только казалось. Иосиф знал лучше. Халил не забывает ничего, говорил Иосиф. Будь начеку. Я буду, Жозе.

“Мой брат говорил с тобой о Боге?” — неожиданно спросил он.

“Он был атеистом”, — осторожно ответила она.

“Иногда. А иногда верующим. А еще он был глупым щенком, который слишком много думал о женщинах, идеях и машинах. Тайе говорит, что ты хорошо вела себя в лагере. Никаких кубинцев, никаких немцев, никогда”.

“Это из-за Мишеля. Мне нужен только он. Мишель”, — сказала она.

Слишком экзальтированно, Чарли. Ты пережимаешь. Ты обещала быть начеку. Но в его взгляде, искоса брошенном на нее, она не увидела великой братской любви. Его взгляд был откровенно саркастическим.

“Тайе великий человек, — пробормотал он, подсоединяя провода к лампочке. Словно намекая, что Мишель не был великим человеком. — Мы с Тайе погибли в один день. Он рассказывал тебе об этом?”

“Нет”.

Теперь он внимательно разглядывал законченную схему часового механизма.

“Постучи здесь. Вот так. Нас поймали сирийцы. Сначала они нас избили. Так у них заведено. Встань. — Он вытащил из-под кровати старое коричневое одеяло. — Растяни руками. Держи. Да, так. Потом они разозлились и решили сломать нам кости. Сначала пальцы, потом ребра, потом ноги. Прикладами”.

Он вспарывал одеяло быстрыми уверенными движениями. Словно одеяло было дичью, которую он загнал на охоте. Добычей, которую он свеживал. Кончик ножа почти касался ее тела. Их лица были рядом. Она ощущала плывущий от него жар.

“Когда они покончили с нами, они бросили нас в пустыне. Халил доволен. Халил рад, что умрет в пустыне. Но он не умирает. Его находит группа командос. Три месяца Халил и Тайе лежат в госпитале, на параллельных койках. Как снежные люди. В бинтах и гипсе. Они ведут приятные разговоры, они становятся друзьями, они читают интересные книги”.

Он взял с умывальника портфель. Вскрытое дно тарачилось черной пастью, застежки оставались нетронутыми. Одну за другой он укладывал в портфель нарезанные из одеяла ленты. Любитель животных строит мягкую постель для котенка. Для маленькой кошечки с тремя фунтами взрывчатки и часовым механизмом внутри.

“Знаешь, что сказал мне Тайе? — спросил он, не замедляя движений. — Халил, сказал он, сколько мы еще будем играть в порядочность? Нам никто не поможет. Мы произносим замечательные речи, мы посылаем ораторов в Объединенные Нации, и если мы подождем еще пятьдесят лет, наши внуки — если они выживут — возможно, получат огрызок справедливости. — Он показал пальцами здоровой руки, какой огрызок они получат. — Тем временем наши братья-арабы убивают нас, сионисты убивают нас, фалангисты убивают нас, а те из нас, кто остался в живых, эмигрируют в диаспору. Как армяне. Как те же евреи когда-то. Но если мы сделаем парочку бомб... — голос его стал зловещим — ...убьем парочку человек,

устроим небольшую резню, на каких-нибудь две минуты войдем в историю...”

Оборвав фразу, он поднял плату с бомбой и торжественно, с набожной осторожностью погрузил ее в портфель.

“Я люблю зрелища, — сказал он мечтательно. И грустно улыбнулся. — Но они мне заказаны...”

Молчание было еще тягостнее, чем слова. Нужно что-то спросить, лихорадочно подумала она.

“Если тебя пытали, почему ты не хромаешь, как Тайе?”

“Я не хромаю, потому что я просил Бога дать мне силы. И Бог дал мне эти силы. Чтобы бороться с настоящим врагом. Присоедини детонатор вот сюда. Да, вот так”.

Он удовлетворенно кивнул и уверенными, ловкими движениями плоскогубцев скрутил оставшиеся провода вокруг пальцев мертвой руки. Мертвая проволочная куклолка в мертвой руке. Он перепоясал ее двумя оборотами оставшегося провода. Подпись Халила, Чарли. Со временем у них у всех вырабатывается своя подпись. Я понимаю, Марти.

“Знаешь, что написал мне Мишель перед смертью? В своем последнем письме?”

Нет, Халил, откуда мне знать, беззвучно крикнула она.

“Что ты сказала?”

“Нет. Я сказала — нет. Не знаю”.

“В письме, отправленном за несколько часов до смерти? Он написал: “Я люблю ее, Халил. Сначала она была, как все. Ее европейская совесть была в глубокой спячке. Но я разбудил ее...” Дай часы. Заведи их. Да, так... “Сначала она спала с кем угодно. Но теперь она наша. У нее арабская душа. Придет день, и я смогу с гордостью показать ее тебе, показать всем...”

Он вздохнул, словно удивляясь глупости Мишеля. Прищурившись, пропустил конец стального провода сквозь ткань около застежки.

“Теперь мы делаем ловушку. Мину-ловушку. Второй вариант. Это закон. Притяни провод болтами к прищепке. Нет, не так. Вот тут”.

Он погрузил паяльник в нутро портфеля и двумя касаниями прищепнул оба болта каплями расплавленного олова.

Все. Возврата нет. Мина готова.

“Знаешь, что я сказал Тайе? Тайе, друг мой, сказал я ему, почему наши палестинцы так ленивы? Куда девалась наша предприимчи-

вость? Почему у нас нет своих людей в Пентагоне, в государственном департаменте, на Уолл-стрите? Почему мы не ставим в Голливуде картин о нашей великой борьбе? Почему наших людей не избирают мэрами Нью-Йорка? Почему мы не заправляем Соединенными Штатами, а вынуждены заниматься бомбами?"

Теперь он стоял перед ней, выпрямившись во весь рост, с портфелем в руке. Респектабельный арабский бизнесмен в ожидании своего самолета.

"Знаешь, что мы должны сделать?"

Она не знала.

"Мы должны двинуться все разом. Пока они нас не уничтожили, всех и навсегда. — Он подставил ей локоть, и она послушно поднялась с кровати. — Из Штатов, из Австралии, из Иордании, из Ливана, из Кувейта — отовсюду, где есть палестинцы. На паромовых судах. На самолетах. Миллионы палестинцев. Как океанский вал. — Он передал ей портфель и стал быстро собирать с кровати инструменты. — Войти в Палестину. Потребовать назад нашу землю. Если нужно — разрушить сионистские поселения, кибуцы, города. Все до единого. — Он уже кончил укладывать инструменты в коробку и теперь засыпал их луком. — Но этого никогда не будет. Знаешь, почему? Они никогда не поднимутся. — Теперь он присел на корточки, осматривая потрепанный коврик в поисках оставшихся следов. — Наши богачи никогда не согласятся на "понижение социально-экономического статуса". — Наукообразный жаргон был подчеркнут насмешливой интонацией. — Наши коммерсанты не оставят свои банки и магазины. Наши доктора не расстанутся со своими уютными кабинетами, наши адвокаты не захотят лишиться выгодной практики, наши ученые не уйдут из богатых университетов. — Теперь его улыбка напоминала гримасу боли. — Поэтому богачи будут по-прежнему делать деньги. А бедняки будут воевать. Так было всегда и так будет всегда".

Она вышла первой. По лестнице. Чарли, на выход. На сцене появляется проститутка, неся под мышкой коробку с принадлежностями своего ремесла. Его машина по-прежнему стояла в углу двора, но он прошел мимо нее, словно никогда в жизни ее не видел. За красным "Фордом" стоял потрепанный фургон. Он открыл дверцу. Она села рядом. Он опять вел левой, правая неподвижно покоилась на колене.

Снова холмы. Чернеющие сосны вдоль дороги, мокрый снег, налипший с наветренной стороны. Снова инструкции, в который раз,

когда уже кончится этот затянувшийся спектакль? Ты все поняла, Чарли? Я поняла, Халил. Повтори. Так, хорошо. И запомни: во имя мира. Я помню, Халил. Во имя мира, во имя Мишеля, во имя Палестины. Во имя Халила и Иосифа. Во имя Марти, и во имя революции, и во имя Израила. И во имя театра нашей жизни.

Он остановился возле какого-то амбара, выключил фары и посмотрел на часы. Издалека, с дороги, дважды мигнул ручной фонарик. Он открыл ей дверь.

“Его зовут Франц. Скажешь, что тебя зовут Маргарет. Запомни, во имя справедливости. Счастливо”.

Ветер стих. Белые шары уличных фонарей освещали улицу, как маленькие луны, упрятанные в стальные клетки. Она вышла из машины на углу, чтобы немного пройти пешком. Поймать чей-нибудь взгляд из окна. Ощутить холодное прикосновение воздуха к лицу. И жар ненависти в сердце. Улочка изгибалась между рядами домов, со стен орали грубо намалеванные надписи: “Е..ть Америку!” Эти тоже нашли причину всех бед. Она поднялась по бетонным ступеням. Слева через улицу светилось здание студенческого кафе. Она прошла вдоль стеклянной стены. Рахель с ее парнем оживленно беседовали за столиком. Вы уже выяснили, в чем справедливость, Рахель? Не смотри на меня так пристально, а то я поскользнусь и уроню бомбу. Здание лекционного зала багровело в свете прожекторов. У подъезда стояли первые машины. Какие-то люди со значительным видом поднимались по ступеням, на ходу обсуждая собственную значительность. Двое полицейских старательно проверяли дамские сумочки. У меня всего-навсего бомба, можете не проверять. Она прошла мимо, не замедляя шага. Правда освобождает. Теперь нужно завернуть за угол. Там ждут Гомер и Аристотель. У меня сегодня свидание с Гомером.

Перед боковым входом тоже стояла полицейская машина, и два молодых полицейских весело смеялись, стряхивая друг с друга налипший снег. Она поймала их взгляд и ощутила то долгожданное спокойствие, с которым выходила на сцену, оставляя за собой в гримерной все свои утомительные другие “я”. Она была девушкой Имоген из Южной Африки. Мужественная идиотка Имоген спешит на помощь великому борцу за справедливость. Пропустите нашу Имоген, ей некогда, у нее в портфеле тикает бомба. Она подошла к двери. Дверь была заперта. Спокойно. Нажми на ручку, Чарли. Ручка не поворачивалась. Она беспомощно оглянулась: растерянная

Имоген в поисках совета. Полицейские настороженно смотрели на нее. Быстро: моя реплика, их ответ, моя реплика. Поехали!

“Простите, не можете ли вы мне помочь?”

Они не обнаруживали никакого намерения подойти. Девка с портфелем, невелика птица, подойдет сама.

“Вы говорите по-английски? Мне нужно срочно передать профессору Минкелю этот портфель. Срочно, понимаете?”

Они недоверчиво осклабились. Неторопливо, высокомерно направились к ней. Оценивающе оглядели с ног до головы, и задержались взглядом на портфеле.

“Туалетен ниht хир”, — процедил один из них. И показал кивком, где находятся туалеты.

“Мне не нужен туалет. Мне нужен профессор Минкель. Мне нужно передать ему этот портфель”. И она протянула им портфель с подарком. Профессору Минкелю от Халила. С уважением.

Полицейский был молод. Собственная значительность интересовала его куда больше, чем молоденькие девушки. Он не взял у нее портфель. Он протянул руку и проверил, закрыта ли застежка.

“Он закрыт! — воскликнула она, прислушиваясь, достаточно ли искренне звучит ее отчаяние. Отчаяние звучало убедительно. Теперь еще шепотку нетерпения. — Это портфель профессора Минкеля, там конспект его лекции, он ему нужен немедленно!”

И повернувшись к двери, она нетерпеливо застучала по ней кулаком:

“Профессор Минкель! Профессор Минкель! Это Имоген, откройте!”

Дверь медленно приоткрылась и чье-то козлиное лицо уставилось на нее из возникшей щели. Лицо было испуганным.

“Вы говорите по-английски? Пожалуйста, помогите мне!”

Он не только говорил по-английски. Он, наверно, приносил присягу на этом языке. Потому что его: “Говорю!” — прозвучало так, словно на том он стоит и не сойдет до конца дней.

“Этот портфель нужно срочно передать профессору Минкелю, от Имоген Бааструп, портье все напутал, я ужасно огорчена, я желаю профессору успеха, я тороплюсь на лекцию...”

И она протянула ему злополучный портфель. Но он тоже отдернул руку. Они все отдергивали руки от ее портфеля. Они отказывались взять его у нее. Неужели им трудно передать профессору Минкелю какую-то жалкую палестинскую бомбу?!

“Сюда, пожалуйста, — сказал козлолицый и сделал широкий

приглашающий жест, словно привратник, только что получивший свою десятку.

Это было не по сценарию. Она возмутилась. Я не согласна, Халил. А вдруг Минкелю вздумается открыть портфель в моем присутствии?!

“О нет, пожалуйста, я тороплюсь в зал, я еще не купила билет, пожалуйста!”

Но у него, видимо, был свой сценарий. И свои страхи. Он отшатнулся от протянутого ему портфеля, как будто это был не обыкновенный черный профессорский портфель, а какая-нибудь бомба.

Полицейский подтолкнул ее в спину, дверь захлопнулась, и она оказалась в длинном, ярко освещенном коридоре, сворачивавшем куда-то вбок. Под потолком тянулись непонятные трубы, пахло машинным маслом и доносился рев полыхающего в топке огня. Волна жара ударила ей в лицо. Ручка портфеля сочилась будущей кровью. Она физически ощущала, как струйка крови течет сквозь пальцы. Она растерянно оглянулась. Вплотную за ней шли двое в кожаных куртках с автоматами наизготове. Господи, что происходит? Они ввели ее по коридору почти бегом. Куда мы бежим? Остановитесь, мы бежим к смерти! Они остановились перед высокой стальной дверью, козлолицый распахнул дверь, и она отшатнулась. Я опять попала не туда, в отчаянии подумала она. Мне нужно на лекцию, а здесь Голливуд. Здесь снимают какой-то военный фильм. Вдоль сцены тянулись огромные мешки с песком, на полу лежали кипы шерсти, придерживаемые проволочной сетью, узкий извилистый проход между кипами тянулся к столику перед опущенным занавесом, рядом со столиком, в низком кресле, сидел Минкель, как две капли воды похожий на собственное восковое подобие, только еще более бледный, с судорожно застывшим лицом и затравленным взглядом, напротив него сидела его жена и еще какая-то пухлая немецкая корова с тройным подбородком.

Мертвая сцена. Главный герой сидит у столика, все прочие действующие лица сгрудились в углу зала, за мешками с песком. И только главные актеры — в середине, плечом к плечу. Ее давешнюю израильскую компанию, как и положено, возглавлял Курц; слева от него стоял сварливого вида человек с жалким незначительным лицом, по которому Чарли скользнула небрежным взглядом, так и не узнала, что это “сам” доктор Алексис; за Алексисом стояли его волкодавы, обратив к ней налитые ненавистью лица. Она хотела было спросить: “А где ж..?” — но тотчас увидела, что Иосиф

тоже был здесь — как обычно, в стороне от остальных, одинокий и замученный режиссер этой безумной премьеры. Она не успела ничего сказать, потому что он уже подходил к ней и остановился рядом, как полчаса назад стоял Халил.

“Подойди к Минкелю, Чарли, — тихо сказал он. — Скажи ему все, что положено по сценарию. И не обращай внимания на других”.

Значит, ей предстоит еще один выход? Нехватало только помощника оператора с его хлопущкой. Кадр номер четыреста, поехали!

Его рука осторожно, подталкивая, легла на ее руку, и ей захотелось сказать: “Здравствуй, я тебя люблю...” — но по роли ей полагались другие слова, и поэтому она только глубоко вздохнула и произнесла эти слова, которые были паролем ее любви.

“Профессор, вышла ужасная ошибка, этот глупый портье отправил ваш портфель в мою комнату вместе с моими вещами, он, должно быть, видел, что я разговаривала с вами, а там стояли мои вещи, и этот глупый портье, должно быть, подумал, что портфель тоже мой...”

И она повернулась к Иосифу, спрашивая его глазами, что ей делать дальше.

“Дай ему портфель”, — так же тихо подсказал он.

Минкель встал отрешенно и затравленно, как человек, которому объявляют смертный приговор. Фрау Минкель сделала мужественную, но безуспешную попытку улыбнуться. У Чарли негнулись колени, но Иосиф поддержал ее под локоть, и она каким-то образом ухитрилась сделать шаг вперед и протянуть Минкелю его нафаршированный взрывчаткой портфель.

Теперь все пошло стремительно, как в ускоренной съемке. Застывшие фигуры ожили, чьи-то руки быстро перехватили портфель, другие руки в мгновение ока уложили его в большой черный ящик (она успела заметить, что от ящика отходили толстые пучки проводов), как-то неожиданно все оказались за мешками с песком, Иосиф толкнул ее туда же и рукой пригнул ее голову. Кто-то, похожий на водолаза в скафандре, медленно двинулся к ящику, Иосиф почти навалился на нее, потом чей-то голос скомандовал отбой, но он все еще удерживал ее за мешками. Наконец послышались удаляющиеся тяжелые шаги, она подняла голову и увидела Литвака, который стоял посреди зала, держа в руке точно такую же бомбу, только с неподключенными, торчащими из хвоста проводничками. Иосиф поднял ее и снова подвел к Минкелю.

“Продолжай, — сказал он. — Ты остановилась на том, что обнаружила подмену. Продолжай с этого места”.

Вздохни поглубже, Чарли. Спектакль продолжается.

“Я спросила в регистратуре, но они сказали, что вы уже отправились на лекцию, поэтому я схватила такси и... и я не знаю, как мне просить у вас прощения, профессор, извините, я должна бежать, желаю вам удачи, я уверена, что это будет замечательная лекция...”

И она оглянулась на Иосифа, чтобы показать, что здесь ее текст кончается. И ее роль тоже. Иосиф посмотрел на Курца. Тот коротко кивнул. Минкель зачем-то возился со связкой ключей, будто собираясь открыть несуществующий портфель. Она почувствовала, что твердая рука Иосифа поворачивает ее к двери.

“Две минуты!” — крикнул им вслед Курц, поворачиваясь к Минкелю.

Я не могу, Жозе, я не могу. У меня кончилось мужество. Не отпускай меня, Жозе, пожалуйста, не отпускай.

Где-то за спиной она слышала торопливые шаги и приглушенные команды. Труппа покидала сцену. Ее премьера не состоялась.

Те же двое с автоматами. В том же коридоре.

“Где ты с ним встретишься?” — быстро спросил Иосиф.

“В отеле Эден. Такой бордельчик на краю города. У него был красный “Форд”. И еще фургон. Номер я не запомнила”.

“Открой сумку”.

Она послушно открыла сумку. Все снова происходило, как в дурном сне. Он вынул из сумки ее транзистор и положил туда другой. Точно такой же.

“У него другое устройство, — торопливо предупредил он. — Оно работает только на одной волне. Мы будем знать, где ты находишься”.

“Зачем?” — тупо спросила она.

“Он объяснил тебе, что делать потом?” — спросил Иосиф, словно не слыша ее вопроса.

“Выйти на улицу и ждать. — Жозе, когда вы придете?”

В его осунувшемся лице были мука, боль, отчаяние. Все, что угодно. Но ни капельки милосердия.

“Послушай, Чарли. Ты меня слушаешь?”

“Я слушаю тебя, Жозе”.

“Когда он уснет, нажми этот регулятор громкости. Не поверни, а нажми. Ты поняла?”

“Он не заснет”.

“Не понимаю. Почему?”

“Потому что он похож на тебя. Он не спит. Он... Жозе, я не могу! Пожалуйста. Не заставляй меня, Жозе!”

Она умоляюще всмотрелась в его лицо. Но его лицо было высечено из камня.

“Он хочет со мной спать, пойми, он хочет отпраздновать брачную ночь, неужели тебе безразлично?! Он хочет продолжить с того места, где остановился Мишель, он не любит Мишеля, он хочет сравнять с ним счет, Жозе! Мне все равно идти?”

Она стиснула его руки так, что у нее самой перехватило дыхание. Она хотела спрятаться в его руках. Отдаться под их защиту. Но его руки отодвинули ее и подняли ее лицо, она встретила его тяжелый и замкнутый взгляд и поняла, что любовь — это не для них. Не для него, не для нее. И не для Халила. Для Халила — меньше всего. Этим взглядом он отсылал ее. И она вздернула голову, высвободилась из его рук и сделала первый невыносимый шаг. Невыносимым был только первый шаг, второй ей помогла сделать ненависть. Он шагнул было следом и тут же остановился, увидев ее глаза. Она закрыла их, открыла и глубоко перевела дыхание.

Все. Я погибла.

Шагай, Чарли. Как оловянный солдатик. Ничего не видя, ни о чем не размышляя. Университетский двор, улица, переулок. Витрина грязного борделя с фотографиями немолодых девиц, выставивших напоказ мало аппетитные груди. Мне тоже место на этой витрине. Главная улица, переход, светофор. Темные холмы вдалеке и небо в облаках, тревожно ворочающихся под крышами. Опять черный шпиль собора. Мы так и не принесли цветы Бертольдусу Шварцу, Хельга. Шагай. Не торопись. Ты возвращаешься с собственных похорон. Когда умирают, нужно считать в уме. До тысячи. Или повторять стихи. Маленькая курица очень занята, маленькая курица очень занята, маленькая курица возвращается с лекции профессора Минкеля. Интересно, что там происходит сейчас, на лекции? Смотри-ка, Росино! Он выводит свой мотоцикл из бокового переулка, он уже рядом, он приглашает меня сесть. Почему так тихо?

Что-то в выражении лица Росино заставило ее оглянуться. Далеко позади, над крышами, встал длинный оранжевый язык огня и лениво потянулся к ней, распухая на глазах. Только потом пришел звук. Отдаленный, но явственный грохот. Как будто что-то обвалилось в далекой глубине ее души. Это обвалился карточный домик ее любви. Ты прав, Жозе. Прощай.

Мотоцикл Росино взревел, оглушая ночь торжествующим хохотом. Это я смеюсь, подумала она. Это самая веселая ночь в моей жизни.

Росино вел мотоцикл боковыми улочками, неторопливо и обдуманно выбирая надежный маршрут.

Веди, веди, лениво думала она. Мне не к спеху. Может, я еще надуваю стать итальянкой. Она ощущала его незнакомое, напряженное тело, прижимавшееся к ее груди. Давай, прижимайся, здесь уже ничего не осталось.

Они спустились с холма, въехали на знакомую дорогу, обсаженную соснами, снова поднялись и повернули по узенькой тропке в реденький лесок. Росино заглушил мотор и вытащил из-под сиденья сверток с одеждой. Он включил фару, пока она переодевалась. Она не отвернулась, даже когда оказалась перед ним почти голой.

Хочешь? Пожалуйста, можешь взять. Я доступна и свободна. Правда освобождает. В том числе от любви. Любовь это не для нас. Налетай, бери, по дешевке, я теперь ничего не стою. Даже для себя. Я вернулась к тому, с чего начала. Я теперь подстилка для всех. Для каждого, кто захочет.

Он тщательно упаковал в новую сумку все ее вещи. Пудру, тампоны, деньги, неиспользованную пачку "Мальборо". Маленький транзистор. Когда Халил заснет, нажми этот регулятор, Чарли. Он уже никогда не заснет, Жозе.

Росино протянул ей новый паспорт, и она не глядя сунула его в карман. Ей было безразлично, как ее теперь зовут. Какая разница? Гражданин государства "Нигде", родившийся сегодня вечером.

Стой здесь и смотри на дорогу, сказал он. Две вспышки красного фонаря. Теперь мне в самый раз стоять под красным фонарем, невесело сострила она про себя. Росино не успел отъехать, как две короткие красные вспышки мигнули сквозь редкие деревья. Наконец-то, подумала она. Мой верный дружок не заставляет себя ждать.

Халилу пришлось вести ее к машине — она дрожала так сильно, что не могла идти сама. Он открыл дверцу, усадил ее на сиденье и накинул на нее свое мягкое черное пальто. Потом уселся сам, завел

мотор и включил обогрев на полную мощность.

“Мишель мог бы гордиться тобой, — мягко сказал он, изучая ее лицо в слабом свете крохотной лампочки. Она держала его носовой платок обеими руками, словно боялась потерять. Платок был уже насквозь мокрый. — Ты сделала большое дело. Минкель погиб на месте, когда открывал портфель. Многие пособники сионистов ранены. Жертвы подсчитываются. — В его голосе было мстительное торжество. — По радио сказали, что это было хладнокровное убийство. Как будто сионисты не сжигают хладнокровно наши лагеря. Завтра весь мир узнает, что мы не согласны быть рабами сионистов”.

В машине стояла тропическая жара, но ее по-прежнему бил озноб. Она завернулась еще плотнее.

“Хочешь рассказать, как было?” — предложил он.

Она отчаянно затрясла головой. Дорога впереди была пустынной. Она оглянулась. Ни одного огонька позади. Ни полицейских машин, ни мотоциклов, ни сирен. Она перехватила его взгляд.

“Не бойся, — успокаивающе сказал он. — Мы с тобой. Можешь плакать. Это хорошо, что ты плачешь. Другие после этого смеются. Они хохочут, они срывают с себя одежды, они напиваются, как скоты. Я видел. Ты плачешь. Это хорошо”.

Дом стоял над озером, в глубокой долине. Халил объехал его дважды, медленно, всматриваясь в темноту. Дом напоминал загородную дачу — белые стены, мавританские окна, покатая красная крыша с островками белого снега. Двери гаража открылись автоматически и также бесшумно закрылись за машиной. Заглушив мотор, он вытащил из-за пазухи тяжелый длинноствольный пистолет, поднял ствол, прислушался. Смуглый Халил, одорукий охотник. Не опуская пистолет, он открыл ей дверцу.

“Иди за мной. В трех метрах, не ближе”.

Тяжелая стальная дверь открывала вход во внутренний коридор. Она шагнула вслед за ним. Ярко освещенная комната, задернутые занавесы, огонь в камине, кожаный диван, деревянная мебель. Стол, накрытый на двоих и бутылка водки в ведерке со льдом.

“Стой здесь”, — негромко приказал он.

Бесшумно, неторопливо, он открывал одну за другой все двери и дверцы, вглядываясь внутрь, останавливаясь, проверяя. Интересно, где здесь второй выход? Он вернулся в комнату, присел на корточки у камина, раздувая огонь. Пастух, стерегущий своих овец

в темной ночи и отгоняющий волков пламенем костра. Он в последний раз посмотрел на взревевшее пламя, поднялся, подошел к телевизору и включил его. На экране появилось изображение романтической таверны на скале холма. Какая красивая таверна, Мишель! Давай посидим в ней, Жозе. Давай, Чарли. Халил вздохнул и сел рядом с ней на диван.

“Хочешь выпить? Я не пью, но ты можешь выпить, если хочешь”.

Она кивнула. Он плеснул ей в стакан, подумал и добавил еще.

“Хочешь закурить?”

Кожаный портсигар, сигарета, зажигалка. С той же подчеркнутой вежливостью.

Таверна исчезла, теперь на экране был тот низенький немец с незначительным лицом, который там, в зале, стоял рядом с Марти. Немец стоял рядом с полицейской машиной, машина стояла рядом с боковым входом в лекционный зал, на фоне Гомера и Аристотеля. Их лица были спокойны и равнодушны. Халил включил звук. Сквозь вой амбулансов донесся голос Алексиса.

“Что он говорит?” — спросила она.

“Он возглавляет расследование. Подожди. Я тебе расскажу”.

Она расслышала: “Южная Африка” и что-то, кажется, о каштановых волосах. Рука на экране изобразила очки, телекамера послушно отъехала вбок, показывая зажатую в руке пару очков. Очки Имоген. Она автоматически проверила — ее очки были на ней. Теперь на экране был фоторобот — грубый набросок женского лица. Такие лица изображали на рекламных плакатах тридцать лет назад. Бедная Имоген. По такому фотороботу они могли ее разыскивать до окончания века.

“Ты в некоторой опасности, — произнес Халил, выключая телевизор. — Кое-кто тебя запомнил. Твой рост, фигуру, свободный английский, актерские способности. Какая-то англичанка утверждает, что ты ее соотечественница, потому что твой английский не имел южноафриканского акцента. Они передали твои приметы в Лондон, они объявили общую тревогу, расставили контрольные посты. Но тебе нечего бояться. — Он сжал ее руку. — Я отвечаю за тебя жизнью. Завтра мы переправим тебя в Берлин, а оттуда — домой”.

“Домой”, — машинально повторила она.

“Теперь ты наша сестра! — патетически воскликнул он. — Так сказала Фатме. Верно, у тебя нет своего дома, но у тебя есть большая семья. Ты можешь назваться новым именем, ты можешь жить

вместе с Фатме, ты можешь больше не сражаться, мы все равно будем заботиться о тебе. За все, что ты сделала для нас”.

Его лояльность была чудовищной, она ужасала. Его рука по-прежнему сжимала ее руку, властно и успокаивающе. В его глазах горело желание. Она осторожно высвободила руку, подняла с пола свою сумку и молча вышла из комнаты.

Ванная была отделана под дерево, с отдельной комнатой для сауны. Она вытащила из сумки свой транзистор и задумчиво повертела его в руках. Он был абсолютно похож на ее собственный, до последней царапины, разве что чуточку тяжелее, увесистей в руке. Подожди, пока он заснет. Или я. Она уставилась на себя в зеркало. Этот фоторобот в общем-то был не так уж плох. Страна без народа для народа без страны. Сначала она отскребла ладони и пальцы, потом вдруг торопливо разделась и стала под горячий душ — просто для того, чтобы хоть немного отдалить жар его желания. Что-то в собственных глазах заинтересовало ее: они напомнили ей Фатиму, шведку из лагеря — то же яростное безумие, которое приучило себя избегать ловушек сострадания. Проще говоря — та же ненависть к самой себе. Когда она вернулась, он накрывал на стол. Холодное мясо, сыр, бутылка вина, зажженные свечи, — в лучших европейских традициях. Она села; он тоже опустился в кресло напротив нее и тут же принялся есть, с той естественной сосредоточенностью, с какой делал все. Он охотился, он убил, теперь он насыщался — что может быть естественней? Самый безумный мой ужин, подумала она. Самый отвратительный и самый безумный. Нехватает только скрипача, чтобы сыграл детскую песенку.

“Ты жалеешь?” — спросил он со светским любопытством, словно спрашивал, прошла ли ее головная боль.

“Это подонки, — убежденно сказала она. — Безжалостные, гнусные...” У нее опять затряслись руки и слезы хлынули из глаз. Что-то послышалось за окном — то ли машина, то ли самолет. Где моя сумка, невпопад подумала она, разве я оставила ее в ванной? Ну да, подальше от его хищных рук. Она снова схватила вилку и увидела, что он смотрит на нее. Он смотрел так же, как Иосиф, — тогда, давным-давно, в Дельфах.

“Ты, наверно, слишком стараешься ненавидеть”, — словно утешая ее, сказал он.

Она никогда еще не играла в такой отвратительной пьесе. И никогда еще у нее не было такого желания разнести все в щепки.

Начиная с самой себя. Она встала, роняя вилку и нож, и начала медленно расстегивать пуговицы платья. Она едва видела его лицо сквозь накипающие на ресницах слезы, и руки ее тряслись опять так, что не попадали на петли. Но его руки уже спешили ей на помощь. Они подняли ее и понесли к постели, как несут раненного друга. Она упала на постель и вдруг, бог весть по какой прихоти разума и тела, яростно притянула его к себе, срывая с него одежду, вторгаясь им в себя, словно он был последним человеком на земле в последний день земли. Словно они оба должны были сейчас исчезнуть. Она пожирала его, она втягивала его в себя, она ввергала его в кричащую пустоту своей подлости и одиночества. Она плакала, она кричала, она вбирала в свой лживый рот его губы, опрокинув его на себя, чтобы горячая тяжесть его тела раздавила ее проклятую плоть, все еще помнившую Иосифа. И даже когда она ощутила его последнюю судорогу, она по-прежнему продолжала отчаянно удерживать его в себе, до тех пор, пока его движения не затихли совсем, и еще долго потом, охватив его сомкнутыми руками, будто защищаясь под ним от надвигающейся бури.

Он еще не спал, но уже погружался в дремоту. Его взъерошенная темная голова лежала на ее плече, его здоровая рука была небрежно брошена поперек ее груди.

“Счастливчик Салим, — пробормотал он, сонно улыбаясь. — Ради такой женщины стоит умереть”.

“Кто сказал, что он умер ради меня?”

“Тайе считает, что это не исключено”.

“Салим умер за революцию. Сионисты взорвали его машину”.

“Он взорвался сам. Мы изучили отчеты немецкой полиции. Я предупреждал его никогда не заниматься бомбами, но он меня не послушал. У него не было способностей к этому. Он не был рожден борцом”.

“Что это за шум?” — вздрогнула она, приподымаясь.

Разрозненные поскрипывания, хруст, какое-то тихое постукивание. Ей представилась машина, мягко въезжающая на гравий с выключенным мотором.

“Лежи, — сквозь дрему откликнулся Халил. — Это кто-то удит на озере”.

“Ночью?” — удивилась она.

“А ты никогда не удила ночью? Не выходила в море на лодке, под фонарем, ловить рыбу руками?”

Он бормотал еле слышно. Он засыпал.

“Проснись, Халил! — взмолилась она. — Говори со мной”.

“Спи”.

“Я не могу. Я боюсь”.

“Хорошо. Я расскажу тебе, как мы ходили на операцию в Галилею. Это было ночью. Мы шли на лодке. Озеро было пустынно. Луна. Было так красиво, что мы забыли зачем плывем. Мы стали удить рыбу”.

“Это не лодка, — перебила она. — Это машина. Вот, опять. Послушай!”

“Это лодка”, — упрямо повторил он в полусне.

Луна отыскивала щелку в занавесах и освещала комнату. Она поднялась, подошла к окну и выглянула наружу. Сосны стояли неподвижно, лунные блики на воде были как белые ступени, уводившие куда-то к центру Земли. Ни лодки, ни фонаря для приманки рыбы. Ничего. Пустынное безмолвие. Она вернулась в постель. Он притянул ее к себе здоровой рукой, но, ощутив, как сжалось ее тело, мягко отстранился и перевернулся на спину.

“Говори со мной, — снова взмолилась она. — Халил. Проснись. — Она яростно встряхнула его. — Проснись”.

Он повернулся к ней. Он был добр. Он был мужчиной. А кроме того он объявил ее своей сестрой.

“Знаешь, что меня удивило в твоих письмах к Мишелю? — заговорил он. — Револьвер. “Отныне я буду вспоминать твою голову на моей подушке и твой револьвер под ней”. Красивые слова. Слова влюбленной женщины”.

“Что же тебя удивило? Скажи”.

“Однажды я говорил с ним об этом. Об оружии. Салим, сказал я ему, только ковбои спят с револьвером под подушкой. Запомни хоть это. Когда ложишься, клади револьвер рядом, где его легче укрыть и легче достать. Научись спать с револьвером под рукой. Он сказал, что запомнит. Он всегда обещал. А потом забывал. Увлекался новой женщиной. Или новой машиной”.

“Нарушал правила, да?” — сказала она и, притянув к себе его искалеченную руку, стала разглядывать ее мертвые пальцы.

“А как же ты потерял руку? — вызывающе спросила она. — Тебе ее мышь отгрызла? Как это случилось, Халил? Проснись!”

Он долго молчал. “Это было в Бейруте. Я немножко сглупил. Как Салим. Доставили почту, я торопился, я ожидал важную посылку. Я увидел посылку, не посмотрел, открыл. Это была ошибка”.

“Ну? Что же случилось, когда ты ее открыл? Она сделала: “Бух!”? Она сделала “бух” твоим пальцам? И твоему лицу?”

“Когда я очнулся в госпитале, я увидел Салима. И знаешь? Он был доволен. Он радовался моей глупости. В следующий раз, сказал он, посмотри хоть на обратный адрес, и если увидишь, что посылка из Тель-Авива, лучше сразу отошли ее обратно”.

“Почему же ты сам делаешь свои бомбы? Ведь у тебя всего одна рука?”

Ответом было молчание. Ответом был устремленный на нее неподвижный солдатский взгляд. Ответом было все, чему она присягнула, вступая на сцену реальной жизни. Ответ был: Палестина. Израиль. Бог. Мой священный долг. Воздать несправедливостью за несправедливость. Сделать с подонками то, что они сделали со мной. Взорвать весь мир к чертовой матери, чтобы справедливость могла наконец подняться среди руин и владеть обезлюдившей планетой.

Он вдруг снова притянул ее к себе — властно, не желая больше терпеть никаких отговорок.

“Любимый, — шепнула она. — О, Халил! О, Боже! Любимый. Да”. И все прочее, что говорят в таких случаях бляди.

Уже рассветало, но она не давала ему уснуть. Она будила его поцелуями, ласками, она припоминала все грязные уловки, которыми можно удержать мужчину и пробудить в нем новое желание. Ты мой самый лучший, шептала она. Я не раздаю награды даром, шептала она. Ты мой самый сильный, самый храбрый, самый умный любовник. О, Халил, Халил, о, Боже, пожалуйста. Лучше, чем Салим? — пробормотал он. Лучше, чем Салим, терпеливее, чем Салим, заботливее, чем Салим, благодарнее, чем Салим. Лучше, чем Иосиф, который послал меня к тебе на блюдецке.

Он вдруг резко отстранился.

“Что с тобой? Я сделала тебе больно?”

Но он только протянул свою здоровую руку и жестом приказал ей молчать. Потом приподнялся на локте. Было тихо, лишь только где-то вдалеке просыпались первые звуки. Хлопанье крыльев и скрипучий крик утки, поднимающейся с озера. Клохтанье петуха, дальний перезвон колоколов. Он встал и бесшумно подошел к окну.

“Ни одной коровы”, — тихо сказал он, глядя наружу.

Утренний свет четко очерчивал его обнаженное тело. Револьвер

болтался на бедре, подвешенный через плечо. Страх сжал ее сердце, и она вдруг увидела обнаженного Иосифа, освещенного багровым светом раскаленной электроплитки. Он стоял по ту сторону занавеса, будто зеркальное отражение Халила, и только легкая ткань отделяла из друг от друга.

“Что ты там видишь?” — шепнула она, не в силах больше выносить этот страх.

“Я вижу слишком мало. Ни одной коровы. Ни одного рыбака. Ни одного мотоциклиста”.

Его голос был мрачен. Он протянул руку, взял с кресла брюки и рубашу, быстро натянул их на себя и приладил револьвер в лямки под мышкой.

“Ни одной машины, никаких огней на дороге, ни одного прохожего, — ровным голосом перечислил он. — И ни одной коровы”.

“Их погнали на дойку”.

Он покачал головой. “Слишком рано”.

“Это из-за снега. Их оставили в коровнике”.

Что-то в ее голосе насторожило его: она увидела, как напряглось его тело. “Почему ты успокаиваешь меня?”

“Я не успокаиваю. Я просто...”

“Почему ты успокаиваешь меня, когда вокруг все так странно вымерло?”

“Чтобы ты не боялся. Чтобы ты вернулся ко мне”.

Какая-то мысль овладела им. Чудовищная мысль. Он что-то увидел в ее лице, в ее наготе. Она видела, как в нем нарастает подозрение.

“Почему ты успокаиваешь меня? Почему ты больше боишься за меня, чем за себя?”

“Я не успокаиваю”.

“Тебя разыскивают, за тебя объявлена награда. Откуда у тебя силы спать со мной? Почему ты говоришь обо мне, а не о своем страхе? Что ты скрываешь?”

“Я ничего не скрываю, Халил! Я не хотела убивать Минкеля. Я не хочу больше убивать, Халил!!”

“Может быть, Тайе был прав? Может быть, мой брат все-таки погиб из-за тебя? Скажи мне, пожалуйста, — мягко попросил он. — Я хочу услышать ответ”.

Отмени свой приговор, Халил. Не смотри на меня так.

“Иди ко мне, — простонала она. — Люби меня. Вернись”.

Почему он так спокоен, если дом окружен? Почему он допытывает меня, когда ему нужно спастись?

“Который час, Чарли, скажи мне, пожалуйста?” — шепнул он, не отрывая от нее своего взгляда.

“Пять. Полшестого. Какая разница?”

“Где твои часы? Твой маленький транзистор? Я хочу знать, который час, пожалуйста”.

“Я не знаю. Наверно, в ванной”.

“Пожалуйста, не двигайся. Иначе я, возможно, убью тебя. Я сейчас вернусь”.

Он вернулся с сумкой и бросил ее на кровать.

“Будь добра, открой ее”, — сказал он, глядя, как она трясущимися руками возится с застежкой.

Где он, этот проклятый транзистор? Она вытащила его и отшвырнула сумку.

“Так который же час, Чарли? — с ужасающей вкрадчивостью переспросил он. — Будь добра, скажи мне, какое время показывает твой транзистор?”

“Без десяти шесть. Я не знала, что так поздно”.

Он вырвал транзистор из ее рук и напряженно всмотрелся в циферблат. Дигитальные суточные часы. Он щелкнул тумблером, и радио на секунду взвыло, но он тут же выключил его. Поднес к здоровому уху, прислушался, потом медленно покачал головой.

“По-моему, у тебя было не так уж много свободного времени со вчерашнего вечера. Верно? Вообще не было, не так ли?”

“Не было, Халил”.

“Когда же ты успела купить новые батарейки?”

“Я не покупала...”

“Тогда почему он работает?”

“Ему не нужны... старые еще работают... их хватает на год... знаешь, такие специальные...”

Это было все, что она могла придумать. Все, навсегда, на веки веков и после, потому что в эту минуту она вспомнила то небрежное движение, которым он вытащил батарейки из ее транзистора — там, на холме, перед тем, как опустить транзистор обратно в ее сумку и бросить сумку в машину.

Он, казалось, утратил к ней всякий интерес. Все его внимание было приковано к транзистору. “Принеси мне, пожалуйста, тот настольный приемник, Чарли. Мы сделаем маленький эксперимент.

Такой маленький технический эксперимент в области высоких частот”.

“Можно мне одеться?” — шепнула она. Он кивнул. Она натянула платье, сняла с изголовья кровати приемник и подошла к нему. Поставив приемник рядом с транзистором, Халил включил его и начал медленно вращать рукоятку настройки, проходя по каналам. Послышался нарастающий звук, Халил с бесконечной осторожностью подвернул ручку, и приемник вдруг издал стонущий вой, падавший и поднимавшийся, как воздушная сирена. Халил поднял транзистор, подковырнул ногтем крышку и вытряхнул батарейки на пол. Точно так же, как вчера вытряхнул их в свой карман. Вой оборвался на полуноте. Он поднял голову и посмотрел на нее. Она не выдержала его взгляда и опустила глаза.

“На кого ты работаешь, Чарли? На немцев?”

Она затрясла головой.

“На сионистов?”

Она молчала. В ее молчании было признание.

“Ты еврейка?”

“Нет”.

“Ты веришь в Израиль? Кто ты?”

“Никто”.

“Ты христианка? Ты веришь, что евреи дали вам Христа?”

Она опять затрясла головой.

“Ради денег? Они тебя купили? Шантажировали?”

Ей хотелось кричать. Она стиснула руки и всхлипнула. “Ради жизни. Ради моей жизни. Чтобы быть чем-то. Ради любви”.

“Ты предала им моего брата?”

Она проглотила торчащий в горле комок, и голос ее вдруг стал безжизненно-ровным. “Я не знала его. Я никогда с ним не разговаривала. Они показали мне его перед тем, как убить, все остальное было придумано. Наша любовь, наши встречи, мой приход в революцию — все. Я даже не писала эти письма, они их сами написали. И его письма ко мне тоже. Там, где про меня. Я полюбила человека, который готовил меня. Вот и все”.

Медленно, почти любовно, он протянул руку и коснулся ее лица, словно желая убедиться, что она действительно существует. Потом посмотрел на кончики своих пальцев, и снова на нее, как бы сравнивая что-то в уме.

“Опять англичане предали нас”, — тихо сказал он, словно не веря своим глазам.

Он поднял голову, и она увидела отвращение на его лице, но в этот момент его лицо вспыхнуло огнем и вспузырилось кровью в том месте, куда в него вошла пуля Иосифа. Чарли учили стоять неподвижно, когда она нажимает спусковой крючок, но Иосиф не стоял, он не доверял своим пулям, он бежал им вдогонку, чтобы дослать их к цели. Он ворвался в комнату, как врывается обыкновенный налетчик, но не остановился на пороге, а продолжал бежать вперед, посылая в Халила пулю за пулей. И еще он стрелял, вытянув руку на всю длину, — чтобы сократить расстояние. Она увидела, как лицо Халила взорвалось от удара, увидела, как он поворачивается спиной и раскидывает руки по стене, словно прося у стены ее каменной защиты. Последние пули вошли в его спину, дырявя белую рубашку. Его руки — здоровая и искалеченная — поползли вниз по стене, они уже не могли удержать тело, и оно стало опускаться на корточки, но Иосиф был уже достаточно близко, чтобы одним ударом ноги вышибить из-под него последнюю опору и помочь ему быстрее упасть на пол. А за Иосифом бежал Литвак, которого она знала, как Майка, и в котором всегда подозревала своего врага. Он отстранил Иосифа и точным, уверенным выстрелом послал последнюю пулю в шею Халила. В мертвую шею мертвого Халила. А за Майком появились еще миллионы палачей всего мира в черных резиновых костюмах, и Марти, и этот немецкий скунс, и тысячи санитаров с носилками, и водители амбулансов, и врачи, и какие-то не улыбочивые женщины, которые подняли ее, и вытерли с ее лица рвоту, и повели ее по коридору, на улицу, подальше от этого тошнотворного, клейкого запаха теплой человеческой крови.

Амбуланс стоял у входа. На полу, на одеялах, повсюду были следы крови, и она ни за что не хотела войти внутрь. Она, наверно, очень не хотела войти внутрь, потому что одна из женщин, державших ее, вдруг отшатнулась, прижимая руки к лицу. Но Чарли уже давно оглохла, она почти не слышала своего безумного высокого воя, она только хотела во что бы то ни стало сорвать с себя платье, потому что она была блядью и еще потому, что на нем было так много Халиловой крови. Платье было незнакомое, она никак не могла найти пуговицы — а может, там была молния? — ей вдруг стало все равно, потому что Рахель и Роз схватили ее за локти, как когда-то в Афинах, когда она пришла наниматься в театр реальной жизни, и она поняла, что сопротивление бесполезно. Они втащили ее в амбуланс и сели по обе стороны от нее на одной из

коек. Она глянула наружу и увидела все их idiotские рожи, скалившиеся от восторга, — все эти маленькие храбрые еврейские герои, и Марти, и Майк, и Димитрий, и Рауль, и еще много-много других, которых ей еще не представили. Потом толпа расступилась и появился Иосиф, уже без револьвера, из которого он убил Халила, но все еще весь в его крови. Он подошел к амбулансу и посмотрел на нее, и ей показалось, что она смотрит в собственное отражение, потому что в его лице было все то, что она так ненавидела в самой себе. Они будто поменялись на миг ролями, это она была убийцей и сводником, а он, стало быть, подсадной уткой, блядью и предателем. Но это видение тут же исчезло, потому что последняя еще оставшаяся в ней искра ярости зажглась в ее душе и вернула ей то, что он у нее украл. Она поднялась так стремительно, что ни Роз, ни Рахель не успели ее удержать, глубоко вздохнула и выхаркнула в его лицо: "Вон!" — или ей только показалось, что выхаркнула, а может быть, это было не "Вон!" Может быть, это было: "Он!""? Но это уже не имело никакого значения.

27.

О непосредственных и более отдаленных результатах операции читатели газет могли узнать куда больше, чем полагали; и несомненно куда больше, чем Чарли. Они могли, например, узнать — если бы задались трудом отыскать небольшие сообщения на зарубежных страницах своей прессы, — что некий давно разыскиваемый палестинский террорист погиб в перестрелке с боевиками из западно-германского подполья, а его заложница (имя ее не называлось) доставлена в госпиталь в состоянии шока, но в остальном избежав серьезных последствий. Немецкие газеты преподносили ту же историю куда как более живо, под захватывающими заголовками типа: "Дикий Запад в тихом Шварцвальде" — но их статьи были полны таких противоречивых деталей, что извлечь из них что-либо путное было совершенно невозможно. Если кто-либо и предполагал наличие связи между этой историей и неудавшейся попыткой покушения на профессора Минкеля (который сначала был объявлен погибшим, но, как оказалось потом, чудом спасся), то остроумные опровержения любезного доктора Алексиса быстро убедили таких людей в обратном. Впрочем, как писали авторы редакционных статей, можно понять нежелание полиции посвящать широкую

публику во все детали своей работы.

Серия других, менее значительных происшествий в западном полушарии могла бы направить подозрения против той или иной арабской террористической организации, но при имевшемся обилии соперничающих группировок было, по правде говоря, чрезвычайно трудно указать наверняка какую-либо одну. К примеру, бессмысленное убийство доктора Антона Местербейна, известного швейцарского адвоката и гуманиста, борца за права национальных меньшинств и сына не менее известного банкира, было приписано радикальной группе фалангистов, которая не так давно "объявила войну" всем европейцам, открыто поддерживающим "оккупацию" Ливана палестинцами. Убийство произошло среди бела дня, когда жертва покидала свою виллу, отправляясь на работу — без охраны, естественно, — и вызвало всеобщее возмущение. Во всяком случае, на те несколько минут, которые понадобились, чтобы прочесть газетное сообщение. Позднее, когда в редакцию одной из цюрихских газет поступило письмо, в котором ответственность за убийство брала на себя организация "Свободный Ливан", одному из младших сотрудников ливанского посольства было предложено покинуть Швейцарию, что он и сделал с философским спокойствием.

Зато взрыв в машине дипломата одной из стран "Фронта отказа", случившийся в Лондоне, на Сен-Джон Вуд-стрит, не привлек почти никакого внимания, потому что это был четвертый такой взрыв за последние месяцы.

С другой стороны, хладнокровное и жестокое убийство итальянского музыканта и журналиста Альберто Росино и его немецкой любовницы (их изрезанные ножами обнаженные тела были найдены несколько недель спустя на берегу одного из тирольских озер) было объявлено "сведением личных счетов", не имеющим никакого отношения к политике, хотя обе жертвы были известны своими радикальными взглядами. Убитая женщина, некая Астрид Бергер, славилась своими сексуальными аппетитами и малопохвальной неразборчивостью, так что не исключено было, что убийство совершил какой-нибудь отвергнутый ею прежний любовник. Череда нескольких менее примечательных смертей прошла вообще незамеченной — точно так же, как бомбежка израильянами заброшенной крепости на сирийской границе, где палестинцы обучали зарубежных террористов. Что же касается стокилограммовой бомбы, которая взорвалась на окраинах Бейрута, до основания разрушив шикарную виллу и похоронив под ее обломками всех обитателей

(включая Тайе и Фатме), то о мотивах этого преступления и гадать не стоило — оно было одним из бесчисленных актов террора, столь частых, увы, в этой несчастной стране.

Но Чарли, в ее монастырском уединении на берегу моря, не знала обо всех этих происшествиях. Точнее, она что-то слышала о них, но была слишком напугана — или равнодушна — чтобы задумываться над ними. Поначалу она проводила свои дни в прогулках или на берегу, где подолгу сидела, не раздеваясь, так что телохранители часами томились на солнце в почтительном отдалении. Время от времени она опускала руки в тихо набегающую волну и старательно смывала с лица и шеи какие-то невидимые пятна.

Курц навещал ее раз в неделю, иногда чаще. Он вел себя сдержанно, почти застенчиво, и терпеливо, как верный пес, ждал, пока она выкричится. Потом он рассказывал ей новости — самые свежие, любопытные, неизменно благоприятные.

Они нашли ей крестного, сообщил он, старого друга ее отца, очень богатого человека, который неожиданно умер в Швейцарии и оставил ей все свои деньги; поскольку он был иностранцем, с этих денег не будет удерживаться английский налог.

Британские власти согласились — он не будет утруждать Чарли деталями, важно, что они согласились — прекратить расследование ее связей с некоторыми европейскими и палестинскими радикалами. Нед Квили по-прежнему самого высокого мнения о ней; ему позвонили из полиции и заверили, что все подозрения относительно Чарли оказались несостоятельными.

Ее внезапное исчезновение из Лондона было встречено с пониманием, особенно после того, как ее знакомым объяснили, что у нее был небольшой нервный срыв, вызванный полицейской слежкой и несчастливый романом с загадочным человеком, который подцепил ее в Миконесе, но оказался женатым и в конце концов бросил ее. Она безучастно кивала, слушая его рассказ, но когда он попросил ее повторить и стал проверять, запомнила ли она все детали, она вдруг сильно побледнела и начала дрожать всем телом. То же самое повторилось и в другой раз, когда Курц пришел с сообщением, что “в высших кругах” согласны предоставить ей израильское гражданство в любой момент, когда она этого захочет.

“Предоставьте его Фатме!” — крикнула она, и Курц, у которого к этому времени было на руках множество других дел, вынужден был заглянуть в архив, чтобы вспомнить, кто такая Фатме; вернее кто была эта Фатме.

Что касается театра, она может не беспокоиться: ее ждет несколько отличных предложений, из которых она сможет выбрать, как только почувствует себя в силах. В том числе одно предложение от режиссера из Голливуда, который держит для нее небольшую, но интересную роль, в самый раз для нее; к сожалению, он, Курц, не помнит деталей. Зато он слышал, что на лондонской сцене тоже есть немало любопытного.

“Я хочу вернуться обратно в свою труппу”, — упрямо сказала она.

Никаких препятствий, дорогая, заверил он, мы все устроим.

За ней наблюдал молодой энергичный психиатр, с военной выправкой и лукавыми глазами; он меньше старался ее разговорить, чем убеждал ее молчать, и часто брал ее с собой в автомобильные прогулки по берегу, до самого Тель-Авива. Один раз он случайно показал ей уцелевшие арабские дома, и Чарли перестала владеть собой от гнева, но в общем ей было с ним неплохо, они сидели в ресторанах, плавали вместе и даже лежали потом рядом на песке, коротая время в светской болтовне, пока Чарли не сказала ему, странно улыбнувшись, что предпочитает разговаривать с ним в его кабинете. Когда он узнал, что она любит ездить верхом, он заказал лошадей, и они провели чудный день, но назавтра Чарли снова стала подозрительно молчаливой, и психиатр велел Курцу подождать еще недельку. И оказался прав, потому что в тот же вечер на нее напала неукротимая и непонятная рвота, хотя она почти ничего не ела.

Как-то раз к ней заглянула Рахель, которая возобновила свои занятия в университете, но это была совсем другая Рахель — мягкая, спокойная, совсем непохожая на ту, что была в Афинах. Дмитрий опять в школе, рассказывала она, а Рауль собирается заняться медициной и стать военным врачом, но он еще окончательно не решил, может быть, ему лучше пойти в археологию. Чарли вежливо выслушала эти семейные новости, и Рахель потом призналась Курцу, что у нее было такое ощущение, будто она разговаривает со своей бабушкой. Так же вежливо Чарли попросила ее больше не приходите.

Тем временем отдел Курца все еще переваривал ту неоценимую информацию, которую последняя операция прибавила ко всему, уже накопленному в бесчисленных предыдущих. Вопреки прежним концепциям, оказалось, что не-евреи тоже могут быть использованы для таких заданий и порой даже с большим успехом, чем евреи.

Еврейская девушка, заключили эксперты, вряд ли смогла бы так замечательно сыграть эту роль. Техники были потрясены историей с транзистором — оказывается, даже ошибки могут принести пользу. В идеальном случае, гласил их вывод, руководитель операции должен был заметить отсутствие батарей в транзисторе агента, когда заменял его. Хорошо все же, что в данном случае этот руководитель оказался достаточно сообразительным и перешел к ликвидации, как только передаваемый сигнал оборвался. Имя Бекера, разумеется, нигде не упоминалось; не говоря уже о его засекреченности, Курц вообще был немного разочарован в нем в последнее время и потому не склонен был его превозносить.

А в самом конце весны, когда дороги в долине Литани достаточно просохли для танков, сбылись худшие опасения Курца и худшие угрозы Миши Гаврона: началось давно ожидавшееся израильское вторжение в Ливан, которое должно было положить конец последней волне террористических нападений — или, если угодно, обозначить начало следующей. Лагерь беженцев, где Чарли провела несколько дней, был разрушен, и сотни людей двинулись в свой печальный марш на север. Специальные отряды командос ликвидировали все секретные места, где они останавливались. Они высадились ночью, как когда-то предсказывал Ясир. Ясир, конечно, погиб. Карим тоже погиб. Но от этих новостей Чарли предусмотрительно избавили. Это может ей повредить, сказал психиатр; в ее неустойчивом состоянии она еще, пожалуй, обвинит себя даже в израильском вторжении. Лучше промолчать; в свое время она сама узнает. Курц не появлялся почти месяц, а когда снова появился, его нельзя было узнать: он наполовину усох, глаза утратили прежний блеск, и выражение лица наконец-то стало соответствовать его подлинному возрасту, — каким бы этот возраст ни был. Потом он снова исчез и на этот раз основательно; говорили, что он стряхнул с себя оцепенение и с новой яростью возобновил свою вечную вражду с Гавроном.

Вернувшись в Берлин, Гади Бекер первое время ощущал себя не у дел; но он уже бывал в такой ситуации прежде и потому был не так чувствителен к ее неудобствам. Он попытался было наладить свои хромающие коммерческие дела, но сколько ни старался, банкротство казалось неизбежным, и он попросту махнул на него рукой. В Берлине у него была девушка, с которой он раньше изредка спал, и спустя несколько дней он позвонил ей и сказал, что

ненадолго вернулся. Прислушиваясь к ее щебечущему в трубке голосу и капризным упрекам, он одновременно слышал внутри себя какие-то другие, смутные голоса. Так ты приходи, сказала она под конец. Но он не пришел. Он не считал себя достойным той маленькой радости, которую она могла ему дать.

Он заглянул в несколько фешенебельных клубов, без всякого воодушевления посмотрел, как пьяные гости увлеченно бьют заранее оплаченную посуду, вернулся к себе и вдруг надумал писать большой роман о немецкой еврейской семье, которая эмигрировала в Израиль, но потом вернулась обратно, не в силах принять нынешний сионизм. Несколько вечеров подряд он сосредоточенно писал; потом, перечтя написанное, неторопливо и аккуратно сложил листы и выбросил их в корзину для мусора. Подумав, он извлек их из корзины и бросил в печь — для верности. Случилось так, что на следующий день его посетил молодой человек из посольства в Бонне, которого прислали для связи вместо прежнего, и Бекер с ходу и без всякого повода затеял с ним долгий, горячий и беспорядочный спор о будущем Израиля, закончив его цитатой из Кестлера, которую он переделал для своих нужд: "Во что мы превращаемся? В маленькую откровенную Спарту?"

У нового связного были ледяные глаза, и философские разговоры его не увлекали. Он вынес от Бекера определенные сомнения и не преминул поделиться ими с Курцем.

Курц позвонил на следующее утро. "Что ты себе думаешь? — с ходу заорал он, едва только Бекер поднял трубку. — Если ты обязательно хочешь нагадить в гнезде, то лучше возвращайся для этого домой, здесь ты хотя бы не будешь так заметен!"

"Что с ней?" — спросил Бекер.

Ответ Курца был расчетливо жестоким, потому что он сам был не в наилучшей форме. "Франки чувствует себя великолепно. Она замечательно выглядит, замечательно держится и даже, к моему великому удивлению, продолжает тебя любить. Элли говорила с ней только позавчера, и у нее создалось впечатление, что Франки не верит, будто вы развелись всерьез".

"Развод — это не дело веры".

Но у Курца, как всегда был уже припасен ответ: "Развод — это не дело, точка!"

"Так что с ней?" — снова спросил Бекер.

Курц долго молчал, укрощая клокотавшую в нем ярость. "Если мы говорим о нашем общем друге, то с ней все в порядке, она

выздоровливает и она никогда больше — *никогда!* — не хочет тебя видеть!”

И выкрикнув это “никогда”, он с треском швырнул трубку.

Наверно, он дал Франки его телефон, потому что она позвонила в тот же вечер. Телефон был ее излюбленным орудием. Другие играли на скрипке, на арфе, на шофаре — Франки оставалась верна телефону.

Бекер слушал долго и терпеливо. Как она плачет (в этом она была неподражаема); как она обвиняет; как она обещает. “Я буду такой, как ты захочешь, — заклинала она.. — Ты только скажи, и я буду”.

Но Бекер меньше всего хотел создавать для себя куклу.

Через несколько дней после этих событий Курц и его психиатр решили, что пора швырнуть щенка в воду.

Труппа называлась “Комический букет”, и они обосновались в помещении, где уже располагались феминистская организация и театральная школа, а во время выборов, наверно, еще и избирательный участок. Пьеса была дрянь, и театр был дрянь, и она сама была дрянь, заслуженно скатившаяся на самое дно. Она начала с трагических ролей, потому что первого же взгляда на нее Неду Квили оказалось достаточно, чтобы понять, что ей нечего делать в комедии. У Чарли были свои причины с ним согласиться. Но вскоре она убедилась, что серьезный текст ей не под силу, — она начинала всхлипывать, а то и плакать в самых неподходящих местах, и несколько раз ей пришлось под благовидным предлогом покинуть сцену, чтобы не разреветься прямо на людях.

Еще чаще пьесы ее попросту раздражали; она не могла понять, как можно называть трагедией эту буржуазную европейскую болтовню. Поэтому постепенно она вернулась к комедиям и переходила от Шеридана к Пристли и обратно, изредка отвлекаясь на пьесу какого-нибудь очередного современного гения, которую афиша рекламировала как сочетание зубодробильного хохота с искрометным юмором. Они играли в Йорке (но слава Богу, миновали Ноттингам), в Лидсе, в Брэдфорде, в Дерби, но Чарли никак не удавалось услышать в зале зубодробильный хохот или хотя бы искрометное веселье. Впрочем, виновата в этом, возможно, была она сама, потому что она выдавала свои реплики, как одурманенный ударом боксер, которому давно пора сдаться или упасть в нокауте. Весь день она валялась в постели, читала и смо-

лила сигарету за сигаретой; но по вечерам, едва поднимался занавес, на нее нападала непобедимая сонливость. Собственный голос долетал до нее как будто издалека, рука механически совершала положенные жесты, нога ступала сама собой, а вместо нормального смеха из горла рвался какой-то петушиный клекот. Или вообще ничего. И одновременно в ее памяти начинали всплывать картинки из запретного альбома: тюрьма в Сидоне и женщины, сидящие вдоль стен с детьми; Фатме; дети в лагере, под бомбами израильских самолетов; и мертвая рука Халила, сползающая по стене, оставляя на ней кровавые следы мертвых пальцев. Может быть, это все из-за меня?

В антрактах она не уходила в раздевалку, а выходила наружу и стояла там, глубоко затягиваясь сигаретой и глядя в туманную глубину пустынных улиц. Пойти по ним и идти, пока не свалишься. Или пока не раздавит машина. Ее звали на сцену, она слышала хлопанье дверей и топот бегущих ног, но ее это не заботило, это была их проблема, не ее. Только крохотный остаток ответственности — совсем микроскопический остаток — заставлял ее, в конце концов, снова открыть дверь и вернуться.

“Чарли, ради бога, куда ты пропала, черт поberi, Чарли?!”

Занавес поднимался, и она опять оставалась одна. Долгий монолог: Хильда пишет письмо своему любовнику. Мишелю. Иосифу. При свете свечи. Сейчас у нее кончится бумага, она откроет ящик письменного стола и найдет там — “О, Боже!” — неотправленное письмо своего мужа к его любовнице. Она писала, и это был мотель в Ноттингаме, а потом она поднимала глаза на свечу и видела лицо Иосифа в таверне под Дельфи, нет, это был Халил, который сидел напротив нее за длинным столом в шварцвальдском доме. К счастью, слова, которые она произносила, все еще были словами Хильды, и движения тоже были ее. Хильда откладывала перо, оглядывалась в поисках чистого листа бумаги, открывала ящик письменного стола и ее взгляд падал на исписанный лист. Она поднимала его, не веря собственным глазам, выбегала на авансцену и начинала читать вслух — такое забавное письмо, столько изящных намеков! — а сейчас слева войдет ее муж, подойдет к столу, увидит ее неоконченное письмо к ее любовнику и тоже начнет читать его вслух, и оба письма будут так забавно перекликаться, что зрители будут плакать от смеха, а потом от восторга, потому что обманутые обманщики придут в возбуждение от собственной неверности и кинутся друг к другу в сладострастном вожделении. Она услышала, как

ее муж вышел на сцену, сделала два шага вправо, чтобы не заслонять своего Джона, повернулась и увидела его. Не Джона, конечно, а Иосифа, который сидел в том же месте, где когда-то сидел Мишель, и смотрел на нее с той же мучительной и сосредоточенной серьезностью.

Сначала она даже не удивилась; граница между воображаемым и реальным и без того была, в лучшем случае, пунктирной, а в последние дни и вообще стала исчезать.

Так он все-таки пришел, подумала она. Самое время. А где твои орхидеи, Жозе? Ты без орхидей? И без красного блейзера? Без золотого медальона? Без итальянских туфель? Что же ты так? Наверно, мне все-таки нужно вернуться в раздевалку и прочитать твою записку. Я бы знала, что ты придешь, и испекла бы тебе пирог.

Она уронила на пол письмо, которое держала в руках, потому что больше не нужно было притворяться. Чего это Джон и режиссер так волнуются, вот — даже размахивают руками? Наверно, я их вообразила, потому что реальность — это Иосиф, значит, они существуют только в моей памяти. Этот воображаемый Джон так забавно шевелит губами. Это он подсказывает ей текст. Глупый Джон, ему следовало бы поучиться у Иосифа; наш Жозе — гений подкаски, гордо сказала она Джону.

Какая-то стена все-таки была между ними, даже не стена, а что-то вроде прозрачного занавеса, и еще ей мешали слезы, и она подумала, что, наверно, все-таки она его вообразила. Кто-то кричал на нее; кто-то взял ее за локоть и куда-то повел; сейчас они, должно быть, опустят занавес, а потом начнут сначала и поставят вместо нее эту маленькую идиотку — Господи, как же ее имя, Господи?! Они мешали ей подойти к Иосифу, а ей обязательно нужно было подойти и коснуться, чтобы убедиться, что он настоящий. Потом занавес действительно опустился, но она уже спускалась к нему по ступеням. Вспыхнул свет, и она увидела, что это и в самом деле Иосиф, но такой настоящий, что ей стало скучно: он был просто одним из зрителей. Она почувствовала чью-то ладонь на своей руке и подумала: опять этот Джон, когда он, наконец, от меня отцепится? В фойе было совсем пусто, если не считать двух престарелых герцогинь, выдававших себя за билетерш.

“Я бы на твоём месте обратилась к доктору, милочка”, — сказала одна из них.

“Или постаралась выспаться”, — сказала другая.

“А еще можно переспать”, — радостно сообщила им Чарли, открывая дверь.

Не было нотингамского дождя, не было красного “Мерседеса”, была только пустая улица и автобусная остановка, где ее высадили дожидаться автобуса, в котором едет веселый Сол с очередной инструкцией для нее от Халила.

Иосиф шел посреди улицы ей навстречу, и она подумала было, что сейчас он побежит, чтобы догнать свои пули, но он не побежал. Он остановился перед ней, слегка запыхавшись, и она поняла, что кто-то послал его с приказом — наверно, Марти, а может быть, Тайе. Он уже открыл было рот, чтобы сказать ей, что делать дальше, но она его перебила.

“Я же мертвая, миленький, ты ведь меня застрелил, разве ты не помнишь?”

Она хотела сказать еще что-то о театре настоящей жизни, в которой мертвые не поднимаются с пола под звуки аплодисментов. Но она забыла, что она хотела сказать.

Промчалось такси, даже не замедлив на возглас Иосифа. Эти нынешние таксисты, они такие своенравные, правда, Жозе? Она, наверно, упала бы, если бы он не держал ее так твердо. Она ничего не видела сквозь слезы, а его слова доносились до нее, как сквозь толщу воды. Я умерла, повторяла она, я умерла, я умерла. Но ей почему-то казалось, что она нужна ему живая или мертвая. Сплета руки и опираясь друг на друга, они неуклюже удалялись по мостовой незнакомого города.

Конец

**Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры
присудил
премию имени Арье Рафаэли за 1984 год
Александрю Воронелю
за книгу
“Трепет иудейских забот”**

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: “Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Характер сегодняшней политической мысли в Израиле несравним с прежним. Место противостояния идей заняло столкновение личностей. Программы и политические курсы двух доминирующих партий уже не выковываются в плавильном тигле специфических дальних перспектив. Перефразируя Маркса, можно сказать, что имеет место осязаемый спад идеологии без какого-то ни было сопутствующего распада государства. Если это справедливо, то событие это имеет немалую важность. Современный политический сионизм никогда не ограничивался одним только стремлением физически переместить евреев в их собственное государство. Буквально все провозвестники и пионеры сионизма стремились также завоевать умы и души собранных ими евреев, чтобы те уверовали и воплотили в жизнь специфическую программу этой новой идеологии. В этом смысле сионизм почти с самого начала являлся гибридом; для сионистов построение государственного корабля не сводилось к простой подгонке досок; не менее существенным казался общий чертеж, модель и структура, не говоря уж о последующем курсе и направлении движения. Основатели Израиля пошли дальше чисто политического построения государства. Не менее важной целью

КОНЕЦ ИДЕОЛОГИИ?

представлялась им социальная инженерия: "нормализация" спектра еврейских профессий; приобщение к культуре и воспитание масс "отсталых" иммигрантов; развитие и поддержка новых форм общественной жизни; созание "старо-новой" национальной культуры, основанной на еврейской истории и ее символике в сочетании с лучшими идеалами и стремлениями современности. Все эти и другие черты были продуктами специфических идеологий, пытавшихся выковать новую страну, общество и народ согласно той или иной модели. Среди этих идеологий социалистический, а позднее ревизионистский сионизм играл доминантную роль.

Но как и во всех подобных процессах, чистота намерений и рвение инициаторов постепенно стали ослабевать. Люди, облеченные властью и ответственностью, особенно часто вынуждены идти на компромисс, обтачивая острые углы идеологического императива. Для сохранения власти политики готовы почти на все; чтобы управлять государством, они обязаны почти все предполагать мыслимым. С 1948 по 1977 год партия Труда находилась между этими молотом и наковальней; на протяжении последующих семи лет и ЛИКУДУ пришлось умерить свой идеологический пыл в соответствии с требованиями реальности. Тем не менее этот железный закон "идеологического оскудения" сам по себе не может объяснить весь пройденный Израилем путь, приведший сегодня, фактически, к отмиранию идеологии как действенного фактора общественной жизни. Здесь, очевидно, работали и более глубинные силы, зачастую свойственные лишь той ситуации, что сложилась на сегодняшний день в израильском обществе.

* * *

Все сионистские идеологии должны апеллировать к двум критически важным областям национального существования: безопасности и экономике. В отношении первой из них подход социалистического лагеря изначально был примиренческим, "голубиным" на языке западной дипломатии. В то время, как в ранней социалистической сионистской идеологии арабская проблема не занимала центрального места, с 1948 года все сменявшие друг друга правительства партии Труда силою событий были принуждены выработать некую общую программу и подход к этой проблеме, которые соответствовали бы провозглашенным партийной идеологией идеалам справедливости и терпимости. Этот подход сводился к тому,

что дверь к переговорам и, в конечном счете, к миру с арабами будет оставаться открытой, в особенности после (и несмотря на) Шестидневной войны, которая оставила в руках Израиля огромный ломоть спорных “управляемых” территорий. К несчастью, никакое арабское государство не согласилось воспользоваться этой дверью — возможно, потому, что компромиссная позиция партии Труда воспринималась ими как порождение слабости. К 1977 году партия Труда явно зашла в тупик: за 29 лет никто из арабов так и не согласился сесть с ней за стол переговоров и разрешить затянувшийся конфликт.

По иронии судьбы первый важный сдвиг в этом плане произошел в период правления наследников ревизионизма. Не так уж важно, примирился Садат с Израилем благодаря страху или безнадёжности, уговорили Даян и Вейцман или обманом заставили Бегина подписать мирный договор; был то акт истинной политической прозорливости со стороны нового премьер-министра или желание войти в историю — окончательный результат с идеологической точки зрения и ЛИКУДа, и партии Труда был столь же ироническим, сколь и трагичным.

Верно, египетско-израильский мирный договор продемонстрировал, что изначальный подход партии Труда не был в корне неверен; непосредственный же результат оказался несколько иной: мир с Египтом дал ЛИКУДу возможность аннексии Голанских высот де-юре и присоединения Иудеи, Самарии и сектора Газы де-факто; тем самым была пресечена угроза возможных будущих уступок партии Труда на восточном фронте Израиля. Если в 1979 году Бегин признал, что Бен-Гурион был в принципе прав, то к 1983 году он создал такие условия, чтобы идеологические преемники Бен-Гуриона не смогли пойти по этому правильному пути. С другой стороны, отсутствие серьезной угрозы с южного фланга и общая склонность ЛИКУДа к силовым решениям привели к катастрофической ливанской кампании, что доказало банкротство ревизионистской идеологии — по крайней мере в той ее форме, в какой она провозглашалась ее ведущими приверженцами. Короче говоря, выяснилось, что традиционная национальная политика безопасности — как социалистического, так и ревизионистского сионизма — в лучшем случае требует тщательного пересмотра, в худшем — может быть, вообще не применима.

Положение на внутреннем фронте оказалось, пожалуй, очерченным еще более ясно. Социалистический сионизм изначально взял курс на то, что единственным средством построения современной сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры — особенно, если она основана на эгалитарных началах, — является централизованная государственная бюрократия, которая будет планировать, контролировать и осуществлять надзор над экономикой в той мере, в какой это позволят принципы свободы личности. Для своего времени и в тогдашних обстоятельствах эта политэкономия социалистического сионизма являлась верным рецептом; но успех, достигнутый ею как в плане макро-, так и в плане микроэкономики, был незначительным.

Трудовой сионизм взялся за кажущуюся неразрешимой задачу — обратить вспять две тысячи лет еврейской истории. Он ставил целью “нормализацию” еврейского рабочего профиля, создание еврейских рабочих, еврейских крестьян, еврейских ремесленников и пр. — в противоположность склонности евреев диаспоры к финансовым, интеллектуальным и коммерческим занятиям. И действительно, к 50-м годам в Израиле была создана цельная экономическая структура — возможно, с некоторым даже перекосом в новом направлении. Но, увы, эти успехи трудового сионизма либо породили труднейшие проблемы, либо вообще оказались недолговечными. Централизация, бюрократизация и сверх-институционализация экономики со временем привели к спаду эффективности капиталовложений и труда. Субсидии продолжали поступать туда, где в них больше не было нужды, и в некоторых случаях шли больше на пользу имущим, чем неимущим. Жесткая профсоюзная организованность привела к окостенению структуры рабочих мест: “скрытая безработица” (работники, не занятые никакой реальной работой) и стандартизация заработной платы (подавляющая стимул к работе) стали обычным явлением, снижавшим продуктивность труда. Высокие тарифы, первоначально призванные защитить молодые промышленные предприятия, позволили им зажиреть и облениться; тем самым была подорвана способность Израиля в международной конкуренции. Да и спектр профессий недолго оставался нормальным. Сегодня ни один еврей в Израиле не желает быть

простым рабочим, и лишь немногие заинтересованы работать в промышленном или сельском хозяйстве. Буквально все строительные рабочие в Израиле — арабы; молодой сабра мечтает лишь о легкой и приятной работе в банке.

ЛИКУД никогда не представлялся слишком озабоченным проблемой нормализации еврейства, но зато имел конкретные идеи исправления структурных дефектов в псевдо-рыночной экономике Израиля. Эти идеи вытекали не столько из ревизионизма партии "Херут", сколько из экономической философии ее партнера по коалиции, Либеральной партии. Спустя несколько месяцев после прихода ЛИКУДа к власти в 1977 году была объявлена "Новая экономическая программа": решительные реформы в области иностранной валюты, снижение субсидий на продукты и товары, отмена определенных налогов и многие другие знакомые формы оживления экономики.

Как гласит пословица, остальное — история. В то время как партии Труда понадобилось 29 лет, чтобы накопить внешний долг в размере 10 миллиардов долларов, ЛИКУД всего за 7 лет почти утроил эту сумму. В то время, как в годы правления партии Труда цифры инфляции никогда не приближались к трехзначным, ЛИКУД ухитрился пять раз достичь подобных фиаско, а сегодня на горизонте уже возникает угроза **четырёхзначной** инфляции. Дефицит платежного баланса и внешний долг Израиля взлетели до небес; но, возможно, наихудшее (с точки зрения самого ЛИКУДа) — что нормой стала уже не "скрытая", а истинная безработица (хотя ее размеры и не достигли еще западноевропейского уровня).

Итак, в обеих важнейших областях — безопасности и экономике — обе главные, традиционные сионистские идеологии продемонстрировали свою слабость, если не сказать — несостоятельность. Этот общий феномен мог и сам по себе привести к разочарованию в идеологии вообще. Но здесь сыграло роль и нечто большее, что не обязательно было делом рук самих партий.

Партийная идеология никогда не провозглашается в социальном вакууме. Она опирается на определенную группу избирателей, которая поддерживает программу партии и служит средством ее дальнейшего распространения. Партия стремится выразить интересы и взгляды этих людей; чем четче определена ее идеология, тем более сцементированным оказывается ядро ее сторонников.

Действительно, так начинались обе главные израильские партии. Партия Труда (по сути дела, свободный конгломерат нескольких

социалистическо-сионистских группировок) апеллировала к нуждам растущего сельскохозяйственного рабочего класса, который в дальнейшем становился все более промышленным. Именно из этого сектора вышли первые руководители страны, накопившие идеологический и практический опыт в рамках Гистадрута и связанных с ним учреждений. Партия "Херут" и та группа, что впоследствии стала Либеральной партией, имели иное социально-экономическое происхождение, поскольку опирались на поддержку иных слоев — в основном, профессиональных и торговых групп выходцев из Восточной Европы. Эти ядра избирателей оставались вполне сплоченными в годы формирования государства. В 1948 году еще можно было говорить о двух политических блоках не только с идеологической, но и с классовой точки зрения. Но сегодня, тридцать шесть лет спустя, ситуация граничит с абсурдом. Обе главные партии поддерживаются сегодня как раз теми группами населения, интересы которых противоречат социально-экономическим программам этих партий.

Как возник такой парадокс? Самую существенную роль сыграли в этом успехи и неудачи правительств партии Труда в первые три десятилетия существования государства. За эти годы бывшие пролетарские избиратели партии Труда продвинулись вверх — в средний и высший классы. Эти люди теперь вовсе не заинтересованы платить повышенные налоги, становиться объектом различных схем перераспределения доходов и выслушивать от правительства указания, что им делать и как именно. Но и партия Труда, и эти ее сторонники оказались в ловушке. Партия Труда не может отказаться от своей социально-экономической идеологии, которая по сути, является единственным оправданием ее существования вообще. Традиционные же сторонники партии Труда с презрением отвергают возможность оставить движение, которое помогло им так поднять свой жизненный уровень. Вдобавок, с их точки зрения альтернатива еще отвратительней — по причинам ее неприемлемого для них стиля и внешнеполитической линии.

Ситуация ЛИКУДа еще интересней. Первоначальные сторонники "Херута" и Либеральной партии вышли из кругов бывшего немецкого и польского бюргерства. Все эти годы они продолжали ревностно поддерживать свои партии и составили большинство в их руководстве. Но численно их обошла другая группа населения, появившаяся на израильской сцене сравнительно недавно, — **эдут ха-мизрах** (евреи из арабских стран). Сотни тысяч этих евреев

прибыли в страну в конце сороковых—начале пятидесятих годов, и подавляющее большинство их вначале голосовало за партию Труда ("поддерживало" было бы слишком громким словом, потому что оно предполагает уровень политической сознательности, еще не достигнутый ими в то время). Правительства партии Труда проделали большую работу по облегчению участи этих новых иммигрантов, но весьма скудных ресурсов государства было недостаточно для их серьезного экономического устройства и ассимиляции в обществе. Возможно, еще больший ущерб был нанесен снисходительным отношением функционеров партии Труда к этим новоприбывшим — "необразованным", экономически "неквалифицированным", культурно "отсталым" (если воспользоваться некоторыми, еще сравнительно мягкими формулировками ведущих политиков тех дней). В эту яму, вырытую партией Труда для "эдот ха-мизрах", вскоре попала сама партия.

Уже в конце 60-х годов можно было распознать новые тенденции среди избирателей. В то время, как большинство взрослых иммигрантов в первом поколении продолжало поддерживать партию Труда (возможно, скорее по инерции, чем благодаря истинному энтузиазму), их дети, достигшие политической зрелости, стали толпами перебегать в ряды ЛИКУДа. Можно выдвинуть несколько объяснений этого явления, и в каждом из них будет своя доля истины. Во-первых, их, видимо, привлекала "сильная" личность Менахема Бегина. Политическая культура в их родных арабских странах была культурой авторитарной, культурой насильственного управления. Как только Бен-Гурион в середине шестидесятых годов сошел со сцены, Бегин стал казаться единственным, кто сможет предложить "решительные" методы руководства. Во-вторых, антипатия **эдот ха-мизрах** к арабам естественно смыкалась с "жесткой линией" и ультра-националистической политикой партии "Херут". Может быть, только здесь, в вопросах национальной безопасности и внешней политики произошло некоторое совпадение партийной идеологии и намерений основного ядра сторонников партии. В-третьих, сказывалось непрерывное продвижение уроженцев страны, сторонников партии Труда, по общественной лестнице — и кажущееся его отсутствие у евреев из арабских стран ("кажущееся" потому, что и абсолютное, и относительное повышение их уровня жизни в 60-х и 70-х годах превосходило повышение уровня жизни у ашкеназов!) Это порождало ощущение отторженности и дискриминации и толкало "эдот ха-мизрах" к

столь же "отторженному" на политической сцене ЛИКУДУ.

К 1977 году эти процессы почти завершились, и ЛИКУД пришел к власти — в основном, на приливной волне "перебежчиков". Но стоило ему принять бразды правления, как обнаружилось серьезные идеологические проблемы. Не прошло и шести месяцев, как была провозглашена "Новая экономическая программа" (экономика была и некоторое время продолжала считаться вотчиной равноправного партнера "Херута" — либералов). Вместо повышения субсидий для нуждающихся, большего перераспределения доходов и более активного правительственного вмешательства в экономику ради помощи слабым слоям, ЛИКУД возвестил наиболее решительную и серьезную по своим последствиям программу "либерализации" в истории Израиля. Невмешательство в экономику превратилось в общепринятую норму, и отныне каждый боролся за свои личные интересы.

Не стоит и говорить, что не об этом мечтали *эдут ха-мизрах*. Партия Труда согрешила, не обеспечив достаточной правительственной помощи; но теперь ЛИКУД нанес им куда более серьезные удары. Однако, подобно своим ашкеназийским собратьям, которым трудно было бросить партию Труда, *эдут ха-мизрах* не могли со спокойной совестью дезертировать снова и признаться в своей "ошибке". ЛИКУД и его новообетенные сторонники оказались скованы брачным союзом, который был основан на эмоциях, а не на идеологических причинах. Ныне, после начального семилетнего возбуждения, этот брак потерпел фиаско.

Таким образом, обе основные партии пришли к идеологическому расхождению со своими бывшими сторонниками. Обе основные группы израильских избирателей — и поддерживаемые ими партии — очутились в своего рода политической смирительной рубашке: провозглашаемая партиями идеология почти или совсем не соотносится с нуждами и пожеланиями их избирателей (во всяком случае — в социально-экономических вопросах).

* * *

Восьмидесятые годы возвестили новую эру в израильской истории — впервые уроженцы страны составили большинство ее населения. Это демографическое событие имеет немаловажное значение для Израиля. Не менее важно его влияние на идеологию.

В восприятии общества и его целей между уроженцем страны и иммигрантом наблюдается существенное различие. Большинство иммигрантов приезжает в свою новую страну с чувством идеализма и большими ожиданиями. Они лелеют мечту (какой бы утопической и оторванной от реальности она ни была) о стране неограниченных возможностей. Такая ситуация имела место в случае больших волн иммиграции в США в конце 19-го века; она повторилась и в случае тех евреев, что в 20-м веке решили возродить Эрец-Исраэль. Но мечта эта никак не аморфна; здание, будь оно личным или национальным, строится на фундаменте определенных принципов или идеологии. Для иммигрантов характерна готовность к отказу от индивидуальных решений в пользу попытки коллективного улучшения жизненного уровня; они проходят процесс одновременного культурного приспособления и трансформации.

Уроженец страны, напротив, появляется и растет в рамках бетонной основы "того, что есть", а не того, что будет или должно быть. Верно, что в израильском случае бетон еще должен несколько затвердеть, — но, говоря сравнительно, сабра менее склонен к идеализму и идеологии. Классическая израильская формула последнего десятилетия гласит: "Аль титен ли ционут" — "Оставь меня со своим сионизмом", "не проповедуй мне сионизм".

Большинство израильтян сегодня интересуется тем же, что и все другие люди: деньгами, комфортом, досугом, общей и личной безопасностью. Выбор средств для достижения этих целей представляется им, в лучшем случае, делом второстепенным. Подавляющее большинство израильтян поддержало идею отдать весь Синайский полуостров в обмен на мир с Египтом, и уже одно это предполагает веру, что цель оправдывает средства даже в области национальной безопасности.

Среди трех факторов, приведших к упадку израильской идеологии, последний кажется наиболее необратимым. Поскольку в ближайшем будущем вряд ли начнется массовая иммиграция, "осабривание" израильского общества будет расти параллельно с сопутствующей ему "нормализацией" израильского политического духа. Демографические течения подобны леднику — они медленны, но практически неостановимы. Вряд ли что-либо, помимо национального катаклизма, сможет приостановить дальнейший распад израильской идеологии.

Следует задать два дополнительных вопроса. Во-первых, является ли нынешний закат идеологии полностью негативным явлением, или же он имеет и свои положительные последствия? Во-вторых, что можно сказать относительно будущего? Приближается ли истинный "Конец Идеологии", будет ли он приостановлен какими-либо противодействующими силами?

Закат имеет и свои угнетающие, и свои вдохновляющие стороны. В позитивном плане уместней всего повторить изречение Адамса: "Идеология — это идиотизм". Действительно, идеология заставляет человека воспринимать мир с одной-единственной точки зрения; в результате отдельные проблемы неизбежно втискиваются на прокрустово ложе заранее запрограммированных решений. Когда в 50-е годы сотни тысяч иммигрантов из арабских стран оказались незнакомыми с этикой и навыками труда, необходимыми в развивающемся индустриальном государстве, пророки трудового сионизма, верившие в бесконечную податливость Человека, потребовали радикальных решений — культурного перевоспитания и ресоциализации. Когда на жителей Галилеи стали падать снаряды "катюш", верные последователи ревизионизма предписали применить неограниченную силу. А результаты? Культурное выхолащивание и последующие социальные волнения в первом случае; неоправданно большое число убитых и раненых израильских солдат — во втором (гораздо большее, чем общее число в с е х израильтян, погибших от рук террористов). Более прагматический, уравновешенный и умеренный подход, свободный от предписаний и ограничений, диктуемых идеологической ментальностью, возможно, сослужил бы стране лучшую службу в разрешении ее многогранных и сложных проблем.

С другой стороны, нельзя отрицать, что сионистские идеологии сыграли и положительную роль. Само создание государства было бы невозможно без инициативы, энтузиазма и даже фанатического рвения тех, кто не соглашался с "фактом", будто борьба заранее "проиграна". Даже сегодня при виде опасностей, грозящих окруженному врагами Израилю, многие люди послабее духом, без глубокой убежденности в правоте и окончательной победе сионизма, пожалуй, могут заколебаться. Все же идеология обладает ценнейшим качеством — она внушает своим приверженцам "волю", а в

израильских условиях, с учетом нашей демографической слабости, это качество становится критически важным.

В дополнение следует отметить, что обе основные сионистские идеологии имели общий "коллективистский" элемент. Трудовой сионизм подчеркивал социальную справедливость и равенство, квинтэссенцией которых являлся кибуц. Ревизионистский сионизм поднял этот дух коллективизма на более высокий уровень. В идеологии ревизионистского сверх-патриотизма само государство становится мистическим воплощением общенационального духа. В обоих случаях, невзирая на некоторые отрицательные и даже трагические результаты, этот элемент способствовал превращению поистине многоязыкого общества во вполне работоспособную, если и не гомогенную, нацию. Израиль далек, конечно, от идеала "плавильного тигля", но его мозаика социально-этнических групп складывается в целостную картину действенного общества (в противоположность, например, Ливану).

Вот почему, по мере того, как трудовой и ревизионистский сионизм, как руководящие принципы социального и/или национального существования, сходят со сцены, Израиль постепенно сползает в индивидуализм, в материализм типа "мое прежде всего" и благодаря этому становится еще более неуправляемым. Идеология, по крайней мере, выкроена из цельного куска; без нее ткань общества начинает распадаться на отдельные нити.

* * *

Так что же, они уже в безвозвратном прошлом, — израильская Идеология и идеологический Израиль? Хоть это эссе и посвящено упадку идеологии в Израиле, слухи о ее смерти все же несколько преувеличены.

Прежде всего, в противовес явному ослаблению израильской секулярной идеологии, в стране происходит столь же явное возрождение идеологии "теологической". Ультра-религиозные группы стали гораздо смелее в своих законодательных проектах, и сегодня все чаще слышатся встревоженные разговоры о "ползучей теократии", о постепенном возникновении еврейского государства, подчиненного законам Галахи. Более умеренные ортодоксы из группы "Бней-Акива" также претерпели политическую метаморфозу: произошла идеологическая радикализация, в ходе которой Страна ("Большой Израиль"), по меньшей мере сравнялась в значении с Торой, еврейским Законом.

В социальном плане в последнее десятилетие наметилось явное движение к религии со стороны многих "секуляристов". Такие известные люди, как, например, комик Ури Зоар, "узрели свет", и значительно увеличилось число ешиботов, где обучаются **баалей тшува** (раскаявшиеся). Не стоит преувеличивать размеры этого феномена, но нет никаких сомнений в том, что религиозность в стране в целом растет. И если после эпохи Просвещения идеология сменила теологию в качестве господствующей системы взглядов, то сегодня в Израиле (как, впрочем, и во многих других местах), в результате ослабления идеологии происходит обратный процесс.

Во-вторых, "закат" израильской идеологии, отмеченный нами в этом эссе, является — строго говоря — закатом "импортированных" ее разновидностей. Социализм и ревизионизм были двумя разными ответами **диаспоры** (скажем точнее, центрально- и восточно-европейской диаспоры) на одни и те же ее проблемы. Бен-Гурион и Жаботинский, Голда Меир и Бегин были продуктами иной эпохи, иной среды. Это не означает, что они торопились воплотить свою идеологию, не задумываясь над специфическими проблемами зарождающегося, осажденного врагами еврейского государства. И все же необходимо помнить, что эти их идеологии не являлись идеологиями "отечественного образца", что они не были порождением специфически израильской или хотя бы еврейской культуры.

Таким образом, сегодня Израиль вступает в период относительного идеологического затишья: старые идеологии сходят на нет, а новые, истинно местные, лишь только должны появиться. Израиль становится — можно сказать, "неизбежно" — обычным, нормальным, рутинным. Идеологические бои отгремели, и исход их во всех планах уже известен. С уходом Бегина сошли со сцены все идеологические львы. Израиль поворачивается теперь к более прозаическим проблемам повседневного существования. Его первая идеологическая эпоха завершилась. Но если вспомнить о многовековой истории еврейских разногласий и изощренных умственных поисков, то можно с уверенностью сказать, что и сказание об израильской идеологии еще далеко от завершения. И хотя некоторые догадки о характере будущих битв можно высказать уже сегодня, нам придется запастись терпением, прежде чем мы увидим, как развернется следующая глава этой еврейской идеологической саги.

С. Леман-Вильциг — преподаватель факультета политических наук в университете Бар-Илан (Израиль).

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА : ГРЕЗЫ И ПРОБУЖДЕНИЕ

Израильский социализм, зачатый около 80 лет назад, был плодом весьма сомнительного брака между еврейской традицией социальной справедливости и восточноевропейской, в основном русской, традицией социальной мечты. Но хотя родители социалистического сионизма постоянно находились на грани развода, они сумели передать своему детищу достоинства обеих этих традиций.

В иудаизме всегда сохранялось твердое убеждение, что все люди равны перед Богом: внезапное озарение способно превратить крестьянина в пророка, пастуха в царя и простака в цадика. Это убеждение побудило еврейские общины в изгнании разработать высоко развитые системы социальной помощи, которые занимались не только материальными, но и духовными нуждами людей. Даже испытывая крайнюю нужду, общины никогда не допускали, чтобы кто-то из их членов умирал с голоду или оставался неграмотным. Религиозные убеждения побуждали евреев рассматривать образование, как одно из фундаментальных человеческих прав и первейшую социальную обязанность.

Русские гены социалистического социализма идут не столько от теоретиков типа Чернышевского, Герцена или Бакунина, сколько от великих русских писателей XIX века — либерала Тургенева, мистического народолюбца Толстого и пылко сострадавшего униженным Достоевского. Толстовское презрение к вырождающейся знати вызвало неожиданный отклик в еврейских юношах и девушках, которые задыхались в душливой атмосфере еврейской мелкобуржуазной среды. Они сочли, что призыв Толстого вернуться к земле, слиться с крестьянами, просветить их и самим исцелиться через незамутненную простоту сельской жизни в равной мере приложим и к ним. В христианском идеале самопожертвования вплоть до самоотречения, который проповедывал Достоевский, они увидели выход из бесцельности собственного существования. Разумеется, они не сумели окружить толстовской любовью арабского феллаха, и потому им самим пришлось играть сразу обе роли — народника и крестьянина. Возрождая заброшенную землю, они одновременно просвещали и воспитывали сами себя. Они осушали болота и спорили о социальном, политическом, этическом и даже теологическом смысле каждого своего шага. В те далекие ночи Галилея не раз ста-

новилось сценой многих драматических душевных обнажений и исповедей.

В тогдашней Палестине абсолютно нечего было “революционизировать” — ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни больших городов, ни даже настоящих деревень. Поэтому еврейским преобразователям мира оставалось атаковать лишь собственную душу, друг друга и — всего яростнее — непокорную землю. Они создали всевозможные типы коммун, рабочих бригад, культурных комитетов и т.п. Их лозунгом было “переделать страну и себя с ней”. Они особенно акцентировали эту необходимость перестройки человеческой природы, преобразования еврейской психологии. Тем не менее, оглядываясь назад, нельзя не заметить, что эти идеалисты были чрезвычайно практичны. Они пробовали различные формы сельскохозяйственной кооперации, отбрасывая оказавшиеся непрактичными; учились экономить; овладевали искусством пусть и непрочного идеологического компромисса. Они не были прожектерами: в них была целеустремленность без фанатизма; они были прагматиками, которые лишь притворялись догматичными. Конечно, у них были свои принципы и убеждения, но все это умерялось высоким уважением к реальности.

Оглядываясь назад, невозможно избежать ощущения, что величайшим преимуществом израильского социализма было то, что ему все пришлось начинать с нуля. Ему нечего было захватывать, подчинять или даже реформировать: перед ним была целина, и на ней он создал промышленность, поселения, социальные институты и культурные учреждения, отличавшиеся небывалым эгалитаризмом — поселения принадлежали поселенцам, фабрики рабочим, издательства читателям, а банки вкладчикам. Пионеры выработали методы управления и контроля, основанные на обсуждении и убеждении, ибо у них попросту не было иных рычагов воздействия, кроме общественного мнения. Их руководители получали зарплату пропорционально величине семей, а не месту в иерархии: долгие годы генеральный секретарь Гистадрута получал меньше денег, чем гистадрутовская уборщица.

Не нужно идеализировать — руководство догосударственного Израиля не гнушалось использовать квазибольшевистские методы для манипулирования общественным мнением; на протяжении десятилетий оно вело безжалостную борьбу с правым, националистическим и религиозным лагерем; в его истории было всякое. И тем не менее в целом тогдашний Израиль отличался высшей степенью

участия каждого в общественных делах и был скорее "совокупностью мнений", чем "нормальным государством". Он был на пути к превращению в образцовое общество, открытое для обсуждения и участия, в общество с уникальными моральными критериями и уникальной, ориентированной на будущее общественной мыслью, на пути к превращению в небольшую социальную лабораторию современного демократического социализма, или, как выражались в старину, в "свет для народов".

Почему же он не стал таким? Тому было несколько причин и, прежде всего, — массовая иммиграция остатков уцелевшего от Катастрофы восточноевропейского еврейства и евреев Ближнего Востока. Некоторые из новоприбывших хотели, чтобы Израиль стал просто осколком довоенной буржуазной Центральной Европы с ее красными черепичными крышами и хорошими манерами, "фрау директор" и "герр доктор", с ее мещанской опрятностью и баварскими сливками. Для них социализм был то же, что анархия, покушение на частную собственность, а для многих — попросту сталинизм. Массы ортодоксальных евреев хотели создать здесь повторение еврейских гетто. Для них социализм означал кощунство и атеизм. Североафриканские евреи, со своей стороны, принесли с собой привычки французского среднего слоя — консервативного, пуританского, религиозного, в высшей степени почитающего иерархию и семейные узы, зараженного шовинизмом, милитаризмом и ксенофобией. Вместе с польскими и румынскими иммигрантами они хотели превратить Израиль в "прилично" общество. Вид премьеры в хаки и с открытым воротником был для них оскорбителен. Они хотели называть своих начальников "господами", а не "товарищами", они хотели подчиняться начальству и приказывать подчиненным, они ненавидели социалистических "фантазеров", которые пытались превратить их в рабочих и крестьян, покровительствовали им, а порой жестко подавляли их стремления, выдвигая теорию "плавильного котла" и демонстрируя откровенное презрение к этой иммигрантской массе, которую считали "отсталой", "примитивной" и "реакционной". Многие из новых иммигрантов видели в израильском эгалитаризме угрозу религии, традициям и семейным устоям. Они готовы были примириться с тем, что до поры до времени обречены на вторые роли, но люто ненавидели израильские обычаи, по которым президент государства может жить в обычной квартире (как действительно жил президент Бен-Цви) и подменять в сторожевой будке у своих ворот уставшего полицейского. Они

жаждали царя или, по крайней мере, такого лидера, перед которым можно преклоняться. Они хотели, чтобы страной управлял “респектабельный джентльмен” в безукоризненном фраке, целующий ручки дамам, посещающий синагогу или хотя бы прибегающий в своих речах к ссылкам из Библии, вождь, который персонифицировал бы собой тот факт, что евреи превратились в “порядочный” народ, подобный всем остальным. Короче, они хотели господина Бегина и они наконец получили его, когда старая гвардия толстовцев и всемирных реформаторов сошла с израильской политической сцены.

Забавно, что сама эта гвардия в течение многих лет подавляла подобные инстинкты в себе. Отцы-основатели десятилетиями боролись с собственным буржуазным, консервативным, ортодоксальным воспитанием. Вот почему навстречу растущему требованию “нормализации” они с облегчением ответили готовностью дать массам побрякушки желанной государственности — “мамлахтиута”, как определил это Бен-Гурион. Глубоко почитая теорию и мечту, Бен-Гурион столь же глубоко верил в силу организации и системы власти. Он испытывал сильное воздействие Октябрьской революции и личности Ленина и в то же время навсегда сохранил свои демократические убеждения и восхищение Западом. Он ощущал, что Израиль нуждается в регулярной армии, а не в молодежных дискуссионных отрядах, в правительстве, которое будет править, а не убеждать, в министерствах, которые будут работать, а не заниматься идеологией, короче — в организованных государственных формах.

Его оппоненты из ветеранов-социалистов и новое поколение киббуцных интеллектуалов возражали против этой смены курса. Подспудная борьба нового со старым нашла отражение в бесчисленных коалициях, которые Бен-Гурион формировал одну за другой — сначала с религиозными партиями, а затем даже с главной партией консервативного лагеря. Это была трагическая борьба против неизбежного: подавляющее большинство новых иммигрантов голосовали за “респектабельность” против эгалитаризма. С уходом со сцены Бен-Гуриона, а затем Леви Эшкола, Израиль окончательно вступил на путь превращения в стандартное государство благосостояния с растущей тенденцией к американизации. Все прочее было вызвано молниеносной израильской победой в Шестидневной войне. “Русскость” и хасидизм, галутская чувствительность и мечты о переустройстве мира уступили место библейским клише, территориальным амбициям и упоению военной мощью. Молодые полити-

ческие и военные кумиры — Даяны и Шароны — стали символом нового израильского самоощущения, в котором глубокий пессимизм совмещался с безжалостностью и циничным отрицанием всех идеалов, кроме героического патриотизма.

Предельным выражением этого процесса явился Менахем Бегин.

Но именно при власти Бегина все больше и больше израильтяны стали ощущать беспокойство и неудовлетворенность. Жизнь в маленьком воинственном национальном государстве, вооруженном до зубов, культивирующем библейские сантименты, поворачивающем к средневековому религиозному фундаментализму и вульгарным концепциям "осады" и "возмездия", стала казаться все более раздражающей и нестойкой. Стал ощутим подспудный сдвиг к далеко идущей переоценке ценностей.

Конечно, простой возврат к толстовско-хасидским экспериментам 60—70-летней давности невозможен. Пацифистский Израиль не может выжить в фанатичном и фундаменталистском арабском море. И тем не менее я вижу в этих давних мечтаниях поразительно свежие и актуальные элементы, которые могут быть воскрешены и воплощены в жизнь, когда Израиль, рано или поздно, будет разбужен от грез жестокой пощечиной грубой реальности. Мечтатели были правы, когда с самого начала предсказывали, что государство не самоцель, а лишь средство, что общество может быть творческим, изобретательным и динамичным лишь в том случае, если его граждане не теряют своей индивидуальности, не ощущают себя анонимными песчинками. Быть может, ранние сионистские модели небольших социальных ячеек, где люди работают, живут, спорят, обсуждают и творят внутри "границ ответственности и гордости", могут стать искомым выходом из нынешнего кризиса западной социальной демократии — ведь сказал же А.Д. Гордон, что два самых глубоких и приносящих наибольшее удовлетворение человеческих переживания суть творчество и ответственность. Любое общество, отказывающее своим гражданам в этих величайших человеческих радостях, будь то общество капиталистическое или бюрократически-социалистическое, превращает людей в калек.

Сегодня Израиль разделен не между ястребами и голубями, ортодоксами и неверующими, капиталистами и антикапиталистами. Он разделен по фундаментальному вопросу — как толковать сионизм? Никто не говорит, что нужно вернуться вспять или возродить прошлое. Невозможно вернуться в эйфорические первые десятилетия, но возможен процесс мучительного пересмотра идеологиче-

ских, этических и политических концепций. Осажденное врагами, разочаровавшееся в иллюзии интернациональной солидарности, сотрясаемое нескончаемыми войнами, разъединенное мелкобуржуазными, религиозными и шовинистическими настроениями, израильское общество тем не менее продолжает хранить свою скрытую мечту. В его недрах все еще скрывается "спящая красавица".

Остальное — в руках будущего.

А. Оз — известный израильский писатель ("Мой Михаэль"; "Коснись травы, коснись ветра" — в "22", "Поздняя любовь" в ж-ле "Сион"). Живет и работает в кибуце Хульда.

Александр Гордон

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Трудно сказать, сколько было в истории стран победившего антисемитизма. Известно только, что нас, евреев, не любили многие, много и часто. И временами мы не выдерживали и от неразделенной любви к себе переходили к разделяемой другими нелюбви к нам. Тогда мы обычно погружались в любовь к Германии, Польше, Франции или России. А когда поблизости не стало Германии или Польши, в нашем сердце зажглась любовь к арабам. Мы настолько пропитались чужой нелюбовью к нам, что стали рассматривать себя со стороны, говорить о себе в третьем лице. Наша новейшая история — сплошной поиск и примерка чужих лиц, а не попытка реставрировать свое.

Когда в Аргентине восстанавливается демократический строй, мы возвращаемся туда, ибо аргентинский, немецкий, советский или американский вопрос для нас важнее порой, чем еврейский. Мы любим быть революционерами — в России тогда и в Аргентине сейчас. Мы любим нести бремя чужих забот. И мы охотно становимся жертвами психологического синдрома "презумпции виновности": еврей всегда должен доказывать свою невиновность. Так возникает тип "хорошего" еврея. Такой "хороший" еврей видит в себе противовес каким-то "плохим" евреям, которых — по мнению "хорошего" — не любят не напрасно и из-за которых якобы и существует антисемитизм. Отчего иногда можно услышать среди русских евреев в Израиле: "С русскими евреями дела иметь нельзя, я кон-

тактирую только с местными". Антисемитизм глубоко проник в нашу душу, стал условным рефлексом. В России такой "хороший" еврей считал себя счастливым исключением из дурного правила — из массы "плохих" евреев. В Израиле он считает себя "настоящим" израильтянином, в корне отличающимся от "деградирующего" русского еврейства. Когда стыдно походить на еврея, хочется избавиться от еврейства бегством в "израильтяне" (как раньше — в русские, французы, австралийцы).

Тип "хорошего" еврея можно встретить в разных вариациях. Профессор Иешаягу Лейбович, один из лидеров новой партии "Передовое движение за мир" (два мандата в Кнессете: адвокат Мияри, араб, и отставной генерал Пелед, еврей), произносит следующую фразу, повторенную 20 июля 1983 года "Литературной газетой": "Политика нынешнего израильского правительства — иудео-нацистская политика". Этот идеолог "Передового движения за мир" (еще одного движения за "мир сегодня") говорит то, что антисемиты хотели бы услышать. "Хороший" еврей оправдывает надежды. Помните наше любимое занятие — отыскивать антисемитов среди одних известных людей и евреев — среди других? Оказывается, в эту игру можно играть не только в галуте. В лице профессора Лейбовича, разъезжающего по стране с лекциями, в которых отрицается право народа Израиля на землю Израиля, мы имеем сразу и еврея, и антисемита.

Однако в нашем Кнессете есть еще и не то. В дополнение к антисемитской партии, в которой активную роль играют евреи, там появилась антиарабская партия, в которой, впрочем, арабов нет. Призыв этой партии к выселению арабов вызвал возмущение в еврейском и других мирах. Ведь, как известно, выселять можно только евреев, арабов выселять нельзя. К выселению евреев привыкли все, включая самих евреев. Поэтому еврейский президент отказывается говорить с главой антиарабской партии, хотя тот был избран в Кнессет демократическим путем. Еврейский президент принимает в это время лидера антиеврейской партии, сочувствующего ООП и считающего нас колонизаторами.

Колонизаторами быть плохо. Англия и Франция, посчитав себя колонизаторами, ушли из Азии и Африки. Но им было куда уходить. Нам — некуда. Англия и Франция, посчитав себя колонизаторами и уйдя из Азии и Африки, остались Англией и Францией. Израиль, посчитав себя колонизатором и последовав их примеру, попросту перестанет существовать. Но мы уверены в себе. Мы настоль-

ко уверены в себе, что заводим у себя героические движения вроде "Мир сегодня". А где же встречное движение "Мир сегодня" среди арабов? Там мы видим только большое движение "Война сегодня". И завтра тоже. Поэтому сегодня у нас не мир, а всего лишь правительство трогательного единства. Оно трогает нас за карман, а рава Кахане в едином порыве — за шиворот: расист! Оно копирует единство в ООН, осудившей нас за расизм — еще до рава Кахане. Мы опять берем пример с антисемитов. Не в первый и не в последний раз. Мы вновь видим себя в зеркалах чужой нелюбви. Когда-то Нарцисс влюбился в свое отражение и умер от любви. В отличие от Нарцисса, мы свое отражение невзлюбили. От любви умирают, от нелюбви забывают. Мы забыли что-то в себе и о себе. От забвения тоже умирают — только не сразу, умирание может быть долгим и даже сопровождаться временным процветанием. Но есть у нас и умирающие от любви. От любви к арабам умирают сегодня израильские левые.

Наши левые — это герои, уверенные, что можно выжить, отдав половину еврейской земли. Опасаясь, что страна станет нееврейской из-за многочисленности арабов, они готовы отдать ее самую еврейскую часть — Иудею и Самарию. "Безумство храбрых — вот мудрость жизни". Евреи Германии тоже были уверены в себе и в своем окружении. Созерцание национальных героев устрашает. Предпочтительнее "национальные трусы", которые боятся потерять — страну, народ и самих себя.

Англия и Франция оставили колонии. Но колонии двинулись вслед за ними, потому что им плохо без колонизаторов. Лондон и Париж стали городами цветных. В Англии и во Франции не меньше арабов, чем в Израиле. Может, когда-нибудь английским или французским арабам придет в голову основать где-то в Европе палестинское государство. Ведь всюду, где есть арабы, должно быть, как известно, арабское государство. Но пока это Европе не грозит, ибо есть смелые, демократичные, "хорошие" евреи. Они внушают арабам, что палестинское государство лучше построить на территории Эрец-Исраэль. Они уверены в своих арабах. Арабы тоже уверены в своих евреях. Арабы не уверены только в своих арабах. Они боятся арабской резни. Евреи не боятся ничего. Еврейский Высший суд справедливости санкционирует участие сторонника ООП в выборах в Кнессет. Это вершина нашей справедливости. Ну, а как насчет справедливости вокруг нас?

Сто лет назад один из теоретиков новейшего антисемитизма Ев-

гений Дюринг в своей книге "Еврейский вопрос как проблема расы, нравов и культуры" писал: "Не в духе нашего времени громить евреев во имя религии — теперь эту роль должна выполнять раса. Что касается дров, чтобы разложить костер средневековья, что отсырел немного, то надо подлить туда современной нефти, чтоб разгорелся большим пламенем..." Дюринг предсказал то, что нынче нам уже хорошо известно: "современная нефть" поддерживает сегодня огонь антисемитизма. Политика и совесть западного мира (нуждающегося в топливе, чтобы комфортабельно прожигать жизнь) приобрели радужный нефтяной перелив. Запах арабской нефти перебивает запах еврейской крови, проливаемой "борцами за палестинское дело". Газовая откровенность печей сменилась нефтяным лицемерием голосований в ООН. Некогда римляне изобрели слово "Палестина", чтобы стереть память о непокорной Иудее. Сегодня этим словом пользуются, чтобы стереть с лица земли неудобное еврейское государство.

Но мы не боимся. Героизм в Израиле достиг высшей точки. Мы смело боремся за гражданские права наших врагов. Мы храбро допускаем своих врагов в Кнессет. Мы без колебаний готовы отдать им часть Эрец-Исраэль. Мы обвиняем самих себя в расизме и фашизме. Мы бесстрашно тратим деньги, которых у нас нет.

Народ Израиля переживает героический период своей истории.

А. Гордон — репатриант из СССР, израильский журналист (ряд статей опубликован в журналах "22" и "Кинор"). Живет и работает в Хайфе.

Авигдор Эскин

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Вызов Кахане. Сегодня Израиль стоит перед одним из самых серьезных политических и идеологических вызовов в своей истории. Этот вызов брошен раввином Меиром Кахане. После трех неудачных попыток пройти в Кнессет, Кахане на последних выборах поразил даже своих сторонников, приблизившись к завоеванию двух мандатов. Сразу же после своей победы на выборах лидер "Лиги защиты евреев" вызвал на себя огонь со стороны контролируемых правительством средств информации, заявив, что он предпочитает еврей-

ские ценности, даже если они вступают в противоречие с принципами демократии. И вот уже целый год мы являемся свидетелями яростной кампании "от имени и в защиту" демократии. Явление, получившее в прессе название "каханизма", побудило председателя Кнессета Шломо Гилеля создать специальный "комитет в защиту демократии". Защитники этой греческой системы управления государством, вошедшие в комитет, представляют самые разные течения в израильской общественной жизни — от деятелей Рабочей партии до откровенных сторонников коммунизма.

Можно было бы напомнить высказывания Берла Каценельсона или Давида Бен-Гуриона, предлагавших решить нашу внутреннюю проблему отношений с арабами посредством их выселения; но в устах Кахана эта идея приняла форму вызова всей существующей системе. Подлинной причиной нынешней бури видится именно этот вызов, брошенный Меиром Кахана самому принципу либеральной демократии, как высшему принципу в еврейском государстве. **Демократия и демография.** С первых же дней зарождения политического сионизма идеологи возвращения евреев на свою землю открыто заявляли о праве еврейского народа на суверенное государство в тогдашней Палестине. Арабское большинство не принимало в расчет, когда шла речь о "национальном очаге для евреев". Лидеры сионизма не признавали за арабами права на суверенное государство в Палестине, хотя те и располагали тогда численным большинством.

Такой подход трудно назвать демократическим. Трудно также назвать демократическим и "Закон о возвращении", гарантирующий израильское гражданство одним лишь евреям сразу по их прибытии в страну.

Ежегодный прирост арабского населения ставит либеральных сионистов перед непростой дилеммой, которую ясно выразил арабский учитель Наама Сауд: "Сегодня мы в меньшинстве. Но Израиль — демократическое государство. Кто гарантирует, что в 2000-м году мы тоже будем в меньшинстве? Сегодня я принимаю еврейское государство с арабским меньшинством. Однако когда мы станем большинством, я не соглашусь на еврейское государство с арабским большинством".

В то время, как любой "демократ" обязан согласиться с Саудом, ответ подлинного сиониста будет иным: еврейский народ имеет вечное право на еврейское государство в земле Израиля. И тут выходит на сцену Кахана и ставит перед сионистами нелегкий вы-

бор: ждать 2000-го года или искать решение проблемы немедленно? Вместе с ним молчаливое большинство израильтян начинает спрашивать своих лидеров: "Чего мы ждем? Надоело слышать о бомбах и зверских убийствах, ведь здесь не Кишинев!"

Искусственная попытка делить проживающих на нашей территории арабов по "признаку 1967 года" теряет всякий смысл в свете прироста арабского населения в рамках "зеленой черты". Интересно, что почти 90% этих жителей Израиля желают его немедленного уничтожения. Наама Сауд может быть причислен к "умеренному" меньшинству.

Поставленная равом Кахане дилемма: "демократия — демография" — встречает резкую критику даже среди националистических израильских партий Херут и Тхия. По мере роста этой критики растет и популярность идей лидера "Ках". Когда пресс-атташе Тхии сравнил еврейское подполье с ООП, Кахане завоевал себе дополнительных сторонников своей безоговорочной поддержкой ответных акций евреев.

Но в центре споров, повторяю, не частности, а сама концепция либеральной демократии в еврейском государстве. Тхия, Херут, друзья Израиля в США не видят противоречия между демократией и еврейскими принципами. Более того, известный "христианский сионист" Эд Макафир обрушился на страницах газеты "Нью-Йорк Таймс" с резкими обвинениями на тех, кто "подрывает базу поддержки Израиля как единственной демократии на Ближнем Востоке". Как Макафир, так и секулярные националисты в Израиле не любят говорить о 2000-м годе. А ведь уже сегодня депутат Кнессета от "Прогрессивного движения за мир" Мухаммед Миари заявляет, что сторонники палестинского государства — третья сила в Кнессете. **Корни еврейской демократии.** Спор, таким образом, идет о том, можно ли решить проблемы Израиля демократическим путем. Этот спор связан с самой философией, даже можно сказать — "теологией" современной демократии. Когда израильские жрецы демократии защищают право коммунистов и "прогрессивных" сотрудничать с Арафатом, они напоминают о демократических принципах; когда кто-то думает иначе, его называют "антидемократом" и обвиняют в "нанесении ущерба демократии в Израиле". И одновременно, от имени той же демократии, запрещают выступления Кахане по радио и телевидению.

Не случайно Сократ призывал точно определять используемые термины и понятия. Он понимал опасность искажения смысла

слов с целью сокрытия истины. Сегодня лево-либеральная пресса приравнивает демократию к свободе, справедливости и плюрализму. Но если мы последуем совету Козьмы Пруткова и посмотрим в корень, то увидим, что еще Аристотель называл демократию "властью черни". Само по себе слово "демократия" в переводе с греческого означает "власть народа", а практически представляет собой такую форму правления, когда "представители народа действуют в соответствии с принципом власти большинства".

Первым известным оппонентом демократии был Сократ, заявивший во время суда, признавшего его виновным: "Жители Афин! Я уважаю и люблю вас, но послушен буду Б-гу, а не вам". Некоторые историки видят главную причину смертного приговора Сократу в его борьбе против примитивной демократии. Ученик Сократа Платон пошел еще дальше, назвав демократию худшей формой правления после тирании. История Сократа наводит на грустные размышления о возможной участи великого философа, живи он сегодня среди нас. Апостол либеральной демократии, юридический советник правительства Ицхак Замир возбудил бы, по всей вероятности, против Сократа уголовное дело за подстрекательство против демократии. Остается надеяться, что израильские судьи оказались бы терпимее к воззрениям Сократа, чем их коллеги в демократических Афинах.

Закат эллинской цивилизации обрек демократию на многовековую спячку. Лишь идеологи Возрождения возродили идеи и культуру эллинов, открыв этим новую страницу в европейской истории. Итогом начатого этим сложного исторического процесса явились две основные формы демократии, которые мы видим в современном мире: конституционная и тоталитарная.

Коалиция верующих христиан и деистов, возглавлявших американскую революцию, создала, как известно, одну из самых справедливых форм правления в истории. Однако деятели американской революции видели свободу и справедливость лишь в рамках религиозной концепции. Даже те из них, кто был подвержен влиянию идей Просвещения, говорили не о "правах человека", а о "данных Б-гом правах". Американская конституция создала основу для ограничения государственной власти, установив принцип разделения власти и права местных органов управления. Патриархи американской идеи сделали даже еще один шаг в сторону признания приоритета духовных ценностей в общественной жизни, когда объявили в некоторых штатах религиозные принципы основой

для принятия политических решений. В целом предложенный ими способ управления можно лишь с определенной натяжкой назвать "конституционной демократией", ибо власть большинства здесь ограничена множеством законов, которые не легко изменить даже путем "демократического голосования". Увы, в современной Америке эти идеи конституционной республики все больше отступают перед волной либерализма.

Вожди французской революции, подобно афинянам, были далеки от идей ограничения власти. Более того, возведя в ранг принципа "тотальную мобилизацию" народа, эти революционеры создали невиданную машину подавления. Кровавое восстание масс заложило основу нынешней тоталитарной советской демократии. Тотальная мобилизация масс в коммунистических странах дает право называть их строй "народной демократией". Очевидно, что такая демократия несовместима с понятиями свободы, добра и справедливости; тем не менее путь коммунистов и фашистов к власти всегда и неразрывно связан именно с революционным энтузиазмом большинства.

Трудно спорить и с Гитлером, завоевавшим поддержку немецкого народа под лозунгом "тевтонской демократии". Фюрер говорил о праве нации выбрать лидера, который будет выражать ее чаяния. Как не вспомнить тут Руссо с его теорией "воли народа"? И кто сказал, что призывы поработать и убивать не есть иногда выражение этой воли?

Подобно создателям американского общества, английский философ Джон Стюарт Милль видел в неограниченной демократии опасность "тирании большинства". Это побудило его требовать ограничения демократии, когда "данные Б-том свободы" будут тем достоянием, которое большинство не сможет узурпировать. Однако, как и в Соединенных Штатах, в большинстве стран Запада конституционные ограничения становятся сегодня все слабее. Мы действительно видим торжество демократии в ее чистом виде, когда она не делит ложе даже с конституцией или с коммунизмом, а является высшей инстанцией в общественной и частной жизни. **Демократия в чистом виде.** Свергнув с пьедестала традиционные ценности, "чистая" демократия, если вдуматься, провозглашает отсутствие вечных и универсальных принципов (за исключением самой демократии, разумеется). Предписание следовать выбору большинства становится основным критерием различения добра и зла. Правило: "Один человек — один голос" — не просто рацио-

нальная система выявления мнений большинства; это — философский критерий, отрицающий иерархию принципов и ценностей. Раз все люди равны, то равны и моральные принципы каждого. На языке международной жизни это означает признание равенства всех существующих ныне политических систем. Проще говоря, демократия оказывается ярким выражением морального релятивизма.

Проповедуя “историзм” (“что было правильно когда-то, не обязательно верно сегодня”), демократ-релятивист отрицает библейские принципы традиционной семьи. Морально оправданным для него становится так называемый “прогрессивный”, “современный” образ жизни, ибо большинство принимает этот образ жизни как естественную форму существования. Демократ-релятивист поддерживает “сексуальное воспитание” в школах, фактически лишая детей возможности видеть любовь и секс в рамках семьи. Демократу-релятивисту не мешает факт отсутствия у детей при этом свободы выбора отвергнуть марксистский, в сущности, идеал разрушения семейной ячейки общества.

Релятивист проповедует свободу вероисповедания, что на практике выражается в запрете на коллективную молитву в американских государственных школах. Он защищает право женщины решать, хочет ли она рожать ребенка, тем самым лишая нерожденных детей права на жизнь.

Та же логика прослеживается и в общественных проявлениях демократического релятивизма. Можно справедливо возразить, что большинство “чистых” демократов — либералы. Но когда основное кредо демократии, равенство, вступает в конфликт со свободой, всегда можно предсказать, что выберут “герои нашего времени”. Для “чистого” демократа равенство означает равное распределение государственных благ и экономическое равенство людей. Иными словами, он открывает путь социализму и усилению государственного сектора. Именно “чистые” демократы стремятся дать государству законную силу и моральное право перераспределять общественное и частное имущество. Отсюда понятна связь между демократией и тоталитаризмом.

У нас порой вызывают удивление факты поддержки западными странами тоталитарных режимов. Европейские союзники США ни словом не обмолвились об оккупации Гренады Кубой, но дружно осудили американскую военную акцию, вернувшую этому острову свободу. И как не вспомнить “миротворцев” из госдепартамента

США, когда заходит речь об уходе из Вьетнама или плане Рейгана?! Демократы-релятивисты неспособны противостоять силам зла на политической арене, потому что не верят в их существование. "Чистые" демократы верят в равенство моральных принципов в политике, поэтому они всегда пытаются "видеть обе стороны медали" и готовы на этом основании даже оправдать акции врагов свободного мира. Как это ни трагично, но суть "умиротворения" и "мира сейчас" лежит в самой природе демократии.

Говоря о "слабости Запада", следует понимать, что именно демократический релятивизм является причиной ослабления западного мира и его склонности к пораженчеству. Это ярко проявляется в тех случаях, когда выбор между свободой и тоталитаризмом требует однозначного ответа. На первый взгляд, демократы в таких случаях всегда стремятся найти компромисс и вступить в переговоры о мире. В действительности, однако, это компромиссы такого рода (например, передача Чехословакии в руки Гитлера в 1938-м году или поддержка Францией кровавого марксистского режима в Никарагуа сегодня), что неизбежен вопрос: способна ли вообще демократия не то, что сдерживать, но хотя бы не поощрять силы зла?

Эта проблема была четко сформулирована выдающимся французским мыслителем Жаном-Франсуа Ревелем: "Было время, когда вас называли империалистом, если вы вторгались на чужую территорию и навязывали независимым народам власть, которую они отрицали. Сегодня вы — империалист, если выступаете против такой агрессии".

В основе всех противоречивых действий и воззрений демократа-релятивиста лежит убеждение, что все идеи и принципы равны. Он не может назвать коммунизм или нацизм злом — ведь этим он нарушит священный принцип равенства идей. Он не может признать за духом право на независимое существование — ведь тогда он должен признать приоритет духовного над материальным. В парламенте "демократии в чистом виде", строго говоря, следовало бы один голос отдать Б-гу, один — Сатане. Но вот тут-то оторвавшийся от самой идеи Творца релятивист готов, скорее, поступиться принципом равенства и даже, пожалуй, предпочесть союз с силами зла, чем признать иерархию творения.

Не случайно израильский историк Яков Тальмон в своей книге о тоталитаризме приходит к выводу, что тоталитарный режим является, в определенном смысле, последствием либеральной демо-

кратии. Тальмон видит корни тоталитаризма в тех же идеях, на которых основана демократия: "Тоталитаризм – результат представлений ХУШ века о естественном порядке и идеала Руссо о самовыражении народа".

Разумеется, эта общность корней вовсе не означает, что каждый демократ-релятивист прямым образом и сознательно содействует силам зла. Немало апостолов равенства и демократии восставало против превращения либерально-демократической системы в тоталитарную. Но эти частные примеры, как бы много их ни было, не меняют общей картины нынешнего ослабления конституционных основ демократии и ее постепенного перехода в тоталитаризм.

В политическом плане демократ стоит перед экзистенциальным выбором между свободой и коммунизмом. Общие идейные корни тянут его к коммунизму; он не может признать, что коммунизм есть зло, ибо это противоречило бы его образу мышления; противостояние коммунизму требует от него признания приоритета свободы над равенством, признания иерархии творения; а принятие такой иерархии неизбежно ведет к признанию Б-га творцом человека и вселенной, то есть, в конечном счете, – к необходимости исполнять предписанные Б-гом законы.

Перед подобной дилеммой стоит не только каждый человек, воспитанный на западной культуре, но и еврейское государство сегодня.

Библейская альтернатива. Ставшее волей Провидения центром мирового конфликта еврейское государство на первых порах могло служить примером способности демократии сражаться и побеждать. Однако во всех последних дипломатических битвах стоявшие во главе Израиля демократы-секуляристы потерпели поражение. Отсутствие убежденности в вечном и единственном праве еврейского народа на Землю Израиля привело к признанию и за арабами права на эту землю. Искренний патриотизм Менахема Бегина не устоял перед его либеральным мышлением, заставившим его подписать соглашения о капитуляции в Кемп-Девиде, включавшие признание "законных прав палестинского народа". Будучи националистом-демократом, Бегин не сумел определить агрессию ислама как проявление зла, а не просто конфликт между двумя народами. Он вел переговоры с египетским диктатором, как с коллегой-либералом. Стоит отметить, что Садат сделал все, чтобы убедить Бегина и Картера в своем "либерализме"; в результате его "мирная агрессия" увенчалась успехом.

Демографическая проблема, угроза извне — все это требует выработки ясных моральных принципов, без которых никакая военно-политическая стратегия не способна ответить на возникающие проблемы. Отсутствие конституции в Израиле делает нынешний строй необычайно уязвимым, что признают и его архитекторы. Лишь полная анархия в системе законодательства может объяснить решение комиссии Кнессета отстранить от выборов и “Прогрессивное движение за мир”, и движение “Ках”. (Это решение было позднее аннулировано Верховным судом.) Эти два движения диаметрально противоположны: Мухаммед Миари добивается палестинского государства на территории Израиля, а раввин Кахане борется за еврейский дом без арабской угрозы изнутри. Это тот случай, когда законодатели обязаны были занять ясную позицию, отдав предпочтение одному из движений. Но снова восторжествовал релятивизм!

Раньше или позже страна вынуждена будет провозгласить конституцию, в которой будут ясно сформулированы цели существования Израиля. Наши социалисты и левые уже готовы к этому. Стоит попросить Шуламита Алони или Йоси Сариду, и они тотчас составят свод законов, выражающих идеалы французской революции и еврокоммунизма. Им будут противостоять все те, кто гордится теми законами и той этикой, которые еврейский народ дал человечеству в рамках Библии. Кажется странным, что в то время, как создатели США открыто заявляли о своем стремлении к библейскому государству, народ Библии пользуется английской и турецкой системой законов, охраняющих греческую форму правления. Конфликт исповедуемых множеством израильтян идеалов иудаизма с философией либерализма требует разрешения. Это разрешение видится нам на библейских путях. Это не означает призыва к теократии. Разговоры о теократическом решении израильских проблем не только представляют в искаженном свете библейскую модель государственного устройства, но и затушевывают важнейший вопрос о сохранении национальной свободы. Теократическая диктатура далека от идеи ограниченной власти почти в той же степени, что и авторитарные или военные диктатуры.

Но библейская модель отличается не только от теократии, но и от демократии. Разговоры о совместимости демократии и иудаизма, введущиеся людьми не сведущими ни в демократии, ни в иудаизме, не отменяют фундаментального идейного конфликта между этими двумя концепциями. Тора провозглашает субординацию и

иерархию в творении. Идея избранного — для служения Б-гу — народа (как и понятие Святой Земли) вряд ли имеет что-то общее с принципом релятивизма. Можно вообще отвергать концепцию Торы, но пытаться придать ей демократическую окраску — значит лишить всякого смысла многовековой спор еврейского монотеизма с язычеством и атеизмом разных видов.

Однако потенциал избранности не может быть реализован в рамках принуждения или детерминизма. Только свобода выбора между добром и злом делает добродетель реальностью. Поэтому государственный идеологический контроль, будь то теократия или другая форма деспотизма, противоречит сути библейской модели управления и власти.

Взвешивая возможность признания Библии нашей конституцией, следует прежде всего решить, хотим ли мы, чтобы наше государство было еврейским не только по форме, но и по содержанию. Конечно, приняв Библию за основу законодательства и решения государственных проблем, мы не получим немедленных однозначных и готовых ответов на все вопросы; они могут появиться лишь в итоге свободной дискуссии. Однако этим шагом мы провозглашаем определенные категории абсолютными и неизменяемыми и отказываемся от абстрактного морального релятивизма. Мы принимаем целый ряд конкретных ограничений. Библейская модель, например, предусматривает разделение власти между исполнительным органом — малхут, парламентом — сангедрин и духовными служителями (Храм); разделение и ограничение власти выражается, среди прочего, и тем, что система финансирования государственных органов и Храма должна быть независимой. Далее, Талмуд строго запрещает государственный контроль экономики и поощряет частную инициативу как в производстве, так и в филантропии. Библейский парламент тоже резко отличается от сегодняшнего Кнессета: в нем не могут заседать люди, подобные Меиру Вильнеру и Мухаммеду Миари, ибо его депутатами могут быть лишь те, кто признает конституцию страны.

Этот перечень можно продолжить. Но важнее подчеркнуть главное. Вопрос о будущем еврейского государства не ограничивается проблемой Иудеи и Самарии. Границы между "левыми" и "правыми" стираются, когда секулярные националисты из Тхии предлагают нам социалистический Израиль без территориальных уступок, а некоторые из их лидеров не скрывают своего атеизма и поддержки аборт. Глубокий духовный, политический, экономи-

ческий и идеологический кризис вряд ли может быть преодолен путем частичных уступок здравому смыслу. Беспощадная рука Провидения ставит нас перед экзистенциальным выбором — между добром и злом. И я не уверен, что это, как прежде, — выбор между библейским государством и философией мюнхенских соглашений. Сегодня все яснее видно, что время заставляет нас выбрать между еврейским способом управления, мышления и организации общества — и Трeблинкой.

А. Эскин — репатриант из СССР, израильский журналист (журнал "Алеф" и др.); активно участвует в политической жизни Израиля, примыкая к т.н. "израильской новой правой".

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

готовит к выпуску новые книги:

ДАВИД ТАКСЕР. ИСК

200 стр.

Остросюжетная автобиографическая повесть о судьбе советского офицера-перебежчика, выданного англичанами советским властям, разворачивается на фоне оккупированной Германии 45-го года. Предварительная цена 10 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

"КОНТИНЕНТ"

Ежеквартальный литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

Главный редактор Владимир Максимов, зам. главного редактора Наталья Горбаневская, отв. секретарь Виолетта Иверни, зав. редакцией Александр Ниссен.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Беттел, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг — Груздинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловойская-Альберти, Эжен Ионеско, Робер Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже: 10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства: А. NEIMANIS BUCHVERTRIEB Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630 Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Евреи не были главным двигателем русской революции, как им это часто приписывается. Иногда они с гордостью или с раскаянием приписывают это сами себе. Их было непропорционально (по отношению к общей численности) много в российских и западных леворадикальных партиях и движениях начала XX века, в руководстве этих движений и партий, среди их литераторов и затем в первобольшевистских органах власти, госбезопасности и культуры. И это легко объяснимо.

Александр II дал евреям России нормальный гражданский статус, — Александр III в общем развертывании реакции после убийства отца революционерами его отнял. Требовать от евреев России, чтобы они безропотно мирились со своим бесправием и не тянулись к силам, обещающим это бесправие отменить, означало бы быть плохим психологом. Их созидательный потенциал, который государство и общество не хотели в полной мере использовать, превращался в существенной его части в потенциал разрушительный. П.А. Столыпин пытался объяснить это Николаю II, но царь не мог переступить через свое предубеждение против евреев. С неполнотой прав по сравнению с другими народами империи особенно трудно было мириться на

Дора Штурман

**НИ МНЕ МЕДА ТВОЕГО,
НИ УКУСА ТВОЕГО**

фоне той разноаспектной либерализации, которая — с колебаниями и осложнениями, но несомненно — протекала в России с 1860-х г.г. и наиболее явно — в последнее предреволюционное десятилетие.

Но далеко не только национальные цели и национальный темперамент толкали евреев к радикализму. Ассимилированная часть западного и российского еврейства жила общечеловеческими интересами. Могучая утопия социализма в ее интернационалистском варианте вовлекла в свой водоворот прежде всего тех, кто активно стремился оторваться от своих национальных корней, не имея корней в прошлом своего нового окружения и, значит, целиком принадлежа настоящему и будущему. Я называю утопией непрерывно снова и снова реализуемую идеологию, потому что процесс ее реализации всегда приводит и будет приводить к результатам, противоположным ранее предполагающимся. О социалистах-сионистах (в СССР вскоре либо репрессированных, либо высланных из него, либо как-то иначе вырвавшихся в Палестину) мы здесь не говорим.

По сей день бытует обыкновение приписывать введение равноправия для евреев большевикам. До сих пор не изжита многими советскими пожилыми евреями благодарность Ленину и его окружению за это благодеяние. На самом деле равноправие евреев, как и все прочие демократические права и свободы, ввело Временное правительство. Черта оседлости была по необходимости ликвидирована еще до Февраля, после жестокого и бессмысленного выселения еврейского населения из прифронтовых районов. Уже в ходе гражданской войны еврейство советизированных районов, обретая равноправие и статус полного благоприятствования, неудержимо ринулось во все ранее труднодоступные для него сферы жизни. Прежние обитатели этих сфер были частью уничтожены, частью изгнаны из страны, частью пошли на сотрудничество с новой властью, но без конца подвергались репрессиям. С евреями, преисполненными надежд, динамизма и благодарного доверия к новой власти, трудно было конкурировать в способности заменить вышедших и выбывающих. Преданные без лести, они воспринимали свое продвижение по ступеням вновь создаваемых иерархий: административной, военной, охранной, культурной, профессиональной — как должное. Поэтому, когда во второй половине 1940-х годов власть обрушила на них целенаправленные репрессии именно как на евреев, дав им прозрачную кличку "безродных космополитов", они были потрясены неожиданностью, несправедливостью и

бессмысленностью в их глазах такого поведения власти. Не надо думать, что до этого евреев обходили репрессии: удары обрушивались на служителей культа, на сионистов ("буржуазных националистов"), на членов запрещенных партий, на буржуазию дореволюционных, а позднее и НЭПовских времен, на беспартийных и коммунистов в годы "большого террора" — репрессий всегда хватало. Но в этих преследованиях евреи разделяли судьбу других народов СССР. Равноправие, быстро перешедшее в равнобесправие, не нарушалось.

В 1940-х годах началась эра вторичного неравноправия российских евреев — уже при социализме. Многие из них и по сей день не могут с этим свыкнуться, пытаются загипнотизировать власть своей лояльностью. Однако евреи в качестве объединяющей все народы СССР опасности, внутренней и внешней (мировой сионизм), ей, власти, по-видимому, стали нужнее, чем евреи в качестве опоры режима и примерных сынов отечества. А они в большинстве своем все еще так стараются быть примерными сынами отечества!.. Хотя появилось уже среди них немало инакомыслящих, сознательно отвергающих эту участь. Но здесь речь не о них.

Между 1917 и 1948 годами какая-то часть еврейской интеллигенции в СССР пыталась противопоставить неуклонно идущей ассимиляции (ассимиляции, впрочем, своеобразной: с указанием в паспорте национальности гражданина) сохранение культуры на идиш. Это был расчет на своеобразную культурную автономию во всесоюзном рассеянии. Сегодня такие попытки ориентированы на овладение ивритом и носят психологически совершенно иной характер. Но вернемся к прошлому. Первое поколение послереволюционных ассимилянтов не утратило еще связи с родным языком, которую молниеносно теряли дети, как только родители переезжали в большие города, прежде плохо доступные. Предвоенная (1939 — 1940) оккупация ряда областей Восточной Европы расширила и углубила резервуар языка идиш. Я помню, как в заключении, в 1944 году, меня поразили молодые евреи из новых западных областей (их было в лагерях очень много), говорившие между собой на идиш. Молодость не совмещалась в моем представлении со знанием этого языка, который я понимала (отчасти) лишь потому, что в школе и дома учила немецкий. Наши родители не озаботились тем, чтобы научить нас говорить и, тем более, читать на идиш, на котором они иногда между собой говорили (как правило, для того, чтобы мы их не поняли). Но когда в Харьков перед самой войной

приехал ГОСЕТ, театр Михоэлса, все места на всех спектаклях были заполнены. На улице оставались толпы евреев и неевреев, не поместившихся в самом большом театральном здании города — в оперном театре. Я видела три спектакля: “Блуждающие звезды”, “Тевье-молочник” и “Король Лир”. Михоэлс и Зускин в этих спектаклях остались в числе ярчайших впечатлений моей юности.

Сегодня я держу в руках книгу Наталии Вовси-Михоэлс “Мой отец Соломон Михоэлс (воспоминания о жизни и гибели)” и думаю о герое книги. Впрочем, главных героев у книги два — отец и дочь, лирическая героиня и автор повествования. Это не воспоминания о своей жизни, а рассказ об отце. Но жизнь дочери настолько проникнута жизнью и гибелью отца, что поневоле книга о нем повествует и о ней. Кроме отца и дочери в маленькой книге великое множество персонажей, данных детально или мимоходом, но в любом случае достоверно и впечатляюще. Меня одолевают собственные воспоминания, разбуженные двукратным чтением этой книги. Наталия Вовси-Михоэлс — моя ровесница, ее отец близок по возрасту к моему отцу. Мой отец, широко известный в городе врач, был доведен до самоубийства неотступными требованиями стать осведомителем “органов”, от чего он наотрез отказался. Отец Наталии Вовси-Михоэлс был убит теми же “органами” по согласованию с самим Сталиным, в чем книга не оставляет сомнений и что до сих пор непонятно некоторым досужим воспоминателям. Наши отцы ничего не замыслили против власти, которая их убила. Они просто не поместились в созданных ею обстоятельствах, как не поместились в них миллионы других достойных людей. Убийство Михоэлса (Минск, 13 января 1948 года, пятнадцатью годами позже самоубийства моего отца) было грубо и небрежно замаскировано под автомобильную катастрофу. В книге изложены все ставшие доступными дочерям версии этого злодейства. Убитого похоронили с почестями. До мая 1949 года не закрывался театр — его детище.

Дочь ведет свое повествование далеко за пределы жизни отца. Двенадцатого августа 1952 года были расстреляны после долгого пыточного следствия его друзья и коллеги — деятели Еврейского антифашистского комитета и еврейской культуры, среди них — гениальный Зускин, ближайший друг и сотрудник Михоэлса. Тринадцатого января 1953 года объявили о заговоре врачей-убийц. Потрясенные евреи приняли это чудовищное невероятное сообщение как предвестие собственной гибели, как сигнал к “окончатель-

ному решению еврейского вопроса" в СССР. Власть рвала клыками своих самых лояльных подданных. В сообщении о "деле врачей" был посмертно ошельмован Михоэлс, представленный как один из вдохновителей заговора, диктовавший врачам, кого убивать. В апреле того же года, через месяц после того, как испустил дух Сталин, врачи были выпущены (кроме нескольких человек, замученных следствием) и начисто реабилитированы. Позднее умер от костной саркомы, образовавшейся на месте ударов, нанесенных во время следствия, брат Михоэлса профессор Вовси. Он был арестован несколько позже остальных коллег. Это обеспокоило (еврея) А. Чаковского*, который написал на Вовси донос, "но не нашел ничего лучшего, как сообщить о родстве Вовси с Михоэлсом. Вовси донос этот показали, и он охарактеризовал его как "неизобретательный" (стр. 255). Чаковский, разумеется, за донос не ответил и спал спокойно. Меня в рассказе Наталии Вовси-Михоэлс поразила точностью одна фраза: "Тогда, на даче, у меня создалось впечатление, что аресты коллег Мирон Семенович как-то не увязывает со своей судьбой: дело привычное — всегда кого-нибудь сажают. Или же он просто обреченно ожидал своего" (стр. 255). Тогда, действительно, ждали своего часа, как выпадения какого-то полностью автоматического жребия, не пытаюсь ни спастись, ни протестовать против арестов других. За этим сюрреалистическим жребием не было доступного жертве смысла. Поэтому, когда в 1950-е годы на репрессированных, живых и мертвых, начала столь же автоматически сваливаться реабилитация, никто, как правило, не искал виновных в своем осуждении и не пытался (редкие исключения были) привлечь их к ответственности. Сегодня в случае арестов пишут протесты, обращаются к мировой общественности, проводят объявленные голодовки в малых и больших зонах. Возможно, потому, что репрессии еще не имеют прежнего размаха и автоматизма и вызываются какими-то формами оппозиции к власти. Тогда, за редчайшими исключениями, они не были связаны с какой бы то ни было запретной деятельностью. Потому и воспринимались как стихийное бедствие.

Освобождение из-под стражи и бессудное оправдание врачей были восприняты старшим поколением советских евреев как повторение пуримского чуда — спасения Эсфирью евреев Персии от геноцида. Молодое поколение уже не знало своей истории и не

* Нынешний главный редактор "Литературной газеты".

смогло оценить того, что Сталин сгинул именно в Пурим, день в день.

Само собой разумеющимся было снятие посмертно на него возведенных обвинений и с Михоэлса.

Книга свидетельствует: примерно, с начала 1930-х годов Михоэлс жил в ожидании ударов, предстоящих коллегам, родственникам, друзьям, ему самому. Никакая лояльность (и он это понимал) не страховала от таких ударов. Ожидание опалы и даже ареста, от которого Михоэлс не мог отделаться, уже само по себе было тайной нелояльностью. Мистика режима состояла в том, что он подобную нелояльность чувял. На вершине своей славы Михоэлс с горечью повторял среди самых близких: "Чем выше взберешься, тем сильнее падать". Или: "Ни мне меда твоего, ни укуса твоего" (стр. 116 — 117). О начале 1930-х г.г. Наталия Вовси-Михоэлс пишет: "...истерзанная ленинскими экспериментами страна корчилась в голодных судорогах" (стр. 90). Это отчетливо ощущалось в не голодавшем, но и никогда не богатом доме Михоэлсов. Слова "Соловки", "облава", "Красный крест" звучали в разговорах родителей задолго до городских пиков "большого террора". Мать, как и отец, непрерывно хлопотала "за друзей, находившихся в тюрьмах и ссылках".

Когда в 1937 году вернулся из Парижа в СССР Фальк, Михоэлс не мог скрыть тревоги: "Нашел время возвращаться" (стр.52), "...по закону "антилогики", господствующему там во всем, кривая архипелага обошла" Фалька — пишет далее автор книги (стр. 52). Но для Михоэлса всегда были явственны смертоносные гримасы советской истории, походя, между делом, убивавшей невинных детей искусства. В 1937 году был арестован друг "беспорядочного и сердечного дома" Михоэлсов, беженец из Польши, артист по фамилии Диамант. Михоэлс "много раз обращался с запросами о нем в соответствующие инстанции" (стр. 76), не соблюдая общепринятой осторожности. Хлопотал он и о родственниках своих сотрудников (стр. 80). Эти хлопоты были тем достойнее, что к Михоэлсу приставляли стукачей, и он постоянно испытывал страх за себя и за близких. В 1937 году его преследует мысль, что за ним придут (стр. 144), и он не успеет попрощаться с детьми. Он жил тогда со второй женой этажом ниже детей и почти не уходил по ночам к себе. "В один из таких вечеров он попросил меня не отрекаться от него, если его заберут. "Да что ты, папа", — с ужасом выдохнула я и уткнулась ему в плечо", — вспоминает дочь. Ночами "стояли у

входной двери в ожидании стука или звонка. Но тогда его время еще не пришло". Наталия Вовси-Михозлс цитирует Солженицына: "...именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением". Но тут же рассказ о нерастленной воле: Наталия при секретаре школьной комсомольской организации порвала свое заявление о вступлении в комсомол, когда условием приема был сделан разрыв с друзьями — детьми репрессированных родителей. В ужасе от собственного поступка она бросилась к отцу:

Когда, задыхаясь, я влетела к нему в кабинет, — он спросил, что со мной стряслось.

Я молча показала то ли на стенку, то ли на телефон — знакомый каждому советскому человеку условный знак, означающий что кто-то может услышать.

Папа понимающе кивнул, и мы вышли из театра.

— Мы пойдем в кафе, там меня ждут Тышлер и Левидов. А по дороге ты мне все расскажешь.

Мы медленно шли по Горького в Националь. Я в сотый раз рассказывала, папа просил повторить, "что он сказал", а "что ты сказала", "неужели взяла и порвала?" и, улыбаясь, удовлетворенно кивал головой.

Усевшись за столик с Тышлером и Левидовым и заказав кофе с коньяком, он обратился к своим друзьям со словами:

— Давайте выпьем за мою дочь. Она совершила сегодня акт гражданского мужества.

Все торжественно выпили. Я сияла от гордости.

Однако в чем состоял этот "акт" он никому, даже Асе, не рассказал. Время вынуждало к скрытности. Кто смел открыто высказывать свои взгляды? Даже жене. Даже детям.

В те годы мы отдавали дань времени тем, что не ложились спать в ожидании ареста. Спустя десять лет, в сорок седьмом году, отец, не таясь (не потому что можно было, а потому что уже иначе не мог), открыто протестовал против Нинино вступления в комсомол. Один из аргументов меня потряс: "ты еще поплатишься за это!" Что значит поплатишься? Однако и это пророчество отца сбылось.

В 1953 году, после сообщения ТАСС об "Убийцах в белых халатах", ее изгнали из комсомола за "активное сокрытие антигосударственной деятельности отца". Решение вынесли на высочайшем форуме — собрании городского Комитета комсомола, так как более низкие инстанции не хотели "с этим связываться". Мы были парии, "неприкасаемые".

В 1937 году Михозлс дает деньги Мандельштамам, о чем рассказывает Надежда Яковлевна ("Воспоминания", стр. 319).

Зимой 1937 года сняли с должности директора ГОСЕТа Иду Лашевич, жену репрессированного высокопоставленного коммуниста. Наталия Вовси-Михозлс рассказывает:

"Отец уже прекрасно понимал, что механизм срабатывает по неизменной схеме: "увольнение — исключение из партии — арест", поэтому в день, когда

уволили Иду Лашевич, отец вернулся из театра сумрачный и молчаливый. Наспех поужинав, он сказал, что уходит и не знает, когда вернется.

Пришел он около четырех утра. На следующий день повторилось то же самое.

Так продолжалось больше недели: чернее тучи уходил он после спектакля и возвращался лишь под утро. Я ничего не спрашивала.

А спустя дней десять он тихо сообщил мне: "Взяли Иду Лашевич. После того, как я ушел". И тут он рассказал мне, что сразу после увольнения он отправился к ней домой. Лашевичи жили в доме правительства на улице Серафимовича. Купив папиросы и водку, отец явился к ней со словами: "Я пришел к вам, как мужчина к мужчине. Будем коротать ночи за приятной беседой, попивая и покуривая".

"Я боялся, — рассказывал отец, — что за ней придут, когда она будет совсем одна. Ведь это так страшно — уходить одному. Недаром говорят: "на миру и смерть красна". Но мой расчет оказался неверным — я считал, что после четырех уже не придут, а ее забрали в шесть утра".

И заключает:

"Единственный страх, который преследовал меня в годы самой ранней юности, это что папу заберут прямо с улицы, и мы никогда больше не увидимся".

Далее следует рассказ о травле Шостаковича и Прокофьева и о смерти последнего. Прокофьев говорил в свое время Михоэлсу, что "спасение только в работе". Но ведь ужас положения состоял в том, что и в работе невозможно было найти спасение. Влекла еврейская классика (в театре ставились прекрасные спектакли: "200.000", "Путешествие Вениамина Ш", "Тевье-молочник", "Блуждающие звезды" и др.), влекли библейские мотивы, влек Шекспир, в котором виделось библейское величие страстей и характеров. А надо было непременно ставить и советские пьесы, страдающие вынужденной ходульностью и схематизмом.

Арест Мейерхольда вызвал ужас в семье Михоэлса. Но если в 1928 году Михоэлс еще мог печатно защищать от нападков прессы А. Грановского, первого режиссера ГОСЕТа, не вернувшегося в СССР из гастрольной поездки театра, то в 1939 году публично защищать Мейерхольда он не рискнул. Да и негде было: ни одна газета или журнал не опубликовали бы этой защиты. Кроме ареста Мейерхольда, принятого молча, 1939-й год принес еще один страшный удар: договор о дружбе с Гитлером. Михоэлс постоянно до этого упоминал в своих выступлениях об опасности и чудовищности нацизма. Теперь он мог сказать только дома: "Не понимаю, как можно довериться такому зверю!" (стр. 157). Гражданский темперамент Михоэлса, требовавший гласной борьбы против этого позорного шага, был прочно и унижительно скован. Михоэлс, обвешан-

ный, как он говорил, людскими судьбами (к нему беспрестанно обращались за помощью близкие и далекие люди, и он помогал), несущий на плечах судьбу театра, отвечающий перед собой за двух дочерей, занимал несколько официальных постов, связанных с идеологией. Когда были учреждены сталинские премии, он возглавил в комитете, присуждающем премии, отдел театра и кинематографии. Все это были должности, не допускающие молчания. Они требовали активного гласного лицемерия. Тогда еще не прозвучал призыв жить не по лжи. А если бы и прозвучал? В душе Михозлса он звучал несомненно, об этом свидетельствует правда сыгранных им ролей и лучших поставленных им спектаклей. Но без отступлений следовать этому призыву было невыносимо. Каждый отвоеванный у обстоятельств и подаренный зрителю глоток истинного искусства надо было оплачивать где-то вне лучших, любимых спектаклей непрерывным свидетельствованием своей и театра благонадежности. И это несомненно субъективно ощущалось как ложь. Однако сказать себе "живи не по лжи", без компромиссов, без идеологических взятков, означало сказать "умри как режиссер и актер". Это было бы полным отказом жить официально признанной жизнью.

В отличие от писателя, актер не может работать "в стол", в Самиздат или в Тамиздат. В отличие от художника, он не может хранить свои нонконформистские картины дома и у друзей. Ему необходимы сцена и зрительный зал. Беспощадно строгий судья скажет: "Откажись от искусства. Добывай хлеб в поте лица своего такими работами, в которых можно хотя бы молчать, а не лгать".

Но мучительно трудно, а по Библии и грешно противостоять своему призванию, от него уклоняться. Помимо того, чем платят (ложь), существует еще и то, за что плачено (правда вырванных у обстоятельств лучших спектаклей). Есть надежда, может быть, сознательно и наперекор голосу совести в себе подогреваемая, что зритель сумеет отсеять половину ритуальной лжи от полновесного зерна правды, ею оплаченного.

Я читала почти одновременно книгу Наталии Вовси-Михозлс и книгу Ю. Елагина "Укрощение искусств"* и в моем сознании возникла — в который раз? — живая микромодель советского искусства, которую я опробовала на своей шкуре. Я говорю об искусстве лагерном. При этом я имею в виду лагеря сталинских времен,

* Изд. им. Чехова. Нью-Йорк, 1952.

потому что не знаю, как обстоит дело сегодня. Может быть, повсеместное распространение телевизоров избавило лагерное начальство от необходимости допускать для своего развлечения существование арестантского театра? В то время, когда я находилась в лагере (1940-е годы), заключенные обслуживали начальство, как рабы — античных рабовладельцев. Они работали в подсобных хозяйствах, поставляющих к столу господ первоклассные продукты. Мастера индивидуального пошива одежды и обуви одевали и обували персонал “органов”, Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК), ВОХРу и их семьи, а по блату и других “отцов города”, области, республики. Врачи-заключенные, зачастую очень высокой квалификации, их лечили. Мастера-арестанты делали для начальства мебель, строили для него жилые дома. Заключенных держали дома в качестве прислуги. В отдаленных районах, где “вольных” женщин не хватало на всех мужчин, начальство использовало арестанток и как сожительниц. В центральной части страны это случалось реже. Об этом писали многие.

Но всего этого было мало. В рабовладельческой империи ГУЛага должно было существовать и рабское искусство. И оно было. И, осмелюсь утверждать это, осуществляло все те функции, которые выполняло искусство на сталинской воле. В среде заключенных-воров, пребывающих в блатном “законе”, бытует презрительное отношение к лагерной официально дозволенной самодеятельности, почитаемой за сотрудничество с начальством. Примерно так же относятся к лагерному искусству и некоторые мемуаристы из бывших политических заключенных. Между тем жить совсем без искусства людям очень трудно. В известные мне времена даже в блатном бараке звенела гитара и звучали песни. Да и вся масса заключенных в общих лагерях, там, где жилось не смертоносно жутко, не вплотную к смерти, а за два—три шага от нее, пела песни, тюремные, лагерные и “вольные”, слушала стихи, декламируемые по памяти грамотеями, заставляла умельцев “тискать романы” — рассказывать книги. Вспомните суд над князем Игорем на шарашке в солженицынском “Круге первом”. Разве это не театральное действо? Людям необходимо искусство, и только полная и непосредственная смертоносность ситуации заставляет забывать о нем начисто. Вы скажете, что лагерная песня, рассказанный на нарах роман или прочитанное с грехом пополам “Белое покрывало” Апухтина (лагерь отзывчив к сентиментальности) — это не искусство, а его суррогаты. Но я говорю об искусстве на уровне восприя-

тия его потребителей. И уровень этот можно постепенно — и существенно! — повысить. Лагерное искусство нужно было прежде всего самим заключенным, как ГОСЕТ и театр Вахтангова, о котором преимущественно пишет Ю. Елагин, нужны были прежде всего актерам и зрителям. Тот лагерный ансамбль художественной самодеятельности (лагерно-столичный ансамбль Казахстанского УИТЛК), в котором мне довелось провести конец своего лагерного срока (и это спасло меня от гибели на общих работах, где я уже “доходила”), возник сперва втайне от начальства на участке с очень пестрым составом заключенных. Это была своего рода столичная (алма-атинская) шарага с баракком специалистов — ученых и инженеров, обслуживавших городские НИИ и заводы. Кроме того на участке находились швейные и обувные мастерские индивидуального (для начальства) и массового (для нужд лагерей) пошива. Была там и сельскохозяйственная бригада, обслуживавшая расположенное невдалеке подсобное садово-огородное хозяйство “органов”. Деньги для участка зарабатывали бригады грузчиков и строителей, ходившие на городские объекты. В одной из таких бригад я работала подсобной каменщика и разнорабочей на строительстве нового корпуса внутренней тюрьмы (классическая ситуация: “Каменщик, каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь, кому?..”). На нашем участке случайно оказались несколько эстрадных артистов и музыкантов, профессионалов и любителей, работавших в разных бригадах и в лагерной службе. Наша совместная артистическая деятельность началась втайне от начальства. Мы составили эстрадную программу и репетировали ее после работы, оберегаемые благожелательными самоохранниками из заключенных и надзирателей, в бане или в других пустующих ночью помещениях. Среди нас были крупнотатейники, которым в официально допущенную лагерную самодеятельность дорога была закрыта. Программу мы показывали между ужином и отбоем в бараке, куда набивались заключенные со всего участка. Повторяли ее несколько раз, и однажды не заметили, что в барак вошел начальник участка Панибратенко с дежурным надзирателем. Панибратенко, человек, насколько я могу судить, незлой и неглупый, из инвалидов только что отгремевшей войны, велел заметившим его арестантам молчать и прослушал концерт до конца. После этого он вызвал к себе артистов и приказал, игнорируя их статьи и сроки, продолжать работу открыто, после обычного дня в бригаде или в мастерской. Так возник арестантский ансамбль, пополненный постепенно про-

фессионалами, освобожденный вскоре от общих работ и более года разъезжавший по лагерным участкам Казахстана, которых было несметное множество. Я работала в его драматической и литературной группах. Потом ансамбль был переведен на отдельный инвалидный лагпункт в Чемолган (Алма-атинская область) и прекратил свое существование с расформированием этого лагпункта. Но более года он действовал и выполнял прежде всего одну из своих нескольких главных функций, общую для него и для искусства на "воле", — служил народу, попутно позволяя выжить артистам. Я говорю о службе ансамбля народу без иронии. Когда нас привозили на отдаленные участки, иногда — только мужские или только женские (так что и ночевать в зоне было опасно: могли похитить и замучить артистов или артисток; нас вводили в такие зоны и выводили из них под мощной охраной), программы приходилось повторять по два—три раза кряду. Люди упивались годами не виданным отвлечением от роковой повседневности. Наше сознание было извращено рабством, и нам казалось почти естественным, что нас везут на концерт и с концерта под конвоем, иногда — с собаками. Однажды я упростила начальника конвоя позволить моей, пришедшей на свидание, матери посмотреть концерт, который мы ставили вне зоны, для ВОХРы, под вооруженным оцеплением. Мать просидела на скамье, против импровизированной сцены, около казармы, несколько минут и исчезла. Потом она говорила мне во время свидания, что ее душили рыдания: "Больше никогда мне не показывай этот Салтычихин театр", — твердила она. А мы привыкли к этому противоестественному положению, не замечая охраны и радовались своей игре, музыке и реакции слушателей, даже начальственных. Нас возили и на заработки — в "вольные" клубы, с переодетым в гражданское (револьверы в карманах) конвоем. Программы в основной своей части тематически были связаны с недавней войной, а лагерную — "перевоспитательную" — тематику мы оставляли для внутреннего употребления.

Я писала о своей жизни в ансамбле в молодости, сразу же после выхода из лагеря, в полустихах-полупрозе:

"...Приговорен, беспечен и упрям, товарищ гнал быков ширококорых. Текли через остроги по степям дымком не обогретье дороги. А перед нами то курилась степь и от трубы шарахались отары, то в полутьме, в гудящей тесноте, дышали люди и скрипели нары. Под ноги стлалась жесткая трава, барханы начинали накаляться. Конвойный телогрейкой укрывал свою винтовку, уходя купаться. Солдат с войны, он с нами ел и пил, и ненависть клыков не обнажала... В глухой, безводной, каторжной степи не эта палка плен-

ников держала. Не ждали нас ни табор, ни шалман, ни паспорт заграничный, ни подполье... Казенные каморки вдовых мам, над ними — полицейское раздолье. И, если б мы из малого кольца сыскали бы тропинки и проломы, что нам сулила зона без конца, где та же власть и те же костоломы? Мы приползли бы на родной порог, несчастные затравленные звери, и костоломы в им угодный срок открыли бы незапертые двери... Барачная сменялась теснота тележным скрипом, предрассветной дрожью. Каким-то чудом дикие места к тюремному сходились бездорожью. Садилось солнце и товарищ слеп и, на плечо подруги нажимая, шагал к реке по сохнувшей тропе, беспомощно и тяжело хромая. Он выходил на узкую тропу и, забывая про тюрьму и раны, во мраке видел дирижерский пульт, как мальчиком — неведомые страны. Товарищ, где ты? Пережил беду? И, если ты осилил все дороги, как я тебя увижу, где найду, матрос, Шолоном бредивший в остроге, когда по древним каторжным путям в дневном жару, в предутреннем морозе брел целиною Салтычихин театр с больным руководителем в обозе?.."

Матросом, который по памяти записывал и аранжировал куски классических оперетт для ансамбля, был сероглазый великан и красавец Гриша Эшель, полухет-полуукраинец, первый трубач оркестра, мой друг, а руководителем не крепостного (у крепостных было, как правило, больше свободы), а рабского театра, сбитым не ко времени с ног тяжелой азиатской малярией, была несколько месяцев я.

Итак, лагерное искусство, подобно искусству "большой зоны", служило народу и самим артистам, которые не только получали от своего творчества естественное профессиональное удовлетворение, но в случае успеха на "воле" обретали немалые преимущества перед рядовыми гражданами, а в лагере нередко выигрывали жизнь, ибо "общие работы" могли означать верную гибель.

В лагере у ансамбля вскоре определилась еще одна миссия. У нас было намного больше каналов связи с "вольными" гражданами, чем у остальных заключенных. Нам почти без ограничения давали свидания с родственниками, мы выступали в городских и областных клубах, у нас бывал нередко весьма либеральный конвой, считавший нас полурасконвоированными (в лагерях тех лет имелись и полностью расконвоированные контингенты). Нас бросали иногда на самые глухие участки, после которых мы попадали с концертами на вечера в Управление, где собиралось высшее начальство КазУИТЛК. Пользуясь этим, мы вывозили с отдаленных участков письма на "волю" или на другие участки и арестантские жалобы. Начальство лагерей скоро об этом узнало, и нас начали обыскивать, раздевая иногда догола (перед отъездом с участка). Но музыканты украдкой развинчивали трубы и прятали бумаги в их колена (в бараке, где мы готовились к концертам, за нами обычно

не надзирали). Тогдашний (насколько я знаю, кратковременный) начальник КазУИТЛК Архангельский (не помню имени и звания) на концертах, в антракте, принимал от нас эти жалобы. Полагаю, что и поэтому вскоре после перевода на чомолганский лагпункт нас перестали посылать на далекие участки, и вплоть до расформирования участка, а с ним и ансамбля, мы обслуживали лишь свое лаготделение. Но не только самим артистам и зекам служило лагерное искусство. Как уже было сказано, оно обслуживало многочисленное начальство и в этом тоже мало чем отличалось от искусства "воли". Когда мы давали концерты на лагерных участках, больших и малых, первые скамьи в клубе КВЧ (культурно-воспитательная часть) или в столовой — там, где не было клуба, занимало лагерное начальство с чадами и домочадцами. Обычно на концерты приглашались руководители совхозов,строек и предприятий, которые обслуживались данным участком, особенно если последние находились в непосредственной близости к предприятиям, расположенным на отшибе от больших городов. О концертах в клубах Управления, "органов" и учреждений юстиции я уже говорила. Для того, чтобы радовать взоры начальства, артисты должны были хорошо выглядеть. Их кормили и одевали по особым нормам. В карагандинских лагерях (Карлаг) была даже опереточная труппа, числившая в своем составе немало профессионалов, которая давала спектакли, не объявляя своей ведомственной принадлежности, преимущественно для "вольных" зрителей, разъезжая по республике со скрытым конвоем. Естественно, что ее кормили досыта и одевали прилично. Она зарабатывала для ГУЛага немало денег.

Стараниями Гриши Эшеля, педагога и музыканта Божьей милостью, нам удалось взять в оркестр, сначала учениками, нескольких "малолеток" (подростков) с хорошим слухом и вырвать их из-под влияния воровского барака. Краткосрочники, они ушли на "волю", прилично играя на духовых инструментах. След Гриши я потеряла после своего освобождения, несмотря на многократные попытки его найти. У него был срок вдвое больше моего, пятилетнего, и незаживающий остеомиелит после фронтового ранения, одного из многих. Не могу удержаться от того, чтобы совершенно вне темы не рассказать об истории Гришиной 59-й статьи УК РСФСР, не помню уже через какой пункт. Моряк, кавалер четырех орденов Боевого красного знамени и еще девяти наград, воспитанник корабля, он лечился в одном из алма-атинских госпиталей после очередного ранения. Его задержали при облове у подружки-студентки в обще-

жители юридического института, куда он сбежал на пару часов из госпиталя без документов. При допросе следователь обозвал его дезертиром. Гриша, обычно спокойный до флегматичности, взревел от обиды и ринулся на следователя с табуреткой в руках. Ему дали десятку за "камерный бандитизм", не подлежащий ни амнистиям, ни зачетам. Операции ему так и не сделали, и осколки кости и металла выходили из постоянно гноящейся раны на протяжении многих лет. Но и он был счастлив работать в ансамбле, а не гнить заживо на инвалидском участке. Развлекая своих тюремщиков? Да. Но и товарищей по заключению, но и реализуя свои недюжинные способности музыканта.

У начальства были свои фавориты, свои любимые номера, и программы, для него предназначенные, строились на этих пристрастиях. Когда появлялся на участке с "воли" или из другого лаготделения артист-профессионал или талантливый самоучка, их прослушивал или просматривал по нашей просьбе вольный начальник ансамбля Н.Н. Цицирюк, талантливый дирижер, мягкий и деликатный человек, сильно пьющий, бывший военный. Позднее, незадолго до ликвидации ансамбля, он был уволен из-за романа с солисткой ансамбля, выпускницей Ленинградской консерватории, сопрано Ириной Лебедской, отправленной за ту же провинность на дальний этап. Если Цицирюку номера новоприбывшего нравились, его показывали начальнику культурно-воспитательного отдела управления. В случае и его одобрения новичка зачисляли в ансамбль, пренебрегая нередко крупной статьей и сроком. Иногда специально для этого этапировали в нашу зону потенциальных артистов из других лагерей. Начальство хотело развлекаться и сколачивало для себя способный ублажить его коллектив.

Так ли уж это отличалось от "воли"?

Я не думаю, чтобы театру Михоэлса из-за его языковой специфики часто приходилось ублажать начальство. Еврейский театр скорее раздражал бы высокопоставленных потребителей искусства, чем развлекал их. Однако репертуар его контролировался неотступно, и судьба спектаклей зависела от просмотра и благоволения идеологических ревизоров, что разрушительно подавляло артистов и особенно их руководителей, о чем пишет Наталия Вовси-Михоэлс. Но это было по долгу сдужбы, а не по зрительскому пристрастию проверяющих к проверяемым.

Зато Ю. Елагин в своем "Укрощении искусств" подробно рассказывает о том, как советское "вольное" искусство обслуживало

(думаю, что обслуживает и по сей день) верховную номенклатуру. В награду оно было приближено в его элитарной части к номенклатуре и к ее “буфетчикам” по уровню жизни. Надо отметить, что ГОСЕТ и в этом смысле был дискриминирован, вероятно, из-за отсутствия фаворитов номенклатуры в его среде. Наталия Вовси-Михоэлс пишет о трудных бытовых условиях, в которых годами жили артисты ГОСЕТа, включая Михоэлса, — Ю. Елагин рассказывает об исключительных преимуществах, которыми пользовалась элита театра Вахтангова, Большого театра, МХАТа и др.

При чтении книги Ю. Елагина сходство “вольного” “укрощенного искусства” с лагерным проступает очень отчетливо.

Осужденных по 58-й и некоторым другим крупным статьям, как правило, не допускали в лагерную самодеятельность? Ю. Елагин пишет:

“До 21 января 1938 года я не принимал участия ни в одном из концертов для правительства. НКВД имело определенные правила относительно артистов и музыкантов, которым дозволялось участвовать в этих концертах. И, согласно этим правилам, я в число этих артистов и музыкантов не входил. Как ни странно, дело было не в том, что мой отец умер в концлагере, а в том, что один из моих дядей был эмигрант и жил за границей (в Турции) еще с 1919 года, о чем я имел неосторожность написать в свое время в анкете при поступлении в театр имени Вахтангова.

По правилам НКВД, все люди искусства, у которых были родственники за границей, не могли быть допущены к участию в концертах или спектаклях в присутствии членов Политбюро. Это оригинальное правило иногда вело к курьезам. Например, у превосходного виолончелиста, солиста Большого театра Святослава Кнушевицкого, были какие-то родственники за границей и он поэтому никогда не играл в те вечера, когда Сталин со своими коллегами смотрели спектакли. Вместо Кнушевицкого соло играл другой, значительно худший виолончелист. И бедному Сталину приходилось удовлетворяться этим худшим исполнением музыканта, у которого зато не было совершенно никаких родственников за границей.

Раз в конце 1937 года отрывок из одного нашего спектакля должен был быть показан в Кремле. Как и всегда в таких случаях, назначали играть всех наших скрипачей, кроме графа Шереметьева и меня. На другой день после концерта на репетиции все наши товарищи, наперебой, захлебываясь от восторга, рассказывали каким чудесным ужином угощали их в Кремле, какие вкусные были закуски — икра, свежие помидоры, балык, крымские вина, армянский коньяк. Помидоры и коньяк переполнили чашу моего терпения и я пошел к моему другу Кузе, жаловаться на порядки НКВД, не разрешавшие мне играть в Кремле”.

Далее в юмористическом тоне рассказывается о том, как начальство по продиктованному им артисту прошению соизволило счесть криминального дядю умершим, после чего Ю. Елагин был допущен

к участию "в спектаклях, на которых присутствуют члены правительства и руководство партии", и, следовательно, к помидорам, балыку, крымским винам и армянскому коньяку с барского стола. А нам давали за наши концерты лишний черпак супа, каши и доппитание — пирожок, триста граммов хлеба сверх пайки и пр.

Нас шмонали на вахтах и этапировали на наши концерты под конвоем?

Михаил Шульман, бывший, по его словам, когда-то одним из руководителей Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова, в книге "Бутырский декамерон. Моя жизнь в новеллах" (Изд. "Эффект", Тель-Авив, 1979) с плохо скрываемой гордостью свидетельствует о том, как способствовал введению персональных обысков участников своего ансамбля перед правительственными концертами.

А Юрий Елагин рассказывает:

"Я много раз участвовал в правительственных концертах в Большом театре. За день до каждого такого концерта нам всем выдавались специальные пропуска, на которых фамилия каждого из нас была напечатана не на пишущей машине, а типографским способом. Текст пропуска кончался фамилией начальника охраны, почему-то тоже напечатанной печатными буквами. Как сейчас помню эту фамилию: — "Комиссар госбезопасности 3-его ранга Дагин".

Всем участвующим в этих концертах необходимо было соблюдать некоторые правила, о которых нас специально предупреждали. Например, нам рекомендовалось не расхаживать без дела по театральным коридорам и не отдаляться от отведенной для нас артистической комнаты. Разрешалось ходить только в ближайшую уборную и в буфет. Другое правило обязывало всех участников концерта, без малейшего исключения, прибыть на концерт не позже, чем за час до начала. Прибывшие позже этого срока, считались опоздавшими, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы понять всю странность этого распоряжения, надо иметь в виду, что огромная программа правительственных концертов никогда не заканчивалась раньше, чем через четыре часа после начала, иногда же затягивалась и на все шесть. Таким образом, концерт, начавшийся, например, в 8 часов вечера, всегда оканчивался после 12 часов ночи. И те артисты, которые выступали в конце концерта, должны были приходиться к семи часам вечера и терпеливо просиживать 5 и больше часов за кулисами, опустошая буфет и слоняясь из угла в угол по артистической".

Зримо напомнил мне мое лагерное прошлое и следующий эпизод, описанный Юрием Елагиным:

"Как-то раз, вскоре после начала нового сезона осенью 1938 года, я шел, как обычно, на очередной вечерний спектакль. ...По пустынной всегда в это время улице Вахтангова неторопливо шагали личности в штатских пальто и в военных сапогах, пытливно вглядываясь в каждого прохожего. У недавно

выстроенного подъезда правительственной ложи стояло несколько автомобилей.

...В нашей раздевалке поразила меня молчаливая и серьезная обстановка, без обычных шуток и смеха. Я разделся... и со скрипкой в руках направился к двери, ведущей в большой коридор.

— Предъявите документы, товарищ, — услышал я тихий, но очень уверенный голос. Тут только я обратил внимание на человека в синем костюме и в военных галифе, стоявшего у этой двери и проверявшего документы у всех входивших. Подавив возникшее у меня инстинктивно чувство внутреннего протеста, я достал театральное удостоверение и протянул его человеку в галифе. Он долго, внимательно читал его и сверял фотокарточку с моей собственной физиономией.

— Проходите, — тихо сказал он, разрешая мне пройти в фойе нашего оркестра, в которое я входил каждый вечер вот уже в течение семи лет моей службы в театре. Некоторые наши актеры не вытерпели и с непривычки возмутились.

— Зачем я буду показывать мои документы в моем театре? — сказал артист Шухмин человеку в галифе. — Я здесь двадцать лет служу. Меня каждая собака здесь знает. А вот я то вас не знаю и в первый раз в жизни вижу.

— Предъявите документы, — еще тише и еще серьезнее произнес человек в военных галифе. — Иначе не будете допущены к участию в спектакле и пойдете под суд, как прогульщик...

...Я хотел было пройти к моему месту, как вдруг, отделившись от стены фигура, загородила мне дорогу.

— Вам что здесь нужно, товарищ? — Вопрос этот, как ни странно, задал не я незнакомой личности, а личность мне.

— Я играю в оркестре, — ответил я. — Я хотел настроить мою скрипку.

— Еще рано, товарищ, — сказала личность. — Очистите помещение.

Позже, когда спектакль начался, личность молча сидела в углу на стуле рядом с контрабасами и внимательно наблюдала за каждым из нас. В перерывах между музыкальными номерами мы любили подходить к барьеру оркестра и смотреть действие на сцене. Кто-то из нас попробовал сделать это и в этот раз. Но личность с быстротой молнии вскочила со своего стула, подошла к любопытному и сказала очень кратко, но твердо:

— Товарищ, сядьте на ваше место...

В тот вечер впервые был гость в новой правительственной ложе. Сам Молотов приехал смотреть наш спектакль''.

Не так давно я была на концерте Израильского симфонического оркестра — в ряду перед нами сидели президент государства Хаим Герцог и бывший президент Ицхак Навон с женами и друзьями. Может быть, их кто-нибудь и охранял, но мы этого не заметили. А уж музыканты — тем более. Они даже не знали о присутствии в зале высоких гостей. Никаких оваций по этому поводу не было, и все свободно передвигались по фойе и залу.

Я цитирую столь обширные куски из книги Ю. Елагина, потому что этим мемуарам уже тридцать три года. Малотиражные, как все

эмигрантские издания, они давно превратились в библиографический раритет; а книга эта, между тем, не устаревающе ценная.

Где еще вы прочитаете такую сценку?

“В начале 1941 года, в кругах людей искусства Москвы большое впечатление произвел разговор Сталина с меццо-сопрано Большого театра — Давыдовой, имевший место на новогоднем банкете.

Уже было позже 12 часов и вечер был в полном разгаре, когда Сталин, не спеша, своей немножко развалистой походкой подошел к Давыдовой — высокой, эффектной женщине, в сильно открытом серебряном платье, с драгоценностями на шее и на руках, с дорогим палантином из чернубурых лисиц, наброшенном на плечи. Великий вождь, одетый в свой неизменный скромный френч защитного цвета и сапоги, некоторое время молча смотрел на молодую женщину, покуривая свою трубочку. Потом он вынул трубку изо рта.

— Зачем вы так пышно одеваетесь? К чему все это? — спросил он, указывая трубкой на жемчужное ожерелье и на браслеты Давыдовой. — Неужели вам не кажется безвкусным ваше платье? Вам надо быть скромнее. Надо меньше думать о платьях и больше работать над собой, над вашим голосом. Берите пример вот с нее... — Он показал на проходившую мимо свою любимицу — сопрано Большого театра Надежду Шпиллер. Шпиллер была настоящей красавицей — идеальным воплощением образа Анны Карениной — высокая, статная, с правильными чертами лица, исполненными своеобразного очарования, свойственного красивым русским женщинам. При всем аристократизме ее манер, одевалась она с нарочитой скромностью, носила всегда закрытые платья темных цветов, не надевала драгоценностей, почти не употребляла косметики.

— Вот она не думает о своих туалетах так много, как вы, а думает о своем искусстве... — продолжал Сталин. — И какие она сделала большие успехи. Как хорошо стала петь...

Обе дамы стояли молча и слушали вождя. Что они могли сказать в ответ? Рассказывали, что Давыдова едва сдержалась, чтобы не разрыдаться. И было от чего!”

Так могли выбрать артистку-арестантку — за то, что слишком ярко нарасила губы вне сцены или в марлевом своем, крашеном акрихином, концертном платье позволила себе сделать слишком глубокий вырез. И народные артистки были так же безответны, как арестантки. По словам Ю. Елагина, практиковались правительственные концерты и спектакли в столичных концертных залах и театрах, торжественные концерты в Кремле и особо привилегированные “культурные мероприятия” для верховного руководства.

“О концертах третьего типа — интимных вечерах на квартирах членов Политбюро — в Кремле разговаривать было не принято. До середины тридцатых годов такие вечера в честь какого-нибудь одного из вождей устраивались иногда на квартирах известных актеров. Одним из этих вечеров был банкет для маршала Ворошилова, устроенный вахтанговцами в 1935 году,

о котором я упомянул в 1-й части этой книги. Вскоре после этого членам Политбюро было запрещено ездить в гости к актерам. Вместо этого актеров стали приглашать в Кремль на квартиры членов Политбюро. Вернее, не актеров, а актрис. Часто их будили среди ночи телефонными звонками и просили быть готовыми через несколько минут. Просили или приказывали? И через несколько минут подъезжал большой закрытый автомобиль с кремлевским номером и увозил известную всей стране балерину или певицу, едва успевшую надеть платье, набросить шубку и напудрить заспанное лицо...

Надежду Шпиллер, — жену лучшего виолончелиста Москвы — Святослава Кнушевицкого, часто вызывали на эти ночные концерты. О своем дебюте на них она кое-что рассказывала. Рассказывала, как ее ввели в 4 часа утра в комнату одной из кремлевских квартир, где находилось несколько членов Политбюро — как всегда без своих прекрасных половин. Некоторые из них были настолько пьяны, что не могли уже ни двигаться, ни разговаривать. Другие были весьма навеселе, но исполнены бодрости и энергии. Они-то и вызвали Шпиллер специально для того, чтобы она спела им несколько русских народных песен. По ее словам, все не совсем пьяные вожди были с ней исключительно милы и любезны. О Сталине она не упоминала. Было уже светло, когда ее привезли домой..."

Лагерное начальство заставляло своих фаворитов из концерта в концерт повторять нравящиеся ему номера?

А как формировался репертуар официальных концертов "на воле"?

Юрий Елагин пишет:

"Первые концерты, которые устраивались в конце двадцатых и в начале тридцатых годов в Большом театре для официальных правительственных собраний, были обычными концертами с разнообразной программой из музыкальных, вокальных и балетных номеров самого лучшего качества. Постепенно из этих программ отсеивалось все то, что не нравилось Сталину, или что оставляло его равнодушным. И все номера, вызывавшие его особенное одобрение, начинали включаться постоянно во все концерты. Уже к 1934—35 годам вполне определился музыкальный вкус Сталина. И, как результат этого, определилась музыкальная политика советского правительства. Анализ сталинских музыкальных вкусов дает картину поразительного и полного соответствия с официальной музыкальной доктриной советской власти, носящей столь объективную маску "социалистического реализма в музыке". Доктрина эта обоснована политически, философски и исторически. Сотни глубокомысленных статей и книг написаны на эту тему, придуманы эстетические теории, проведены исторические изыскания, введена точная терминология. Тут и "формализм", и "космополитизм", и "демократизация искусства", и "декаденты" и т.п.

А на деле все это сводится к тому, что любит Сталин и чего он не переносит. Какая музыка доставляет ему удовольствие и какая действует на него "как бормашина зубного врача или музыкальная душегубка" (по выражению Жданова).

Правительственные концерты, как в Большом театре, так и в Кремле представляют собой грандиозный музыкально-балетный винегрет, в котором

редко принимают участие меньше 400–500 артистов и музыкантов. Как те, так и другие, за участие в этих концертах ничего не получают. Они выступают всегда бесплатно и я сомневаюсь, что когда-нибудь, кто-нибудь отказался от этого рода благотворительной деятельности”.

Нам тоже за наши концерты ничего не платили, но ставкой была не еда с барского стола и правительственная награда, а жизнь, гарантированная спасением от общих работ (все мы успели до ансамбля на них побывать и хорошенько “дойти”) и допайком. Но было ли это соображением единственным и даже ведущим? Думаю, что для большинства артистов не было ни “на воле”, ни в лагере. Властно влекущим к себе, окупающим все сделки с начальством и с совестью оставалось то, что удавалось протаскать сквозь все минные поля идеологического ритуала и цензуры и подарить зрителю и себе. Уровни ГОСЕТа и лагерного ансамбля (даже при том, что в нем были недавние заслуженные артисты) несопоставимы, но сопоставимы уровни искренности, отзывчивости зрителей и чувства удовлетворенности в лучших артистических проявлениях любых сценических коллективов.

В 1947 году, уже на Чемолгане, мы ставили литературно-драматическую композицию по “Цыганам” Пушкина. Читался весь текст, по ходу чтения игрались драматические сцены. Алеко играл самый красивый представитель мужского пола, встреченный мною в жизни, все тот же Эшель (эшель на иврите означает “тамариск”, так что чех, возможно, был с некоторым изъясцем, но на Гришиной безупречно славянской внешности это не отразилось). Он был великолепен в своей роли, но ничто не могло преодолеть его неистребимого украинского акцента. На репетициях шлифовалось каждое слово, но на сцене он неизменно произносил: “Умры ж и ты!” — чем повергал меня в полное отчаяние. Земфиру играла азербайджанка Мара Чарикова, гимнастка и акробатка, совершенно очаровательная внешне и очень естественная в своей роли. На участке было много натуральных цыган. Мы привлекли их к постановке. Свою песню у очага (“Старый муж, грозный муж...”) Земфира пела на мелодию, напетую ей цыганками. Композиция сопровождалась хорovým пением цыган, настоящей цыганской музыкой. В сцене похорон Земфиры и молодого цыгана участвовал весь “табор”, страстно увлекшийся постановкой. Текст читался вполне профессионально и очень искренне. В отличие от нас, цыган не разрешали вывозить за пределы зоны, и композицию нельзя было представлять в гастрольных поездках. Жалею об этом по сей день, ибо это

лишило высокой и чистой радости, спасительной в том пространстве отдушины многих людей. Мы показали "Цыган" несколько раз на своем участке, где было примерно две тысячи заключенных. Начальство специально ездило в зону его смотреть.

"Безвзяточные" номера были у нас в каждой программе. И они окупали в какой-то степени такие обязательные уродства лагерного репертуара, как марш "Перековка" или самокритичные частушки на местные темы. Или не окупали? Ведь были еще и пропагандно-идеологические номера, обязательные в лагере не менее, чем "на воле". Ставился, например, монтаж "Волга—Волга" с песнями, танцами и стихами, восстанавливающий историю Волги от Разина до Сталинградской битвы, финал которого был сделан, примерно, в таких тонах: "И над миром, к победам ведя, поднялось, как пурпурное знамя, имя города, имя вождя!" Но, когда я, освободившись, занялась со школьниками художественной самодеятельностью и с пьесой-сказкой "Город мастеров" мы попали на областную олимпиаду, оказалось, что песня о Сталине, та или иная, исполняется в начале программы всеми без исключения хоровыми коллективами, повторяясь на протяжении дня буквально десятки раз. Окупались ли романтическим "Городом мастеров" или головокружительной украинской пляской бесчисленные песни о Сталине?

Искренний, мудрый и человечный Булат Окуджава заканчивает каждый свой заграничный концерт и почти каждую пластинку песней о гражданской войне: "...я все равно умру на той, на той единственной, гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной..."

Я тоже писала когда-то о своих товарищах и о себе: "Ах, пионерские кумиры и страсть корчагинская та!.. Ах, конвоиры, конвоиры, дозорных вышек маята!.. Бессонно, как врагов заклятых, нас берегли и стерегли, а мы смотрели вглубь двадцатых и насмотреться не могли..." Но прошли годы и пришло понимание. А пронзительному и чуткому Окуджаве неужели по сей день невнятно, чем обернулась для России и мира "та единственная, гражданская"? Может быть, без этой красивой песни — маленькой ритуальной взятки — не споешь остальных, безусловно искренних песен? Или кажется, что не споешь... Где кончается беспощадная внешняя цензура и начинается внутренняя, услужливо подсказывающая путь компромисса?

Только положив перед собой три книги: книгу Юрия Елагина, книгу Наталии Вовси-Михоэлс и сборник Соломона Михоэлса

“Статьи, беседы, речи” (Государственное издательство “Искусство”, Москва, 1960), можно постичь глубину того постоянного раздвоения, которого требовали от Михоэлса, с одной стороны, его служба искусству и через него — зрителю, с другой, — его официальное положение на советской “воле”.

Михоэлса один из его просвещенных друзей называл “раввиноидом”, ибо великий артист был с детства активно причастен не только светской культуре на идиш, но и традиционной еврейской духовной культуре на иврите. Даже в официальных своих выступлениях Михоэлс почтительно вспоминал о талмудической (так он и говорил) образованности своего отца. Семья была большая, и отец вроде бы вел с грехом пополам какое-то дело, чтобы ее кормить, но в действительности его занимали и заполняли только философские проблемы иудаизма, в которые он был погружен все время, вырванное им из повседневности. Есть много охотников говорить и писать о еврейском меркантилизме, но многие ли отмечают не менее распространенное еврейское свойство пренебрегать насущно необходимым ради хлеба духовного? Многие русские интеллигенты-евреи, принадлежащие только к русской культуре, искренне ностальгируют по дворянской усадьбе или по аристократическим салонам XIX века, упуская из виду, что их (их предков) не пустили бы на порог этих салонов, да и не пересекались пути их прадедов с путями тех, в ком они ощущают сегодня своих предшественников. У Михоэлса было живое ощущение своего еврейского прошлого, в котором его отец и деды жили полноценной и своеобразной духовной жизнью. Книга дочери и репертуар ГОСЕТа, сыгранный и несыгранный (например, “Принц Реувени” по Макс Броду не увидел света), свидетельствуют, что Михоэлс, насколько это было возможно, приобщал еврейского зрителя к фундаментальным ценностям родной культуры. Насколько это было возможно...

Но вот уже в 1960-м, либеральном, году выходит сборник его статей и речей, и в предисловии Ю. Завадский только одной короткой фразой упоминает о его “связи с многовековой культурой еврейского народа”. Зато предисловие пестрит заклинаниями типа: “...это был настоящий советский художник, государственно мыслящий, превосходно, глубоко, проникновенно вобравший в себя русскую культуру”. “Он был необыкновенно чуток и прозорлив в своем понимании современности, в своем провидении завтрашнего дня...” Что ж, это, несомненно, так и было: книга дочери

свидетельствует о его трагическом восприятии современности, об ожидании гибели еще в 1930-е годы. Но Ю. Завадский говорит совсем не об этом. Чуть дальше он пишет: "Он был подлинным советским патриотом, настоящим беспартийным коммунистом, я это утверждаю со всей ответственностью. Он верил в учение Ленина, верил в завтрашний день нашей страны". Дочь рассказывает, чего он ждал от этого завтрашнего дня. Но Ю. Завадский решительно стирает трагические черты с лица Михозлса. В его предисловии нет ни слова ни об убийстве великого артиста (хотя бы общепринятого в те времена в подобных случаях "Трагически погиб"), ни об истреблении его коллег и друзей, ни о его посмертном ошельмовании, ни об уничтожении его архива. Этот документ свидетельствует, что и в 1960-м году в "большой зоне" оставались в силе все правила "лакировочной" риторики "малой зоны" и сталинского периода в целом. Преисполненный, вероятно, самоуважения (еще бы: он способствует реабилитации честного человека и большого мастера), деятель искусства 1960-х годов не свободней в своих высказываниях, чем мы в своем лагерном репертуаре. В сборнике нет многих неортодоксальных выступлений Михозлса, о которых упоминает в своей книге его дочь. В нем есть и относительно смелые утверждения. Но в нем, к превеликому сожалению, имеются и высказывания, которые дают Ю. Завадскому основания "ответственно заявлять" о коммунистической ортодоксальности своего старого друга. Книга дочери позволяет числить эти высказывания Михозлса по ведомству дипломатической игры с орвелловским Министерством правды. Но намного ли легче от этого их читать?

1936-й год. "Правда" громит "формалистов" в театральном искусстве. В статье "О формализме и натурализме" Михозлс не только восславляет указующий перст "Правды", не только приводит, совершенно некстати, длинную цитату из "Детской болезни левизны" Ленина, но и завершает статью таким выпадом, который, будь он снабжен фамилией, мог бы крепко ударить по предмету высказывания: "Формалист — это человек определенного содержания, в его позиции есть политический смысл, и смысл вредный. Уход от действительности объективно означает нежелание участвовать в преобразовании действительности".

Нелегкое обвинение для тех времен. И это при том, что, по словам дочери, вне собраний и прессы, часто искажавшей его выступления, Михозлс общался с гонимыми и их поддерживал. И одновременно во многих других выступлениях им отстаивается "право

художника на прием", на символизм, на формальные поиски, ведутся споры с принудительным "омхачиванием", с тезисом всепригодности системы Станиславского, делаются ссылки на Библию как на первоисточник еврейской культуры. Но такие высказывания перемежаются с риторическими фигурами, вызывающими горечь и стыд. Так, в 1935 году, в статье "Право на прием" в качестве примера обедняющей схематизации действительности приводится трактовка советскими драматургами темы коллективизации. Дочь рассказывает о настроении в доме в начале 1930-х годов, о беседах старших, несомненно знавших об ужасах коллективизации. Здесь невозможно, подобно Раисе Орловой в ее воспоминаниях "о непрошедшем времени" (действительно, непрошедшем), оправдать сказанное непониманием происходящего. Однако Михоэлс требует от драматургов не "штампов" и "схематизма", а показа "конкретных форм, которые процесс коллективизации принимал в нашей действительности", призывает писателя "оставаться верным... этой конкретной действительности". И приводит пример: для грузинских крестьян с их традиционным широким гостеприимством было очень важно знать, как в колхозах решится проблема домашнего приема гостей, а драматурги просмотрели эту проблему... Комментариев этот пример на фоне только что завершеного коллективизаторского истребления целого класса, о котором знали мы все, не требует...

В 1939 году Михоэлс выступает с докладом о роли и месте режиссера в советском театре на той же Всесоюзной режиссерской конференции, на которой выступил последний раз в канун своего ареста Мейерхольд. В этом выступлении много приближений вплотную к различным профессиональным истинам, много мудрых и точных реплик. Часть зала оно было воспринято как еретическое. Об этом свидетельствует отстаивание Михоэлсом своей правоты в заключительном слове. И вдруг неожиданное: "Почему наши драматурги занимаются схематизмом? Потому что они перестраховываются". Какая горькая смесь правды и лжи! В 1939 году, за день до ареста Мейерхольда, еще не ясно, почему драматурги перестраховываются? Во всей речи ни слова о Сталине, о партии, зато много о Библии, о талмуде, о народной мудрости. Но в финале восславлено "...призвание художника — гражданина нашей замечательной с в о б о д н о й советской страны!" Это притом, что, по словам дочери, исчезали каждодневно друзья, притом, что, не смея сказать об этом ближайшим товарищам, чувствовал дочь за ее отказ всту-

пить в комсомол... Вот вам и атака против "перестраховщиков".

В статье "Драма и театр" (1939 г.) Михоэлс опять обрушивается на драматургов за "схематизм" и опять дает заведомо ложную схему объяснения этого неизбежного для тогдашних пьес на злободневные темы явления.

Сам всегда мечтающий о классическом еврейском и общечеловеческом, прежде всего — шекспировском, материале, Михоэлс в этой статье без точного адреса обрушивается на театры, которые в классике пытаются спастись "от навязываемых и, по их мнению, чуждых искусству отступлений в сторону идеологии". Он называет это "свидетельством нищеты и убогости мысли" (а сам не то же ли самое делал?). Он явно бьет по лежащим, когда пишет, что "художники, очевидно, недостаточно связаны с окружающей их конкретной действительностью". И раздражается обличениями: "Быть оторванным от нашей действительности (чуть выше — "творчески насыщенной действительности") — значит быть оторванным от народа, не понимать нашей действительности, не понимать наш советский народ".

Единственное оправдание этих выпадов против загнанных в тупик драматургов — то, что в них нет фамилий.

"Весьма часто художники опасливо относятся к нашей действительности и не решаются нырять в ее глубь". Разве не ясно, чем обернулся бы такой "нырок"?

"Обывательщина не позволяет художнику стать творцом подлинного, жизненно правдивого жанра". Бедная обывательщина...

Вот и заказал бы художнику сюжет о том, как ночами караулил Иду Лашевич и как ее увели через два часа после его ухода. Или как просил старшую дочь не отречься от отца в случае его ареста...

Никто никогда не определит, насколько обязательны и неизбежны были для актера и режиссера такие выступления, насколько они результат диктата, а насколько — автоматической самоцензуры. Ведь нам в лагере тоже не диктовали каждое слово. Давались общие установки, а порой их не надо было и давать: они разумелись сами собой. Мы их знали и выполняли без напоминаний.

Может быть, самое угнетающее впечатление производит последнее официальное выступление Михоэлса, на котором я останавлиюсь. Я говорю о нем потому, что дочь, проникновенно свидетельствуя об истинном состоянии духа Михоэлса, лишь один раз глухо упоминает о той раздвоенности, о той обязательной лжи, которая составляет горький удел любого официально работающего худож-

ника в тоталитарной стране. Удел, горький даже тогда, когда художнику доступны периодические прорывы в истинное искусство и настоящая самоотдача. Речь идет о второй половине 1940-х годов, когда Михоэлс все реже появлялся на сцене, потому что, по словам дочери, ему нечего и нечем было играть (работу над "Принцем Реувени" — пьесой отнюдь не советской — прервет убийство), когда он гневно обрушился на младшую дочь за ее вступление в комсомол, когда он все отчетливей видел нарастание казенного антисемитизма и воспринимал существование своего театра как ширму, призванную до поры до времени это явление скрывать, когда он все более отвращался от навязываемого свыше репертуара.

Речь на собрании работников московских театров, драматургов и критиков (журнал "Театр" № 9 за 1946 год — время, когда мы ставили свои лагерные монтажи о победе) была откликом, и немедленным, на постановление ЦК ВКП (б) от 28 августа 1946 г. "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению". Мы никогда не узнаем, предшествовало ли этому выступлению "указание" (приказ) выступить определенным образом или сработал привычный автоматизм перестраховки.

"Сегодня... начинается поворотное, исключительное по своей интенсивности и направленности движение вперед нашего искусства. В этом значение постановления ЦК ВКП (б)". Тирада о долговечности классических пьес в репертуаре и о кратковечности советских пьес завершается вопросом: "Чем это объяснить?" Поставив после упомянутого постановления, в 1946-м году, такой вопрос, нельзя было не солгать в ответе, нельзя было не обвинить в этом весьма симптоматичном факте драматургов, а не давящую на них силу. Заклинания "быть современным, быть советским — в этом-то и заключается призвание советского театра". "...Вне боевого духа советской современности нет и не может быть советского театра". Советский репертуар — это прежде всего советские пьесы, вслед за которыми в репертуаре может быть и советское прочтение классики и наша советская оценка прошлого". Талант не искупает и не перекрывает безыдейности: "И талант должен быть подчинен идейной цели, ...служить высоким идеям советской эпохи, проводить политику Советского государства, жизненной основы советского строя". Реплика: "Мы все призваны быть политиками, в этом гордость советского художника!" — открывает пламенную филиппику против безыдейности и аполитичности зарубежных художников, с которыми Михоэлс так сердечно общался

во время своей поездки на Запад в годы войны. "ЦК партии... напомнил театрам и работникам искусства об их ответственности перед советским народом и советской страной".

Был ли смысл в рискованном (весьма рискованном) уклонении от вступления в партию при необходимости произносить столь безупречно партийные речи?

Уже здесь, в Израиле, дочери узнали, что их отец, будучи во время войны в Америке в качестве председателя Еврейского Антифашистского комитета, говорил Хаиму Вейцману, будущему первому президенту Израиля, и его другу Мейеру Вайсгалю: "У еврейской культуры в России нет будущего. Сейчас нелегко, но будет еще хуже. Мне много известно, а еще больше я предвижу" (стр. 214). Однако ради жизни театра, семьи и своей Михоэлс не мог высказать у себя на родине вслух и намека на подобные опасения.

Но тоталитарного удава нельзя загипнотизировать заверениями в лояльности, если почему-либо он чувствует (и тем более — знает) инородность, иносущность себе истинного естества заверяющего. И антисемитов еврей не может убедить в своей доброкачественности, сколь бы безупречно с их точки зрения он ни старался себя вести. Тем более, что "раввиноид" Михоэлс на глазах у осведомителей помогал гонимым, поддерживал с ними связи, упорно сохранял еврейскую классику в репертуаре ГОСЕТа и все реже выходил на люди со своей работой, потому что вопреки всем своим ортодоксальным декларациям не мог приспособиться к обстоятельствам и играть в плохих, но "идейных" пьесах.

Я, после лагерных общих работ и лагерного ансамбля, писать для печати уже не могла, хотя до лагеря, совсем еще юной, уже печаталась. Но многолетняя работа в советской школе не раз вынуждала меня платить казенной ложью за возможность дать что-то подлинное (мне думается, что подлинное) детям. Лагерное искусство снова и снова возникало перед моими глазами как заостренная и концентрированная модель того, что всем "работникам идеологического фронта" приходилось (и приходится!) делать "на воле". Пока, наконец, я не произнесла для себя нечто тождественное библейскому изречению, которое так часто повторял Михоэлс: "Ни мне меда твоего, ни укуса твоего". И, подобно обеим дочерям Михоэлса, приняла на свои плечи всю благодатность и всю тяжесть свободы.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Катастрофа — ужаснейшее событие в истории человечества. Можно понять погром; можно понять убийство мирных граждан в пылу схватки; но уничтожение шести миллионов евреев, осуществлявшееся промышленно-конвейерным способом на протяжении нескольких лет, остается недоступным человеческому пониманию.

Явилась ли Катастрофа новым свидетельством человеческого падения? Стирания и наконец полного исчезновения всех человеческих ценностей? Либо стала новым, громадным открытием мук любви для таких людей, как Януш Корчак, которые по примеру нашего праотца Исаака и христианского Иисуса добровольно принесли себя в жертву, чтобы искупить тот страшный, безвыходный лабиринт, где заплутали человек и его Бог? В понятиях, привязанных к “здесь” и “сейчас”, мы этого никогда не поймем. Необходимо вновь вернуться к вопросу, который повторялся снова и снова, пока не набил оскомину: как мог народ Баха, Гете, Шиллера и Томаса Манна создать Освенцим?

Много уже говорилось о скудости результатов исследования корней нацизма и Катастрофы, в плане раскрытия их причин, — быть может, из-за громадности событий, которые не поддаются анализу. Ссылки на экономичес-

Шломо Шохам

ВАЛГАЛЛА,
ГОЛГОФА И ОСВЕНЦИМ

кую, политическую и общественную структуру могут способствовать пониманию этого явления, но самих по себе их недостаточно. Приходится вновь указать, — рискуя повторить при этом общеизвестное, — что никакая теория, основанная на одном-единственном объяснении, не может сама по себе объяснить это событие. Можно, конечно, выдвинуть идею, что евреи были для нацистов “козлом отпущения” (эту теорию разделял Сартр и многие другие), и развернуть эту идею в причинную модель, — но сама эта модель мало что объясняет. Возможно также, что “банальность зла”, по определению Ханны Арендт, была одной из характерных черт нацизма, но попытка построить на этом полную теорию нацизма и Катастрофы была бы упрощенчеством. Попытка наклеить на Гитлера ярлык безумца, психопата и сексуального извращенца лишь затемняет дело. Важнее понять, как случилось, что этот буйствующий безумец едва не овладел всей Европой и чуть не выиграл вторую мировую войну. И почему почти весь немецкий народ пошел за ним. Ведь сопротивление Гитлеру появилось лишь на поздней стадии, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание и подарить Германии всемирный тысячелетний Рейх.

Первая отправная точка в предлагаемой нами модели — общность основных особенностей Гитлера и его приспешников. Сам Гитлер ненавидел общепринятые законы, условности и нормы; он искал и находил способ игнорировать светские и религиозные традиции; его литературные вкусы влекли его к “Штюрмеру” Штрейхера, который он жадно поглощал от первой до последней страницы. (“Штюрмер” был фантастически антисемитской газетой, со множеством иллюстраций, “мягкой” порнографией и политическими сплетнями). Гитлер верил в подлинность “Протоколов сионских мудрецов”. Он верил в астрологию и магические силы. Своим личным врачом он назначил шамана. Он любил играть жестокие шутки со своими подчиненными. Агония заговорщиков 1944 года, которые были удушены струнами рояля, снималась на пленку для садистского удовольствия Гитлера.

Во время ареста Геринга были обнаружены два чемодана с опьяняющим наркотиком паракодеином, к которому Геринг питал пристрастие. Его коррупция, взятки, массовое похищение им предметов искусства едва ли не превышали все известное нам в истории. В нацистской Германии не существовало власти закона, и потому Геринг, со своим уворованным имуществом, смог избежать наказания. Но он и не думал скрывать свои поступки — напротив, он ими

гордился. В своем дворце он выходил к гостям в бархатной мантии, украшенной огромными алмазами, сафирами и рубинами. Затем, карикатурно имитируя императора Нерона, он демонстрировал произведения искусства, похищенные из музеев Европы. Картины висели на стенах дворца в три—четыре плотных ряда, без всякого учета стиля, художника, школы или периода.

Речи и статьи Штейхера являлись смесью ругани, невежества и недомыслия. Раздеваясь для физического обследования в Нюрнберге, он развязно подмигнул русской переводчице и заявил, подразумевая свой половой орган: "Вам предстоит увидеть красивую штуку". Всякому, кто готов был слушать, он рассказывал об импотенции Геринга; при встречах оба препирались, словно два мясника.

Йозеф Геббельс, хромой министр пропаганды, обладавший широкими сексуальными аппетитами, считался также авторитетом в вопросах художественного вкуса, в основном — в области кино. Честолюбивые актрисы знали, что самый верный путь к успеху пролегает через постель, точнее — через многочисленные спальни министра пропаганды.

Как же мог 80-миллионный народ, славившийся просвещенностью и культурной утонченностью, принять без всякого реального сопротивления абсолютную власть подобного сборища гангстеров? Объяснить это можно лишь лихорадкой религиозного помешательства, и профессор Уриэль Таль уже указывал на религиозный характер нацистского движения, — но о какой религии может здесь идти речь? Я полагаю, что нацизм, как макрокриминалогическое явление, следует рассматривать как своего рода "черную религию", извращенную религиозную веру, вроде учения еврейского еретика 18-го века Якова Франка, утверждавшего, что нарушение заповедей и есть их наилучшее исполнение. Определенные мистические секты всегда утверждали, что в мире, где властвует зло, человек, стремящийся выжить, должен принять законы зла. Жан Жене, например, создал новую "святую Троицу" из гомосексуализма, воровства и предательства, на основе которых построил целую нормативную систему, полностью противоречащую обычной морали. Мы могли бы определить нацизм, как "религию зла", пришедшую к власти. Полное отрицание ею иудео-христианских законов морали и сострадания сделало все возможным и дозволенным. Когда преграды иудаизма и христианства были сняты, можно было высвободить первобытную ярость тевтонского варварства. Не случайно Гиммлер верил, что является реинкарнацией саксонского короля десятого

века Гейнриха, а Геринг в пьяном виде сравнивал себя с вождем древнегерманского племени и прыгал по столам, пытаясь сплясать тевтонский военный танец. И так же не случайно считалось, что все солдаты, погибшие в ходе смертоубийственного нацистского безумия, должны воскреснуть в Валгалле.

Можно думать, что нацистский антисемитизм был связан с проявлением определенных черт немецкого национально-исторического характера. В книге "Миф о Тantalе" мы уже выделили два главных, на наш взгляд, типа личности — "объединительный" и "разделительный". Первый стремится к гармонии с внешним миром, сосуществованию с ним, вплоть до растворения и потери своего "я". Второй противопоставляет себя внешнему миру и навязывает ему желанную ему упорядоченность, гармонию и красоту как он их понимает. Человеку изначально присущи обе тенденции. Сам акт рождения уже отделяет его от внешнего мира; затем он осознает отдельность своего "я", узнавая его границы; и наконец, взрослея, он вступает в социальные отношения, которые четко очерчивают пределы этого "я". В то же время в процессе всей своей жизни человек испытывает постоянное стремление преодолеть эту изоляцию, стать частью мира, слиться с ним. Но полное слияние с миром недостижимо без потери своего "я"; поэтому в каждый данный момент человек ощущает разрыв между стремлением к объединению и самосохранением личности. Этот разрыв можно назвать "танталовым" состоянием — по имени героя древнегреческой мифологии, который вечно стремился, но не мог дотянуться до объектов своего желания. В зависимости от того, какая тенденция доминирует в человеке, его можно отнести к "танталову" типу или к типу противоположному, "разделительному", который пытается достичь гармонии путем "преодоления", преобразования внешней реальности. Этот последний тип можно назвать практически деятельным, преобразующим, наконец — "сизифовым" (по имени другого мифологического героя, обреченного на вечный труд, конечная цель которого столь же недостижима, как конечная цель Тантала). В отличие от "сизифова", "танталов" тип, признающий существование гармонии и упорядоченности скрытой за внешней хаотичностью мира, и стремящийся поэтому не столько преобразовать реальность, сколько принять ее законы, слиться с ней, стать ее частью, можно было бы назвать еще "умозрительным", признающим трансцендентную закономерность, "созерцательным".

Когда эти характеристики прилагаются к группам или культурам, возникает понятие "национального типа". Понятно, что он никогда не встречается в культуре в чистом виде. Реальные разновидности национальных типов можно расположить вдоль непрерывного ряда, в котором один полюс будет чисто "танталовым", а другой — чисто "сизифовым". В таком ряду культуры северо-западной Европы, приведенные в историческое движение протестантством, окажутся ближе к "сизифову" полюсу, тогда как наиболее близкими к "танталовому" краю окажутся культуры, подобные буддистским или синтоистским (японским).

Вполне возможно, что деятельно преобразовательные тенденции культур северозападной Европы коренятся в этосе германских племен, наводнивших Европу с молотом бога-громовержца Тора в руках, этим символом мощи и завоевания. Некогда эти племена освободились от страха перед загробной жизнью — посланные богом войны Одином девы-валькирии должны были перенести убитых воинов в вечное счастье Валгаллы; позднее они восприняли от протестантства идею деятельного покорения природы (отсюда прославление ценности труда в учениях Лютера и Кальвина). Эта идея получила развитие в философских теориях Гегеля, который усматривал в "действии" необходимый мост между субъектом и объектом, и Маркса, призывавшего обратить все средства производства на построение будущего.

Если немецкий общественный характер находится ближе к "сизифову" полюсу нашего ряда, то еврейский, напротив, довольно близок к идеальному, "умозрительному", "танталову" типу. Евреи были первыми первозвестниками абстрактного монотеизма в Европе. Этот монотеизм утверждал существование единого (то есть объединяющего) Божественного Закона и необходимость подчинения человечества этому Закону. Религия вообще есть центральный элемент национального характера, и религиозный монотеизм евреев, осознание ими своего первенства на этом пути, "избранности" для проповедывания миру этой Истины, во многом способствовало их чувству "танталовой" объединенности друг с другом и с миром (с Богом). Другой фундаментальный факт — поразительная способность евреев выживать в бесконечных столкновениях с различными видами "сизифова" национального типа. Первым таким столкновением был конфликт между еврейством и эллинизмом после завоевания Востока Александром Македонским — до тех пор евреи пребывали в среде близких им по характеру ближне-

восточных культур и религий, и эллинистическая цивилизация была первой европейской культурой "сизифова" типа, с которой они столкнулись. Второе столкновение произошло с эллинизированной римской культурой после завоевания Ближнего Востока Римом. В действительности, как почти во всякой культуре, в еврейской к тому времени тоже начинали возникать "сизифовы", деятельно-преобразующие склонности; но в ходе упомянутых столкновений этим тенденциям был нанесен смертельный удар, стремление к практическому преобразованию мира было пресечено, восторжествовали умозрительные, трансцендентные, "танталовы" тенденции, и на протяжении нескольких последующих веков евреи были объединены не столько практической деятельностью, сколько духовными талмудическими центрами, утверждающими идею Божественного Закона и подчинения ему. Затем последовало окончательное рассяние евреев по Европе и Ближнему Востоку, где к этому времени уже господствовало некогда отвергнутое ими христианство — синтетический результат столкновения иудаизма и эллинизма. Будучи "танталовым" меньшинством, евреи неизбежно оказались изолированными внутри правящего, практически-деятельного, преобразующего мир, "сизифова" большинства европейских народов. Эта ситуация уже предвещала будущую Катастрофу. Таким образом, ее семена, в конечном счете, были посеяны уже во фронтальном столкновении еврейства и эллинизма в четвертом веке до нашей эры.

С четвертого века до н.э. и далее евреи были отданы на политический произвол греческой, а затем римской власти; они зависели от симпатии или антипатии этих правящих культур во всем, что касалось их доходов, процветания или даже самого существования. Политическое рабство евреев не было решающим фактором — история знает частые случаи такого рабства за много веков до завоеваний Александра, не приводивших к коренному изменению еврейской ситуации. Но египетская, вавилонская или персидская империи, под политическим покровительством (и культурным влиянием) которых попеременно оказывались Израиль и Иудея, были более "танталовыми" по своей природе и потому ближе к еврейскому национальному характеру. Напротив, культуры Греции и Рима, крайне "преобразовательные" по духу, практически деятельные по устремлениям, были полностью противоположны этому характеру. Греческий дух всегда был устремлен к гармоническому преобразованию внешнего мира (включая сюда и весь пантеон

греческих богов), тогда как еврейский характер оставался верен поиску внутренней гармонии бытия и своего места в нем. Это стремление слиться с всемирной гармонией (в конечном счете, с Богом) не оставляет места для любования объектами внешнего мира, разрыв евреев с пластическими искусствами и запрет Талмуда на создание статуй и картин известны не менее широко, чем прямо противоположные склонности у греков. Евреи всегда стремились к абстрактности, которая пронизывала их веру и культуру; культура и религия греков были конкретными — начиная с образов богов и кончая искусством. Греки навязывали внешнюю гармонию как своему материальному окружению, так и духовному миру; они упорядочивали свое жизненное пространство и время в соответствии со своим представлением о гармонии, с заранее установленными нормами красоты и упорядоченности; они пытались подчинить косный хаос, придав ему "сизифову" организацию. Евреи же примирались с полным хаосом материального мира, полагая, что она имеет внутреннюю упорядоченность и стремясь выявить тот морально-нормативный Закон, который придавал значение и смысл как посюстороннему, так, в особенности, потустороннему миру. Евреи, таким образом, полагали главным "трансцендентное", тогда как греки считали более важным "здесь" и "сейчас", полагая все остальное (включая потусторонний мир) их "продолжением". "Танталовы" тенденции, преобладавшие в еврейском национальном характере, отразились в еврейском монотеизме; "сизифовы", преобразовательные тенденции греческой культуры нашли выражение в ее политеистичности, в умножении сущего, в дроблении материального окружения.

Греко-еврейское столкновение сыграло такую роль в исторических судьбах Европы и ее культуры, что некоторые ученые, в том числе Грец, стали даже преувеличивать его важность и утверждать, что два этих народа заложили основы европейской цивилизации. Не наше дело останавливаться на истинности этого утверждения; несомненно, однако, что полярная противоположность еврейской и эллинистической культур создала широчайшее пространство конфликта и богатейшие возможности культурного синтеза. Из всех культур, покоренных Александром и его преемниками, лишь евреи последовательно отказывались принять нормативные установки греков. Уже одно это сделало иудео-эллинистическое столкновение особым в своем роде — как по жестокости самого конфликта, так

и по важности синтетических культурных явлений, последовавших за ним.

Одним из результатов этой полярной противоположности явилось то, что еврейский народ, склонный к отказу от своего "я" в материальной сфере, уступил свою политическую независимость сизифовым культурам материально-практицистского толка, предпочтя ей независимость духовную; столетия рассеяния были для евреев временем нарастания духовного элемента, что проявилось затем, в период эмансипации, в непропорционально большом числе евреев-интеллектуалов. Но уступив эллинизму сферу материального, евреи не приняли его духовной культуры, его "разделительной", политеистической религии, поскольку верили в превосходство своего абстрактного монотеизма. Подобным образом они отвергли и христианство, выросшее из иудаизма, — не в последнюю очередь потому, что в нем были сильны "разделительные" элементы — например, множественность Троицы и двойственность (божественная и человеческая) Иисуса. Евреи не приняли христианство по причине незыблемой преданности своей религии; напротив, греки и римляне приняли его потому, что их собственные религии пришли в упадок. Определенную роль в этом принятии сыграло также то, что в христианстве (несмотря на господствующие "разделительные" мотивы) сохранились также сильные "объединительные" (заимствованные из еврейской и других ближневосточных религий) элементы, а греко-римский мир был к тому времени уже подготовлен к их восприятию предшествующим длительным восточным религиозным и культурным влиянием.

В противоположность греко-римскому миру, германские племена к моменту обращения — зачастую насильственного — в христианство находились в зените своей направленной на внешний мир экспансии. Поэтому распространение христианства в среде германских культур, особенно тех, что не прошли процесса латинизации, не было органическим явлением. Не случайно германские императоры постоянно стремились сбросить ярмо папства. Тенденция эта несомненно имела свои политические, светские и иные причины. Но конфликт усугублялся и противоречием между императором, концентрирующим "разделительную" власть, и папой, чья (провозглашенная) цель состоит в объединении мира на основе трансцендентной иудео-христианской морали. Первое открытое восстание против объединительных элементов в христианстве было поднято

Лютером и сторонниками последнего — немецкими протестантами. Это вновь доказывает, что иудео-христианские объединительные элементы не были органически впитаны немецким разделительным характером и не смешались с ним. Наконец, когда после эмансипации евреи пытались вписаться в немецкую культуру, они неизбежно стали при этом исходить из присущих их характеру тенденций; поэтому значительная часть произведений культуры и искусства, созданных евреями Германии, была попыткой синтеза еврейских "объединительных" ("универсальных", "космополитических") идей с немецкими ("разделительными") культурными образцами, служившими исходным материалом для еврейских художников и ученых. Этот синтетический продукт не был ни понят, ни принят подавляющей массой немцев. Однако нормативные преграды объединительных элементов христианства еще сохраняли немецкий общественный характер в состоянии хрупкого равновесия. Когда же это равновесие было нарушено нацистами, отвергшими христианство, как веру, навязанную евреями свободному немецкому духу, все взлетело на воздух. Тевтонская ярость взорвалась в припадке "сизифова" безумия, накопившегося под многовековым давлением нравственных законов, моральных принципов, абстрактного, трансцендентного Божества. Когда произошел этот взрыв, ничем более не сдерживаемые "преобразовательные" силы двинулись во всех направлениях, главным же образом — против евреев, воплощавших ненавистные нравственные засылы в морали, религии и культуре. И действительно, если моральные и юридические запреты, исходившие от единой трансцендентной сущности, являлись лишь частью презренной еврейской традиции, которую требовалось отбросить, — все становилось возможным. Перетолковав слова Ницше, нацисты провозгласили, что иудео-христианский Бог умер и потому тевтоны, эти высшие люди, отныне сами становятся богами. В своем новом воплощении, во главе с Гитлером—Одином, эти "божественные существа" могли теперь взяться за перестройку мира, развить новую расу "сверхлюдей" и уничтожить людей низшего сорта. Так стала возможной Катастрофа.

"Ядерный взрыв" Катастрофы был неизбежным на том диалектическом пути, исходной точкой которого была встреча иудаизма и эллинизма и их синтез в христианстве; промежуточной — принятие христианства европейскими культурами и отказ от него евреями; и заключительной — новая встреча постэмансипационного ев-

рейского характера (все еще во многом объединительного) с отвергшим навязанное "объединительное" христианство, "разделительным" по своей природе немецким типом. Когда нацистское движение, придя к власти, отвергло систему иудео-христианских морально-нормативных заслонов, Катастрофа стала не только неизбежной, но и возможной. Ее безумие и жестокость превзошли все мыслимое и исключили любую возможность нового синтеза. Евреи Европы погибли, их культура была уничтожена. Немецкая культура, лишившаяся второго полюса, пережила "сумерки богов". И не исключено, что этот взрыв тевтонской ярости положил начало процессу, который может увенчаться реализацией орвелловского пророчества о конце времен.

Одной из основных особенностей иудаизма является гармоническое сочетание "здесь" и "сейчас" с потусторонним миром в нормативном единстве Торы. Единство Торы охватывает каждого еврея и весь еврейский народ. Приучение человека к этим нормам начинается с детства и осуществляет его отец (или его заместитель); таким образом, этот процесс противоположен эдиповому комплексу. Он направлен от отца к сыну и призван порвать связь между подростком и семьей и ввергнуть подростка в пустыню общественной ответственности, где его уже не защищает любящая семья. Нормативность отпечатывается в подростке путем своего рода "изгнания и жертвоприношения" его. От семейной вседозволенности он переходит в мир, где действует ограничительная система законов и моральных принципов. Жертвоприношение Исаака есть символическое выражение этого подчинения очередной "жертвы" Божественному закону и суду.

Отрицание нацистами иудео-христианских нравственных законов было выражением бунта против иудео-христианской "жертвенности" и ответственности и стремления вернуться в "семью" — в германскую племенную семью, лишенную — что свойственно особенно германскому язычеству — моральных преград. Подобный взгляд, возможно, не вполне совпадает с исторической истиной; но куда важнее, что нацисты исповедовали его, проводя сознательные параллели между нордическо-германской мифологией и современностью. Они отождествляли себя с тевтонскими богами и свое поведение — с их аморальным поведением, подчинявшимся одному лишь принципу силы и превосходства. Исходя из тевтонского мифа, они эмпирически отвергали жертву Исаака (и Иисуса),

которая символизировала принятие иного принципа — принципа Божественного закона, суда и милосердия.

Стремление вернуться к предыдущей, общинной стадии развития было связано с народным националистическим этосом "крови и почвы". Это было возвращение к кровному единству племени на его земле ("почве"), переходящей от одного поколения к другому. Уриэль Таль справедливо указывал, что подчеркивание элемента "крови" в родстве является сердцевинной общественной единства коллектива. Но нацисты пошли в этом подчеркивании еще дальше: отвергнув иудео-христианское понятие первородного греха, они отвергли для себя и понятие вины; тем самым они вернулись к райской невинности, в "сизифовому" чувству всемогущества, которое приписали своему коллективу, связанному кровным родством и племенным расизмом. Эта система кровного и почвенного родства заменила им иудео-христианскую связь по нравственному чувству греха и вины, жертвы и морали. Такой возврат на предыдущие мифоземпирические стадии развития способствовал, тем самым, освобождению нацистского режима от моральности.

Но немец, даже отвергший иудео-христианский закон и вернувшийся к "закону" своей расширенной тевтонской племенной семьи, все еще мог оставаться под влиянием моральных принципов и норм сострадания в личном плане. Именно поэтому нацисты в своей пропаганде так усиленно подчеркивали коллективный элемент: "Один народ, один Рейх, один вождь". Этот лозунг был в их системе взглядов подменой Троицы, выражением идеи множественности в единстве. Недаром Геббельс всячески выпячивал изменения, которые германская личность претерпевает в коллективе, говоря, что "взятые вместе, множество ничтожных червей превращается в дракона". Той же цели служили и сборища нацистской партии, особенно те, что происходили в Нюрнберге, которые призваны были превратить толпу обезумевших крестьян, ремесленников, чиновников и интеллектуалов во вставшего на дыбы, рычащего хищника. Одетые в одинаковую форму, шествующие гусиным шагом нацисты чувствовали, что возносятся в Азгард, это обиталище богов в германской мифологии, где каждый мясник, стекольщик и учитель обращался в бога благодаря магическому голосу вождя — материального воплощения Одина.

Всякий миф есть производное общественных пожеланий, устремлений и опыта. Но когда кто-то настаивает на использовании

мифа в качестве программы для реального существования в постороннем мире — здесь и сейчас, — это неизбежно приводит к несчастью. Немцы мечтали освободиться от нормативных заслонов иудео-христианского закона и морали, от навязанного евреями (как они считали) чувства вины, вернуться к мифической аморальности своего языческого периода, когда миром правили этноцентричные, ксенофобные, склонные к жестокости и произволу тевтонские боги. Нацисты, как отмечал Уриэль Таль, превратили этот тевтонский миф в немецкую реальность. Но, как следует из самой мифологии, можно лишь стремиться к достижению определенных целей — как танталовых, так и сизифовых; достичь же их невозможно. Попытка жить мифом и играть в реальной жизни мифологические роли с необходимостью ведет к исторической трагедии. Когда миф определяется как реальность, он превращается в реальность — по своим последствиям. Именно таковы были последствия отступления к мифу для немецкого народа, для которого мифология перестала быть движущей силой в рамках коллективного подсознания и превратилась в реальность, руководившую политическим, общественным и частным существованием.

Мифологическая мания немцев, пробужденная нацистами, сперва застала Европу и весь мир врасплох. Но позднее нацисты совершили ряд грубых ошибок, стремясь воплотить в жизнь свои мифологические цели и смешивая реальные и мифические средства. Вскоре они покатались в пропасть.

Нацисты нередко играли мифологические роли, в которых реальность и миф сливались в ошибочном и иллюзорном единстве, окутывавшем сознание сюрреалистическим покровом. В Мюнхене, перед второй мировой войной, англичане и французы вели себя в соответствии с правилами дипломатии и международного законодательства, согласно которым обязательные для всех принципы можно сформулировать в соглашениях, связывающих всех подписавших. Но Гитлер и нацисты играли по иным правилам — по правилам тевтонской мифологии, где боги обманывают своих противников без всяких ограничений, где цель оправдывает любые средства ее достижения. Для Гимmlера весь Рейх был священным мифом. В духе короля Гейнриха, реинкарнацией которого он себя мнил, Гимmlер видел в отрядах СС (а затем и во всем немецком народе) расово-племенную единицу, основанную на кровном родстве и призванную подчинить, обратить в рабство, а при необходи-

мости — уничтожить тех, кто не принадлежал к мифической “тевтонской семье”. Гесс, вдохновленный мифическими галлюцинациями, вылетел в Англию, чтобы убедить англосаксонских “племенных братьев” прекратить войну и вернуться в лоно “германской семьи”. Гитлер, уже находясь на краю пропасти, мечтал о создании огромного храма и триумфальной арки. Эта мифологическая “игра ролей” привела к тому, что Гитлер совершил тактическую ошибку, решившую его судьбу уже на ранней стадии войны: после падения Франции он отнесся к Англии, как один из рыцарей “Нибелунгов” к своему собрату; он не атаковал отступающие британские силы в Дюнкерке и не развил наступление на Британские острова, позволив Англии реорганизовать свою армию и подготовиться к обороне. Гитлер, по-видимому, в глубине души считал британцев членами своего мифического семейства и ожидал от Англии мирных инициатив, которые так и не последовали; если бы он оценил положение реалистически, а не сквозь призму мифологизированного сознания, он понял бы, что подобные ожидания несостоятельны. Во всем дальнейшем ходе войны нацисты последовательно проводили в жизнь программу, предначертанную мифологией “Эдд”, особенно ее последним актом. Когда в августе 1944 года Гитлер понял, что Германия проиграла войну, он подтвердил свое заявление от 27 ноября 1941 года, гласившее, что если немецкий народ недостаточно силен для принесения требуемых жертв, он должен исчезнуть. И он действительно провел ряд кампаний, призванных уничтожить Германию, в том числе самоубийственное наступление в Арденнах, истощившее последние резервы немецкой армии. Бедственные решения Гитлера на восточном фронте подставили его армию и страну под удар жаждавших мщения русских, в то время как на западном фронте он пытался задержать наступление куда менее разрушительных союзных сил. 18 марта 1945 года фельдмаршал Кейтель опубликовал приказ фюрера об эвакуации всех немецких граждан на линии продвижения союзников; однако не было обеспечено никакого транспорта, так что предписываемая эвакуация могла стать только маршем смерти. 19 марта Гитлер опубликовал другой приказ, явно отражающий политику “выжженной земли”, — об уничтожении промышленности, систем связи, материальных запасов Третьего Рейха. Шпеер писал, что реализация этого приказа могла привести к “окончательному решению немецкого вопроса” одновременно с “окончательным решением” еврейского. И в этом была глубокая мифологи-

ческая связь. Нацисты воспринимали евреев, как свою противоположность; поэтому если немцы были обречены на гибель, то и евреи, это воплощение "духа противоречия", должны были сопровождать их в этой гибели. Чем более противоположным тевтонскому началу представлялось начало еврейское, с тем большей жесткостью следовало с ним воевать. Только этим можно объяснить огромные материальные и организационные усилия, вложенные немцами в уничтожение евреев. Эти усилия лишь увеличивались с военными поражениями Германии, словно не западные союзники и русские, а евреи были смертельными врагами немцев.

Убийцы вновь и вновь предупреждали евреев о грозящей им гибели. Почему же евреи не обратили внимания на это предостережение?

Гитлер никогда не отдавал письменного приказа об "окончательном решении еврейского вопроса". Вернее всего предположить, что этот приказ был в устной форме отдан Гиммлеру. Передвижные отряды СС, "эйнзатцгруппы", были с апреля 1941 года направлены на "конечную цель", что на языке нацистов означало истребление всех нежелательных элементов на восточном фронте. 31 июля 1941 года "полное решение" еврейского вопроса было распространено на все территории, находившиеся под властью немцев. 20 января 1942 года была созвана Ванзейская конференция для координации действий различных министерств и учреждений, участвовавших в "окончательном решении". Все эти действия выполнялись с тевтонским порядком и аккуратностью. Что же до жертв, то многие исследователи Катастрофы не раз говорили об их ничтожном сопротивлении, о том, что они шли, "как овцы на бойню". Однако в новейших исследованиях доказано, что евреи яростно сопротивлялись и что это сопротивление было распространено более широко, чем принято было считать до сих пор.

Можно утверждать, однако, что вне зависимости от реальной степени сопротивления, оно было бы более сильным и больше затруднило бы нацистам осуществление их замысла, если бы у евреев не существовало подсознательной исторической склонности к жертвенности. Приняв некогда Тору, евреи выработали в себе своего рода "комплекс Исаака", который, расширившись, охватил весь народ; этот комплекс перешел затем и в христианство в виде жертвы Иисуса. Роковая встреча евреев с толпой убийц, только что освободившихся от всех преград иудео-христианского закона и

милосердия, потребовала шести миллионов Исааков и Иисусов, которые, однако, уже не воскресли и не были спасены в последний миг. Катастрофа повторила этот архетип жертвы в лице Януша Корчака, который отверг предложение немцев бросить двести своих воспитанников и этой ценой спастись самому. В этой индивидуальной истории проявился общий нравственный характер еврейского сознания. Еврейский общественный характер склонен к отказу от индивидуального "я" в пользу высшей истины и потому предрасположен к жертвенности. Так возникает макабрический симбиоз жертвы и палача, в котором преследования и пытки только усиливают жертвенную правоту: становясь жертвой, еврей удовлетворяет своему пониманию правящего миром единого нравственного Закона; он избирает страдание как символ превосходства этого трансцендентного порядка над неупорядоченностью аморального "сизифова" мира. С другой стороны, нацисты, именно в силу их "сизифова" характера стремились избавиться от этого комплекса жертвенности, спроецировав его на евреев, избранных на роль "козлов отпущения". Тем самым палач и жертва становились двумя неразрывно связанными сторонами одного и того же архетипа.

Произнеся слова "козел отпущения", мы затронули вторую группу факторов, подготовивших почву для Катастрофы. Это факторы, связанные с самоощущением нацистов, видевших в себе высшие существа, которым противостоит воплощение скверны и зла — евреи. В нацистской Германии еврей изображался как полная противоположность тевтонскому сверхчеловеку. Стереотипно изображаемый еврей не только выступал необходимым контрастом к этому мифологическому тевтонскому герою, но и служил его необходимым дополнением, как бы подтверждавшим реальность мифа. Еврей в нацистской идеологии — это древний "дух противоречия", темная и злобная сторона существования, противостоящая светлой тевтонской (не случайно в типичной для него речи Гитлер проорал: "Все прекрасное, что мы сегодня видим вокруг, — творение рук арийца, и только плохое — наследие еврея"). Именно поэтому нацистская пропаганда изобрела мифический образ еврея, нашедший воплощение на страницах "Штурмера". Этот еврей был низкоросл, кривоног и жирен, с толстыми губами и огромным изогнутым носом. Его слезящиеся глазки прятались за толстыми стеклами очков, в руке он сжимал деньги или нежные ручки арийских девушек. Арийский стереотип строился как противополож-

ность этого отрицательного образа и был столь же мифологичен, ибо реальные арийцы были так же далеки от него, как реальные евреи — от штюрмеровской карикатуры.

Немцам был необходим козел отпущения. Они были чрезвычайно отстали в большинстве "сизифовых" областей. До объединения Германии, навязанного Бисмарком, страна состояла из сотен независимых княжеств и герцогств; индустриализация и урбанизация пришли в нее с опозданием; в первой мировой войне, этом важнейшем "сизифовом" деянии новой Германии, она потерпела сокрушительное поражение. Именно тогда немцы открыли козла отпущения, создав легенду, что их армии был нанесен удар в спину — большевиками и либералами, которые сами, в свою очередь, были орудиями сионских мудрецов. Но если евреи действительно преуспели в столь разрушительном деянии, они должны быть поистине всемогущи, — и поэтому нацисты изображали сионских мудрецов властителями мира, плетущими свои тайные заговоры за спиной у народов. Некоторые нацисты искренне верили в этот миф; один из генералов СС, к примеру, рассказал в Нюрнберге, что перестал верить во всемогущество евреев, лишь когда увидел беспомощно гибнущие в лагерях еврейские толпы, к которым никто не спешил на помощь.

Таким образом, евреи были для нацистов идеальным козлом отпущения — символом злой силы, лишенной своего могущества. Они были и наиболее удобными "врагами народа", поскольку выделялись в обществе. Это выделение началось еще в средневековой христианской Европе, но там оно смягчалось возможностью крещения. С веками евреи, отказавшиеся от такого выхода, добровольно замкнулись в гетто. После эмансипации наступила реакция на принудительную, "объединительную" отмену индивидуального "я" в рамках гетто — многие евреи обнаружили подчеркнутый индивидуализм и подчинились лихорадке погони за самоутверждением; но это еще больше выделяло их среди остальных и превращало в еще более удобных кандидатов на роль козла отпущения. Но теперь евреи уже не могли найти для себя опоры в иудаизме, от которого в значительной своей части отошли; они существовали в рамках немецкой системы ценностей, что обрекало их на каинову печать отверженности и принятие чужой ненависти. Интериоризация внешней ненависти, превращение ее в ненависть к самим себе, имела у евреев целый спектр проявлений — от глубокого, пронизанного мыслями о самоубийстве отчаяния Вейнингера до

равнодушного отказа от своего "я" в духе Ратенау, который утверждал, что евреи являются азиатским племенем в Германии. Поэтому если бы даже евреи попытались (как они действительно и с немалым рвением пытались в Германии) ассимилироваться и раствориться, сама необходимость в козле отпущения в сочетании с их исключительной удобностью для этой роли не позволили бы им укрыться.

Отличие нацистского геноцида от христианских преследований состояло в том, что никакое крещение не могло спасти евреев от Освенцима. Главный критерий разделения и изоляции у нацистов основывался не на религии или связи с общиной, а на чистоте расы и крови, изменить которую человек не в состоянии. Нацисты переняли христианскую мысль о сатанизме евреев и наклеили на них новую несмыываемую этикетку — расовой скверны. Поэтому борьба с ними могла разрешиться только кровопролитием. Таким образом, семена Катастрофы были посеяны уже тогда, когда евреи впервые были определены в духе нацистского мифа — то есть с точки зрения "крови и почвы" — и определены как дегенеративные и низшие существа, к истреблению которых следует относиться как к объективной необходимости. Это истребление, в свою очередь, было облегчено тем, что нацисты отвергли иудео-христианскую мораль, которая сама по себе считалась у них проявлением расовой неполноценности. Такое сочетание механизмов "мифологического взрыва" тевтонской ярости и расового выделения, "стигматизации" евреев сделало Катастрофу не только возможной, но и неизбежной.

* * *

Наша гипотеза не свободна от оценок. Никто не может быть нейтральным в отношении Освенцима, особенно когда автор — еврей. Будучи также экзистенциалистом, автор не верит в раскаяние и прощение. Каждое событие и каждое действие есть слияние событий, которое накладывает на мироздание свою неизгладимую печать.

*Сокращенный перевод с иврита
Сергея Шаргородского*

Ш. Шохам — научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме, автор исследования "Миф о Тантале". Публикуемая статья впервые появилась в израильском историческом журнале "Зманим".

ЗАПАД—ВОСТОК

1.

В сентябре 1956 года, за несколько минут до начала артобстрела, директор венгерского агентства печати послал в эфир полную отчаяния телеграмму о начавшемся советском наступлении на Будапешт. Депеша кончалась словами: "Умрем за Венгрию и Европу!"

Что должна была означать эта фраза? Вероятно, она должна была означать, что русские танки угрожают Венгрии, а с нею — и всей Европе. Но в каком смысле они угрожали Европе? Разве они намеревались перейти венгерскую границу и двинуться на запад? Нет. Директор венгерского агентства печати хотел сказать, что угроза нависает над Европой именно в Венгрии. Он был готов умереть за то, чтобы Венгрия осталась Венгрией и чтобы она осталась Европой.

Но хотя смысл этой фразы очевиден, в ней по-прежнему остается что-то загадочное. Во Франции или в Америке привыкли думать, что речь шла тогда не о судьбе Венгрии или Европы, а о судьбе политического строя. Никто не считал, что под угрозой находится существование Венгрии, как таковой; тем более непонятно, почему венгр, стоя лицом к лицу со смертью, вспоминает о Европе. Разве Солженицын, разоблачая коммунистическую опасность, ссылается на

Милан Кундера

**ПОХИЩЕННЫЙ ЗАПАД,
ИЛИ ТРАГЕДИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ**

Европу, как величайшую ценность, ради которой стоит умереть?

Нет. Фраза: "Умрем за Родину и Европу!" — немислима в Москве или Ленинграде, она могла прозвучать только в Будапеште или в Варшаве.

2.

Чем же является Европа для венгра, чеха или поляка? Эти народы изначально принадлежали той части Европы, корни которой уходят в мир римского христианства. Они участвовали во всех событиях ее истории. Для них слово "Европа" — понятие не географическое, а духовное, синоним слова "Запад". С той минуты, как Венгрия перестает быть Европой, она сходит с рельсов собственной судьбы — утрачивает самую сущность своего "я".

Географическая Европа, простирающаяся от Атлантики до Урала, всегда была разделена на две отдельно развивавшиеся части: одна была связана с античным Римом и католической церковью (ее специфическим признаком является латинский алфавит), другая же была укоренена в Византии и православной церкви (специфический признак: кириллица). После 1945 года граница между двумя Европами переместилась на несколько сот километров на запад, и народы, доселе считавшие себя западными, в одно прекрасное утро обнаружили, что оказались на Востоке.

После войны в Европе существует ситуация ее западной части, ситуация Восточной и ситуация Центральной Европы. Последняя является самой сложной, потому что географически Центральная Европа — это центр, культурно — это Запад, а политически — с 1945 года — Восток.

Эта противоречивая ситуация той части Европы, которую мы называли Центральной, позволяет понять, почему именно здесь в последние 35 лет концентрируются основные события европейской драмы: замечательное венгерское восстание 1956 года и последовавшее за ним кровавое побоище; пражская весна и оккупация Чехословакии 1968 года; польские подъемы 1956, 1968, 1970 и последних лет. Все, что происходит в других частях Европы, на западе или на востоке, несравнимо с этой чередой центральноевропейских восстаний ни по драматичности событий, ни по их исторической значимости¹. Каждое из этих восстаний было практически всенародным. Если бы не поддержка русских, правящие режимы не удержались бы и часа. И все, что происходило в Праге или Варшаве, является драмой именно Центральной Европы, а не комму-

нистического лагеря или коммунизма, и даже не Восточной Европы.

Ибо эти всенародные подъямы немислимы в России. Они немислимы даже в Болгарии, которая, как всем известно, является самым надежным партнером коммунистического лагеря. Почему? — Потому что Болгария издавна принадлежит к восточной цивилизации в силу своего православия (первыми миссионерами которого были, кстати, именно болгары). Поэтому последствия второй мировой войны хотя и означали для болгар глубокую и печальную политическую перемену (права человека подавляются в Софии не меньше, чем в Будапеште), но не означали такого цивилизационного шока, как в случае Чехии, Венгрии или Польши.

3.

Характер народа или цивилизации отражается и выявляется в совокупности духовных творений, которую принято называть *культурой*. Когда этому народу или цивилизации угрожает смертельная опасность, культурная жизнь переживает подъяем, а культура становится ценностью, вокруг которой объединяется весь народ². Именно поэтому во всех центральноевропейских революциях культурное наследие и современное творчество играли такую огромную и решающую роль, как никогда и нигде в других европейских восстаниях.

Писатели из кружка имени романтического поэта Петефи были зачинателями критических размышлений в Венгрии и этим подготовили взрыв 1956 года. Театр, кино, литература и философия долгие годы подготовляли освободительный прыжок пражской весны. Отмена спектакля по поэме Мицкевича, величайшего польского романтического поэта, вызвала бунт польских студентов в 1968 году. Счастливым союзом культуры, творчества и жизни породил ту небывалую красоту центральноевропейских восстаний, которая навсегда очаровала нас, эти восстания переживших.

Но то, что прекрасно для меня (прекрасно в глубочайшем смысле этого слова), французскому или немецкому интеллектуалу покажется, скорее, подозрительным. Он убежден, что восстания не могут быть стихийными и всенародными, если в них слишком большую роль играет культурное начало. Странно, но для многих понятия "культура" и "народ" несовместимы. Идея культуры вызывает в их воображении, скорее, представление о привилегированной элите. Именно поэтому они с гораздо большей симпатией отнеслись к движению "Солидарности", чем ко всем предыдущим

восстаниям. Но что бы ни говорить о “Солидарности”, она в сущности не отличается от предшествующих мятежей; она лишь является их вершиной — самым совершенным (ибо самым организованным) союзом народа с преследуемой, униженной, оскорбленной культурной традицией этого народа.

4.

Кое-кто, возможно, скажет, что даже если принять, что центральноевропейские народы защищают свою оказавшуюся под угрозой сущность, то ведь ситуация эта не так уж уникальна. В таком же положении находится и Россия: она тоже теряет свое “я”. Не Россия, а коммунизм лишает народы их сути; Россия была лишь первой его жертвой. И хотя русский язык подавляет другие языки империи, происходит это не потому, что русские якобы хотят русифицировать другие народы, но лишь в силу того, что советская бюрократия — ненародная, антинародная и наднародная бюрократия — нуждается в техническом средстве объединения подвластной ей страны.

Я понимаю эту логику, как понимаю и раздражение русских людей при мысли, что их любимую родину отождествляют с ненавистным коммунизмом. Но нужно понять и поляков, родина которых в течение двух столетий (за вычетом краткого межвоенного промежутка) подчинялась России и все это время подвергалась столь же терпеливой, сколь и неумолимой русификации.

Будучи восточной границей Запада, Центральная Европа всегда была особенно чувствительна к русской опасности. Не только поляки. В 1848 году Франтишек Палацки, известный историк и самый замечательный деятель чешской политики XIX века, опубликовал знаменитое обращение к революционному парламенту во Франкфурте, в котором защищал и оправдывал монархию Габсбургов, как единственную защиту от России, “государства, которое, достигнув огромной мощи, продолжает наращивать свои силы более, чем это может любая западная страна”. Палацки предостерегал перед имперскими амбициями России, которая стремится стать “всемирной монархией”, то есть стремится к мировому господству. “Всемирная русская империя, — пишет Палацки, — была бы огромной, небывалой бедой, несчастьем безмерным и безграничным”. Палацки считал, что Центральная Европа должна быть семьей равноправных народов, которые хранили бы свою национальную особость в рамках взаимного уважения и под защитой общего, сильного государства. И хотя эта мечта, разделявшаяся всеми выдающимися

центральноевропейскими умами, никогда не реализовалась полностью, она сохранила свою силу и влияние. Центральная Европа стремилась стать концентрированным отображением всей Европы во всем богатстве ее разнообразия, этаким небольшой архивропейской Европой, миниатюрной моделью многонациональной Европы, основанной на законе — максимум разнообразия на минимуме территории. Как же могла она не страшиться России, которая строилась по прямо противоположному принципу: минимум разнообразия на максимуме территории?

И действительно, нет ничего более чуждого Центральной Европе с ее любовью к разнообразию, чем единообразная, унифицирующая и централизующая Россия, которая с жуткой решимостью превращает все народы своей империи (украинцев, белоруссов, армян, латышей, литовцев и т.д.) в единый русский или — как сказали бы мы сегодня, в эпоху полной извращенности словаря, — единый советский народ.

Но разве коммунизм является отрицанием русской истории? Или, напротив, он является ее воплощением? Несомненно, он одновременно и ее отрицание (например, ее религиозности), и воплощение (осуществление ее централизаторских стремлений и имперских амбиций). Изнутри, из самой России, бросается в глаза, прежде всего, первый аспект — разрыв традиции. С точки зрения покоренных народов сильнее всего ощущается аспект второй — ее непрерывность³.

5.

Но быть может я слишком резко противопоставляю Россию западной цивилизации? Разве Европа, пусть и разделенная на западную и восточную, не является все же единым целым, берущим начало в античной Греции и иудеохристианской мысли?

Конечно, в этих отдаленных, античных истоках Россия связана с нами. В конце концов, весь XIX век она тянулась к Западу. Эта зачарованность была взаимной. Рильке объявил Россию своим духовным отечеством, и все мы испытали силу воздействия русского романа, неотъемлемого от нашей общей европейской культуры.

Все это правда, и культурное обручение двух Европ навсегда останется великолепным воспоминанием⁴. Но правда и то, что русский коммунизм возродил давнюю российскую антизападную одержимость и резко оторвал Россию от западной истории.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что именно на восточной границе Запада острее, чем когда-либо, ощущают Россию как Анти-Запад:

здесь она предстает не просто одной из многих европейских стран, но как особая, совершенно иная цивилизация. Об этом пишет Чеслав Милош в "Родимой Европе": "В XVI—XVII веках слово "Москва" означало тех варваров, с которыми воевали на дальних границах, как с татарами, не очень ими интересуясь... Именно в тот период "пустоты на востоке" возникло у поляков представление о России как о чем-то *снаружи*, за границей мира..."⁵

"Варварами" представляются нам те, кто относится к другому миру, другой цивилизации. Русские по-прежнему представляются такими полякам. Казимеж Брандыс рассказывает замечательную историю о том, как один польский писатель повстречался с великой русской поэтессой Анной Ахматовой. Он пожаловался ей на свое тяжелое положение — его книги запретили публиковать. Ахматова его перебила: "Вам грозит арест?" — "Нет". — "Вас изгнали из Союза писателей?" — "Нет?" — "Что же вы так переживаете?" Ахматова была искренне удивлена.

Брандыс комментирует: "Таковы российские утешения. В сравнении с российской судьбой ничего уже не может испугать. Но получается иначе. Российская судьба не входит в наше сознание, она нам чужда, мы ее не ощущаем — ни родства с ней, ни ответственности. Она нависает над нами, но не является нашим наследием. Я всегда ощущал это в русской литературе. До сих пор я боюсь некоторых рассказов Гоголя и всего Салтыкова-Щедрина. Я бы предпочел не знать их мира, не знать, что он существует".⁶

Брандыс не отвергает *искусство* Гоголя — его ужасает гоголевский *мир*, отраженный в этом искусстве: этот мир очаровывает и привлекает, когда он далеко, но обнажает всю свою страшную чуждость, когда окружает нас вблизи; в нем иные — большие — масштабы страдания, иные масштабы пространства (столь огромного, что в нем гибнут целые народы), иной — более медленный и терпеливый — ритм времени, в нем иначе смеются, живут и умирают.

Вот почему та Европа, которую я назвал Центральной, ощутила изменение своей судьбы после 1945 года не просто как политическую катастрофу, но как угрозу своей цивилизации. Главная причина сопротивления центральноевропейских народов — это стремление защитить свою сущность, иными словами — свою западность.

6.

Никто уже не питает иллюзий в отношении строя стран-сателлитов. Но забывают, в чем суть их трагедии — они стерты с карты Запада. Чем объяснить, что эту сторону драмы почти не замечают?

Прежде всего можно было бы обвинить в этом сами страны Центральной Европы: за плечами у поляков, чехов и венгров бурная и запутанная история, а традиция государственности у них менее сильна и не столь непрерывна, как у большинства европейских народов. Прижатые к стенке с одной стороны немцами, с другой — русскими, эти народы потеряли слишком много сил в борьбе за выживание и сохранение своего языка. Не проникнув глубоко в сознание Европы, они остались наименее известной и наиболее хрупкой частью Запада; вдобавок, их отделял барьер непонятных и странных языков. Австро-венгерская монархия имела шанс создать сильное государство в Центральной Европе. К несчастью, австрийцы не сумели выбрать между своей центральноевропейской миссией и высокомерным, великодержавным немецким национализмом. Они не сумели создать федерацию многих народов, и их поражение означало катастрофу для всей Европы. В 1918 году недовольные центральноевропейские народы взорвали Империю, не понимая, что несмотря на недостатки она была незаменима. В результате после первой мировой войны Центральная Европа превратилась в скопление слабых, беззащитных небольших государств, облегчив этим первые шаги Гитлера и конечный триумф Сталина. Не исключено, что в общеевропейском подсознании эти государства по сей день представляются небезопасными возмутителями спокойствия.

Я вижу вину Центральной Европы еще и в том, что я назвал бы "идеологией славянской". Я беру слово "идеология" в кавычки, ибо это всего лишь политический трюк, сфабрикованный в XIX веке. Чехи (не взирая на серьезные предостережения своих ведущих политиков) любили размахивать этим знаменем, наивно видя в нем способ защититься от немецкой агрессии; русские же охотно пользовались им для оправдания своих имперских претензий. "Русские любят называть славянским все, что им принадлежит", — отметил уже в 1844 году великий чешский писатель Карел Хавличек⁹, предостерегая своих соотечественников от неразумного и нереалистичного русофильства. Нереалистичного, ибо на протяжении своей тысячелетней истории чехи никогда непосредственно не соприкасались с Россией. Несмотря на языковое родство, они не имели с русскими ничего общего — ни общего мира, ни общей истории, ни общей культуры; а отношения поляков с русскими всегда были отношениями борьбы не на жизнь, а на смерть.

Шестьдесят лет назад Конрад Коженевский (более известный

как Джозеф Конрад), в раздражении от того, что его то и дело именовали "славянской душой" по причине польского происхождения, сердито писал, что нет ничего более чуждого польскому темпераменту с его рыцарским чувством морального долга и превеличенным уважением к правам личности, чем то, что в литературе называется "славянской душой". Я хорошо его понимаю! Я тоже не знаю ничего более жалкого, чем тот культ мрачных глубин, та многословная и пустая сентиментальность, которую называют "славянской душой" и порой приписывают мне!"

И тем не менее понятие славянского мира стало историографической банальностью¹⁰. Раздел Европы в 1945 году, объединивший этот выдуманный "мир" (и включивший в него также несчастных венгров и румын с их совсем уж неславянским языком — да кого интересовали такие мелочи?!), мог поэтому показаться едва ли не естественным решением проблемы.

7.

Выходит, Центральная Европа сама виновата, что Запад даже не заметил ее исчезновения? — Не совсем. В начале столетия она стала огромным, быть может, величайшим центром культуры. Значение Вены в этом смысле хорошо известно, но стоит напомнить, что оригинальность австрийской столицы была бы невозможна без поддержки других городов и стран, которые своим творчеством участвовали во всей центральноевропейской культуре. Школа Шенберга создала додекафоническую систему, а венгр Бела Барток, один из двух-трех, по моему мнению, величайших композиторов XX века, открыл последние оригинальные возможности тональной музыки. Прага выдвинула Кафку и Гашека, произведения которых были гениальным дополнением к творчеству венских авторов — Музиля и Броча. Эта культурная динамика еще более возросла после 1918 года, когда Прага дала миру пражский лингвистический кружок с его структуралистской мыслью¹¹, а в Польше великая тройка — Гомбрович, Шульц и Виткевич — предвосхитила европейский модернизм 50-х годов, в особенности так называемый театр абсурда.

Что это было — чисто географическое совпадение? Или этот огромный творческий взрыв имел корни в давней традиции, в прошлом? Иными словами: можно ли говорить о Центральной Европе, как о реальном культурном единстве, имеющем собственную историю? И если такое единство существует, то можно ли очертить его географически? Каковы его границы? Всякая попытка четко опре-

делить их была бы тщетной, ибо Центральная Европа – не отдельное государство, а культура, судьба. Ее границы воображаемы, и нужно всякий раз определять их заново, исходя из конкретной исторической ситуации.

К примеру, уже в середине XV века Карлов университет в Праге сосредоточивал профессоров и студентов, которые представляли чешскую, австрийскую, баварскую, саксонскую, польскую, литовскую, румынскую и венгерскую интеллигенцию, и уже тогда зарождалась идея многонационального объединения, в котором каждый имел бы право на свой язык. Под влиянием этого университета (ректором которого был реформатор Ян Гус) возникли тогда первые переводы Библии на румынский и венгерский языки.

Позже возникла новая ситуация: гуситская революция; образование габсбургской монархии, объединившей Чехию, Венгрию и Австрию; войны с турками; контрреформация XVII века. Культурная особенность Центральной Европы полнее всего выразилась в необычайном расцвете искусства барокко, которое распространилось по огромному пространству от Зальцбурга до Вильно. На карте Европы барочная Центральная Европа (с ее преобладанием иррационализма и доминирующей ролью искусств, в особенности музыки) противостояла Франции, где преобладал рационализм и доминировали литература и философия. Эпоха барокко породила необычный расцвет центральноевропейского музыкального творчества, от Гайдна до Шенберга, от Листа до Бартока, которая воплотила в себе эволюцию всей европейской музыки.

В XIX веке межнациональные распри поляков, венгров, чехов, хорватов, словенцев, румын и евреев привели к противостоянию одних народов другим: хоть и разобщенные, изолированные и замкнувшиеся в себе, они тем не менее переживали общий экзистенциальный опыт всякого народа, который выбирает между существованием и несуществованием, между подлинной национальной жизнью и ассимиляцией. Даже правящая нация империи вынуждена была выбирать между своим австрийским "я" и слиянием с более мощной немецкой нацией. Не избежали этой участи и евреи. Зародившийся в этой части Европы сионизм, отбросивший ассимиляцию, выбрал ту же дорогу, что остальные центральноевропейские народы.

XX век породил новую ситуацию: распад Империи; русская экспансия; долгий период центральноевропейских мятежей,

вкупе представляющих собой единый огромный порыв в неизвестное.

Центральноевропейское единство определяют не границы (неорганичные, навязанные вторжениями, захватами и оккупацией), а общие исторические ситуации, всякий раз по-иному группирующие здешние народы в воображаемых и подвижных границах, внутри которых сохраняется та же общая память, тот же общий опыт, та же общая традиция.

8.

Родители Зигмунда Фрейда были родом из Польши, но сам он провел детство в моем родном краю, в Моравии, — так же, как Эдмунд Гуссерль и Густав Малер. Венский писатель Иозеф Рот имел польские корни; великий чешский поэт Юлиуш Зейер родился в Праге, в немецкоязычной семье, и чешский был его языком по выбору. Зато для Германа Кафки чешский был родным, хотя его сын Франц выбрал для себя немецкий. Писатель Тибор Дьери, ключевая фигура венгерской революции 1956 года, был родом из немецко-венгерской семьи, а мой дорогой Данила Кис, замечательный прозаик, — из венгерско-югославской. Какое переплетение национальных судеб в биографиях самых репрезентативных авторов! Все, кого я перечислил, — евреи. Ни в одном другом месте еврейский гений не проявил себя столь глубоко. Везде чужие и всюду свои, стоящие над национальными распрями, евреи в XX веке стали главным космополитическим фактором, интегрирующим Центральную Европу, — они были ее интеллектуальным связующим веществом, конденсатом ее духа, творцами ее духовного единства. Потому я их люблю и потому так страстно и ностальгично привязан к их центральноевропейскому детству, которое было ведь и моим.

Еврейский народ дорог мне еще и потому, что в его судьбе для меня сконцентрирована, отражена и находит символическое выражение судьба Центральной Европы. Что такое Центральная Европа? — Лежащая между Россией и Германией область малых народов. Подчеркиваю: *малый народ*. А кто такие евреи, если не малый народ *par excellence* — единственный из всех малых народов, который пережил великие империи и сокрушающую поступь Истории.

Но что это значит — малый народ? Я предлагаю следующее определение: малым называется такой народ, существование которого в любой момент может быть поставлено под сомнение, который может исчезнуть и знает об этом. Французы, русские или англичане не задают себе вопроса, выживет ли их народ. Их национальные

гимны говорят о величии и вечности. Зато польский гимн начинается словами: "Еще Польша не погибла..."

Центральной Европе, родине малых народов, свойственно особое видение мира, отмеченное глубоким недоверием к истории. История, это божество Гегеля и Маркса, это воплощение Разума, который судит нас и решает нашу судьбу, является историей победителей. А центральноевропейские народы не принадлежат к победителям. Они не могут существовать вне европейской истории и в то же время являются как бы ее оборотной стороной, ее жертвами и аутсайдерами. Их полный разочарований исторический опыт — вот источник оригинальности их культуры, их мудрости, той *несерьезности*, которая посмеивается над гордыней и величием. "Не следует забывать, что только противопоставляя себя истории вообще, можно устоять перед историей современной". Эту фразу Гомбровича следовало бы высечь на воротах Центральной Европы.¹²

И потому в этом краю малых народов, которые "еще не погибли", раньше и отчетливее, чем где бы то ни было, обнаружилась хрупкость Европы — всей Европы. Ибо в современном мире, где сила все более концентрируется в руках нескольких сверхдержав, *всем* европейским народам угрожает превратиться в малые и разделить их судьбу. В этом смысле судьба Центральной Европы оказывается предвосхищением общеевропейской судьбы, и ее культура становится тем более актуальной.

Достаточно перечитать величайшие центральноевропейские романы: в "Сомнамбуличках" Броча история выступает как прогрессирующая деградация ценностей; "Человек без свойств" Музиля показывает впавшее в эйфорию общество, которое не понимает, что завтра оно исчезнет; в "Бравом солдате Швейке", только притворяясь сумасшедшим, можно еще сохранить свободу; видения Кафки говорят о мире без памяти, мире после истории. Все центральноевропейское творчество, от его истоков и по сей день, можно истолковать как одно непрерывное размышление над возможной гибелью европейской цивилизации.¹³

9.

Сегодня Центральная Европа подчинена России — за вычетом крохотной Австрии, которая лишь по счастливой случайности, ни по чему другому, сохранила независимость, но, вырванная из центральноевропейского окружения, утратила многие свои особенности и уже не имеет никакого значения. Исчезновение центральноевропейского очага культуры было несомненно одним из важнейших

событий в истории всей западной цивилизации. Поэтому я повторяю: как же оно прошло незамеченным и непонятым?

Ответ прост: Европа не заметила исчезновения своего великого культурного центра, потому что она уже не ощущает своего единства, как культурного единства. На чем, в сущности, покоится единство Европы? В средние века оно покоилось на общности религии. В новую эпоху, когда средневековый Бог превратился в *Deus absconditus*^{*}, религия уступила место культуре, и с тех пор именно культура воплощала в себе важнейшие ценности, с которыми европейское единство отождествляло себя, которыми оно себя определяло.

Так вот, мне кажется, что сегодня происходит очередной поворот, столь же фундаментальный, как тот, что отделяет средневековье от современности. Подобно тому, как некогда Бог уступил место культуре, так сегодня культура, в свою очередь, уступает место... Но кому и чему? В чем будут теперь воплощаться те важнейшие ценности, что способны объединить Европу? В достижениях технологии? В рынке? В средствах массовой информации? (Великих поэтов заменят великие журналисты?) Или, быть может, в политике? Но в какой? В правой или в левой? А может, за этим глупым, но непреодолимым манихейством видится какой-то общий идеал? Быть может, — принцип терпимости, уважения к мыслям и убеждениям другого? Но не становится ли терпимость пустой и ненужной, если за ней нет никакого подлинного творчества и никакой серьезной мысли? А что, если исчезновение культуры является своего рода освобождением, которое надлежит радостно приветствовать? Или, может, *Deus absconditus* вернется, чтобы занять освободившееся место и снова стать зримым? Не знаю. Мне кажется лишь, что я вижу, как культура уступает место.

Герман Брох был одержим этой идеей уже в тридцатые годы. Он говорил, что "живопись стала совершенно эзотерическим занятием, принадлежащим музейному миру; она уже не пробуждает никакого интереса, кажется памятником минувшей эпохи". В его времена эти слова удивляли, но сегодня они уже никого не удивят. Я провел небольшое исследование, задавая случайным людям невинный вопрос — кто их любимый современный художник? И оказалось, что такого нет, а большинство опрошенных вообще не могли назвать ни одного современного художника.

* Бог в себе (лат.).

Тридцать лет назад, во времена Матисса и Пикассо, такая ситуация была немислимой. С тех пор живопись утратила значение, стала периферийным занятием. Потому ли, что стала плохой? Или это мы утратили вкус к ней? Так или иначе, искусство, которое определяло собой стиль эпохи и сопровождало Европу многие века, от нас ушло — или мы ушли от него.

А поэзия, музыка, архитектура, философия? Они тоже утратили способность объединить Европу, служить фундаментом ее единства. Для европейцев это — событие не меньшего значения, чем деколонизация Африки.

10.

Первую часть своей жизни Франц Верфель провел в Праге, вторую — в Вене, третью — в эмиграции, сначала во Франции, позже в Америке. Это типичная центральноевропейская биография. В 1937 году, вместе с женой Альмой, вдовой Малера, он оказался в Париже, куда его пригласила Организация интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций для участия в коллоквиуме, посвященном “будущему литературы”. В своей речи Верфель выступил не только против гитлеризма, но и против тоталитарной опасности вообще, против идеологического и журналистского оболванивания, которое убивает культуру. Он высказал предложение, которое, по его мнению, могло бы остановить этот дьявольский процесс, а именно — предложение создать всемирную Академию Поэтов и Мыслителей. Члены такой Академии ни в коем случае не могли бы назначаться правительствами. Выбор определялся бы исключительно значением творчества, а число членов, величайших писателей мира, должно было составлять от 24 до 40. Задачей этой независимой от политики и пропаганды Академии было “противостоять политизации и варваризации мира”.

Предложение это не только отвергли, но и высмеяли. И это понятно — оно было наивным. Чудовищно наивным. Как создать такую независимую Академию в насквозь политизированном мире, где все творцы и мыслители давно уже и неизлечимо “заангажированы”?

И все же этот наивный план Верфеля волнует меня, ибо я вижу в нем выражение отчаянной потребности найти хоть какой-то моральный авторитет в мире, лишенном ценностей, тревожной потребности услышать умолкший голос культуры, голос *Dichter und Denker*¹⁴.

В моих воспоминаниях эта история связана с одним пражским рассветом, когда после обыска у моего друга, известного чешского философа, полиция конфисковала его тысячестраничную рукопись. Мы шли с ним с Градчан к мосту Манеса. Он пытался шутить: нелегко будет полицейским расшифровать профессиональный философский язык! Но никакие шутки не могли превозмочь боль, превозмочь ощущение потери десяти лет труда, потраченных на рукопись, копии которой у него не было.

Мы размышляли, не опубликовать ли за границей открытое письмо, чтобы придать делу международную огласку. Мы понимали, что нужно обратиться к кому-то, стоящему над политикой и представляющему бесспорные ценности, признанные во всей Европе. Иными словами — к кому-то из мира культуры. Но к кому? И вдруг мы поняли, что такого человека нет. Разумеется, есть большие художники, драматурги, музыканты, но они уже не являются теми моральными авторитетами, в которых Европа видит своих духовных представителей. Мы поняли, что культура, как область реализации величайших ценностей, больше не существует.

Мы шли в сторону Старого мира, где я тогда жил; мы ощущали огромное одиночество и пустоту — пустоту европейского пространства, из которого постепенно исчезала культура.¹⁵

11.

Последнее воспоминание о Европе, сохранившееся в опыте центральноевропейских народов, относится в 1918—38 годам. К этому периоду они привязаны больше, чем к какому-либо иному в своей истории (об этом свидетельствуют неофициальные опросы). Они сохранили, стало быть, образ Запада, каким он был вчера, когда культура еще не окончательно уступила место.

Тут я хотел бы подчеркнуть одно принципиальное обстоятельство: центральноевропейские мятежи не были поддержаны ни газетами, ни радио, ни телевидением, всеми этими средствами массовой информации. Их подготовили, организовали и реализовали романы, поэзия, театр, кино, историография, массовые сатирические представления, философские дискуссии, иными словами — культура. Средства массовой информации, для француза или американца почти тождественные представлению о современном Западе, не играли никакой роли в этих мятежах (они были полностью подчинены государству).¹⁶ Поэтому когда русские оккупировали Чехословакию, первым следствием этого было полное уничтожение чешской культуры, как таковой. Это уничтожение имело тройкий

смысл: во-первых, этим ликвидировался очаг оппозиции; во-вторых, уничтожалось национальное "я", чтобы русской цивилизации было легче затем его переварить: в-третьих, наконец, этим подводилась черта под современностью, то есть эпохой, в которую культура еще представляла собой сферу реализации величайших ценностей.

Этот третий результат кажется мне самым важным. Ибо цивилизация русского тоталитаризма является радикальным отрицанием того Запада, который возник в современную эпоху, опирается на мыслящее и сомневающееся "Эго" и характеризуется культурным творчеством, понимаемым как выражение единственного и неповторимого "Я". Советская оккупация швырнула Чехословакию в "посткультурную" эпоху, разоружив и обезоружив ее перед лицом советских армий и вездесущего государственного телевидения.

Я прибыл во Францию, потрясенный этим трижды трагичным событием, и пытался рассказать моим французским друзьям о том культурном побоище, которое там произошло: "Только представьте себе! Уничтожены все литературные и культурные журналы! Все без исключения! Такого еще не бывало в чешской истории — даже во времена гитлеровской оккупации!"

Мои друзья внимали мне с озабоченной снисходительностью, смысл которой я понял значительно позже. Когда в Чехословакии уничтожили все журналы, об этом знал весь народ и все болезненно ощущали жуткое значение этого события.¹⁷ Если бы во Франции или в Англии исчезли все литературные журналы, этого бы никто не заметил, включая и издателей, пожалуй. Даже в самой культурной парижской компании за обедом обсуждают не журналы, а телевизионные программы. Ибо культура уже уступила место. В Праге мы переживали ее исчезновение как катастрофу, шок, трагедию, а в Париже это воспринимают как нечто банальное и несущественное, как не-событие.

12.

После распада Австро-Венгрии Центральная Европа потеряла свой шанс. Но разве она не потеряла свою душу после Освенцима, который стер с ее карты еврейский народ? И существует ли она вообще после того, как в 1945 году ее оторвали от Европы?

Ее творчество и мятежи доказывают, что она "еще не погибла". Но если жить — значит существовать в памяти тех, кого мы любим, то Центральная Европа уже не существует. Или точнее — в глазах

своей возлюбленной Европы она существует только, как часть советской империи, и ничего больше.

И чему тут удивляться? С точки зрения господствующего в ней политического строя Центральная Европа является Востоком; с точки зрения культурного прошлого — Западом. Но поскольку Европа утрачивает ощущение своего культурного "я", то и в Центральной Европе она видит уже только ее политический строй. Иными словами, она видит в ней только Восточную Европу.

Поэтому Центральной Европе приходится противостоять не только сокрушительной силе своего громадного соседа, но и нематериальной поступи времени, которое оставляет позади эпоху культуры. И потому все центральноевропейские мятежи тают в себе что-то консервативное, я бы даже сказал — анахроничное: они отчаянно пытаются воскресить прошлое культуры и современной эпохи, ибо только в рамках этой эпохи, только в мире, сохраняющем культурное измерение, Центральная Европа может еще сохранить свое "я" и быть осознана, как таковая.

Следовательно, подлинная ее трагедия связана не с Россией, а с Европой. Той Европой, что для директора венгерского агентства печати была ценностью, ради которой он готов был погибнуть — и погиб. Отделенный от нее железным занавесом, он не подозревал, что времена изменились и что в Европе уже не ощущают Европу, как ценность. Не подозревал, что телеграмма, которую он послал в пространство, окружавшее его равнинную страну, звучала анахронично и никем не была понята.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹. Можно ли включить в этот список восстание берлинских рабочих 1953 года? Конечно, но судьба Восточной Германии тем не менее отлична от судьбы Центральной Европы. Нет двух Польш, а Восточная Германия составляет часть Германии, национальному существованию которой ничто не угрожает. В руках русских эта часть играет роль заложницы, по отношению к которой Западная Германия и СССР проводят очень специфическую политику, за что когда-нибудь, я уверен, должны будут расплатиться. Быть может, поэтому между Восточной Германией и ее соседями нет особых симпатий. Это четко проявилось во время оккупации Чехословакии. Русские, болгары и немцы внушали ужас и страх. Зато я мог бы рассказать десятки историй о поляках и венграх, которые делали все возможное, чтобы отмежеваться от оккупации, и открыто ее саботировали. Если к этому польско-венгерско-чешскому союзу добавить подлинно живое участие Австрии и антисоветскую ярость, овладевшую югославами, то окажется, что оккупация Чехословакии с поразительной четкостью обозначила традиционный центральноевропейский регион.

². Стороннему наблюдателю трудно понять этот парадокс: период после 1945 года был самым трагичным для Центральной Европы — и в то же время самым плодотворным в истории ее культуры. Произведения, возникшие в это время в эмиграции (Милош, Гомбрович), в подполье (Чехословакия после 1968 года) или даже официально, с разрешения властей, вынужденных уступить натиску общественного мнения, являются вершинами современно-европейского творчества.

³. Лешек Колаковский говорит: "Хотя я согласен с Солженицыным, что гнет советской системы превосходит царский гнет, ... это еще не дает мне оснований идеализировать систему, против которой наши предки боролись в страшных условиях, из-за которой они гибли, терпели пытки и унижения... Мне кажется, что у Солженицына есть склонность к неприемлемой ни для меня, ни для любого другого поляка идеализации царизма".

⁴. Прекраснейшим результатом контактов России с Западом было творчество Стравинского, которое сконцентрировало всю тысячелетнюю историю западной музыки и одновременно, по характеру музыкального воображения, было глубоко русским. Другим удачным результатом этих контактов были две великолепные оперы великого русофила Леона Яначека: "Катя Кабанова" по Островскому (1924) и моя любимая "В мертвом доме" по Достоевскому (1928). Симптоматично, что эти оперы никогда не ставились в России и там даже не знают о их существовании. Коммунистическая Россия отвергает мезальянс с Западом.

⁵. Даже Нобелевская премия не тронула западных издателей, которые остались равнодушны к творчеству Чеслава Милоша. Видимо, он слишком большой и тонкий поэт для нашей эпохи. Две его книги эссе, "Пленный разум" (1953) и "Родимая Европа" (1959), — первые вдумчивые и не-манихейские книги о русском коммунизме и его "Дранг нах Вестен".

⁶. Не переводя дыхания, проглотил я рукопись американского издания книги Брандыса, которая по-польски называется "Месяцы", а по-английски "Варшавский дневник". Каждый, кто хочет глубже понять суть польской драмы, должен обязательно прочесть эту книгу.

⁷. Самый лучший и самый вдумчивый текст, который мне довелось читать о России, как особой цивилизации, это "Россия и вирус свободы" Чьорана, опубликованный в сборнике "История и утопия" (1960). В "Соблазне существования" тоже содержатся тонкие наблюдения о России и Европе. Чьоран, мне кажется, — это последний мыслитель, который еще задает Европе вышедшие из моды вопросы. Он осмеливается на это, потому что он румын, и его страна, "обладающая всеми признаками идеальной и анонимной жертвы, существует, чтобы исчезнуть, и прекрасно организована, чтобы дать себя сожрать". ("Соблазн существования"). Европу он видит только, как уже "сохранную" Европу.

⁸. Карел Хавличек Боровский прибыл в Россию в 1843 году, в возрасте 22 лет, и провел там год. Он приехал туда, как пылкий славянофил, чтобы вскоре стать одним из суровейших критиков России. Свои взгляды он выразил в письмах и статьях, изданных позднее в виде сборника. Эти "Письма из России" вышли почти одновременно с письмами де-Кюстина и совпадают с ними в своих выводах. (Совпадения зачастую даже забавны. Кюстин: "Если ваш сын недоволен Францией, пошлите его в Россию. Кто глубоко познает эту страну, всегда будет рад, что живет в другом месте". Хавличек: "Если хотите оказать чеху настоящую услугу, оплатите ему путешествие в Москву!") Сходство это тем важнее, что Хавличка, плебей и чешского патриота, нельзя заподозрить в антирусской предвзятости. Он был выдающейся фигурой

чешской политики XIX века и оказал большое влияние на Палацкого и, особенно, Масарика.

⁹. Есть такая забавная книжка "Как быть иностранцем". В разделе "Душа" автор так говорит о славянской душе: "Самого низкого пошиба душа — это славянская. Ее обладатели, как правило, весьма глубокомысленны. Они, например, говорят: "Странно, почему это я порой весел, а порой грустен? Что бы это значило?" Или еще: "Я такой загадочный: бывает, что мне хочется быть кем-то другим". Или еще: "Когда темной ночью в лесу я прыгаю с ветки на ветку, мне кажется, что жизнь — удивительная штука". Кто это смеет посмеиваться над широкой славянской душой? Автор, Джордж Майкс, по происхождению, конечно, венгр. Только в Центральной Европе славянская душа кажется смешной.

¹⁰. Откройте "Всеобщую историю" издательства "Плеяды": реформатор католической церкви Ян Гус находится там не в компании Лютера, а в главе об Иване Грозном! И напрасно искать там чего-либо серьезного о Венгрии. Поскольку ее нельзя зачислить по штату "славянского мира", для нее вообще не находится места на карте Европы.

¹¹. Структурализм родился в 30-е годы в пражском лингвистическом кружке. Он объединял чешских, русских, немецких и польских ученых. В этой космополитической среде Мукаровский разработал свою структуралистскую эстетику. Структурализм был органически связан с чешским формализмом XIX века. Формалистические тенденции были в Центральной Европе сильнее, чем где-либо, в силу, мне кажется, доминирующей роли музыки (и "формальной" по своей сути музыкологии) в центральноевропейской культуре. Вдохновляясь русским формализмом, Мукаровский сумел преодолеть его односторонность. Структуралисты были союзниками поэтов и художников пражского авангарда (предвосхитив этим союз, который во Франции сложился 30 лет спустя). Их влияние защищало авангардное искусство от узкой, идеологизированной критики, которая повсюду сопровождала современное искусство.

¹². Я высоко ценю две книги, посвященные "центральноевропейскому видению мира": одна из них, более литературная, называется "Центральная Европа: история и анекдот" (она подписана "Иосиф К." и ходит по Праге в рукописи); другая, более философская, принадлежит перу генуэзского философа Вацлава Белоградского и вскоре появится во французском переводе. Центральноевропейской проблематике посвящен начавший недавно выходить серьезный журнал "Кросс каррентс: ежегодник центральноевропейской культуры", издаваемый Мичиганским университетом.

¹³. Из французских писателей только Паскаль Лене постоянно ссылается на центральноевропейский роман (включая также поляков и чехов). Перечисленные мною четыре писателя (к которым я мог бы добавить еще Витольда Гомбровича) составляют для меня *плеяду*, которая создала новую эстетику романа в послепрустовский период. Я привязан к ним, потому что меня действительно интересует искусство романа (они реабилитировали его, когда в роман уже никто не верил). Все другие темы — не мои. Почему же я рассуждаю о России, центральноевропейских восстаниях и истории? Потому что заменяю кого-то другого, кто должен был об этом сказать, но не явился. Меня вытолкнули вместо него, чтобы я что-нибудь сказал, и я не сумел отказаться. Всякий раз, говоря на эти темы, я испытываю именно это ощущение, но на сей раз клянусь, что это — уже в последний раз.

¹⁴. Выступление Верфеля вовсе не было наивным и не устарело. Оно напоминает мне доклад Роберта Музиля, прочитанный в 1935 году на Конгрессе в защиту культуры в Париже. Как и Верфель, Музиль видел опасность не

только в фашизме, но и в коммунизме. Защита культуры означала для него не включение ее в политическую борьбу (как считали тогда все остальные), но, напротив, защиту ее от обольняющей политизации. Оба эти автора понимали, что в современном мире техники и массовых средств информации культура имеет мало шансов. Их выступления были плохо приняты в Париже. Но если бы мне пришлось сегодня выступать в культурно-политических дискуссиях, идущих вокруг, я бы не знал, что еще добавить к их словам. В такие минуты я чувствую себя кровно связанным с ними и неизлечимо "центральноевропейским".

¹⁵. Все же, после долгих раздумий, он отправил письмо Сартру. Это был последний крупный деятель культуры, хотя именно он, своей теорией "заангажирования", теоретически подготовил почву для отрицания культуры, как особой, автономной и несводимой к иному силы. Впрочем, мне кажется, что как раз благодаря своей капитуляции перед политикой (а также физическому присутствию на политической сцене) он сумел сохранить столь влиятельную позицию, о которой Рене Клер, Бергман, Беккет или Алэн Рене даже не могли мечтать. В день его похорон я меланхолически подумал: теперь моему пражскому философу уже совсем некому писать.

¹⁶. Следует упомянуть, однако, о знаменитом исключении: в первые дни советской оккупации огромную роль играли передачи подпольного радио и телевидения. Но даже тогда в них преобладал голос чешской культуры в самом широком значении этого слова.

¹⁷. Ежедневник "Литерарни новины" тиражом 300 тысяч экземпляров (при населении 10 миллионов) издавался Союзом чешских писателей. Многие годы он готовил пражскую весну, а затем стал ее трибуной. Он не был похож на популярные на Западе еженедельники типа "Тайм". Он был действительно литературный, в нем была хроника искусства и анализ вышедших книг. О истории, социологии и политике в нем говорили не журналисты, а писатели, историки и философы. Я не знаю другого такого европейского еженедельника, который сыграл бы столь же громадную историческую роль в нашем столетии и сыграл бы ее столь же хорошо. Чешские литературные ежемесячники выходили тиражами 10—40 тысяч экземпляров, и их уровень, невзирая на цензуру, был неизменно высок. Такую же роль играют периодические издания в Польше: сегодня там издаются сотни (!) подпольных журналов и газет.

М. Кундера — известный чешский писатель, автор романов "Шутка", "Невыносимая легкость существования", "Книга смеха и забвения" и др. В 1985 г. награжден Иерусалимской премией. После эмиграции из Чехословакии живет и работает в Париже. Статья "Похищенный Запад" была впервые опубликована в польском эмигрантском журнале "Литературные тетради"; редакция которого любезно предоставила "22" право на русский перевод.

ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Алексей Быстрицкий

АРХИТЕКТУРА НОВОГО ТИПА

Эта сердитая статья достигла нас неисповедимыми путями самиздата и написал ее — насколько нам известно — не искусствовед-теоретик, а архитектор-практик, один из тех, кому сейчас от 30 до 40 лет. Суждения его справедливы, а резкость тона можно понять: ни над одним видом искусства не тяготеет сейчас в Советском Союзе такой груз зловещего прошлого, как над самым “государственным” искусством — архитектурой. Советский архитектор и ныне лишен даже тех узких отдушин в живой, неконтролируемый, неофициальный мир, которые позволяют худо-бедно дышать художникам, музыкантам, киношникам. Архитектурного самиздата тоже, увы, нет: бессмысленно проектировать в ящик письменного стола. Так что статья эта — не только о прошлом, но и о настоящем советской архитектуры, пребывающей в прискорбном состоянии застоя.

Но феномен сталинской архитектуры, ее необыкновенного идеологического содержания и языка, коим это содержание излагалось, интересен и сам по себе. Лежащее на поверхности сравнение с нацистской архитектурой не исчерпывает проблемы: в Германии архитектура такого типа и духа существовала гораздо раньше 1933 г. (взять хотя бы бывшее посольство Германии в С.-Петербурге, арх. Беренс), в Союзе же она возникла вполне внезапно, вопреки всем традициям и духу российского зодчества. К тому же мрачный пафос нацистской архитектуры идеологически правдив, а ликующе-праздничный пафос сталинской архитектуры отвратительно лжив и играет роль наглого камуфляжа.

Взгляд автора на смысл и содержание сталинской архитектуры справедлив, бескомпромиссные выводы убедительны. Упрекнуть его можно было бы в некотором полемическом сгущении тонов: и в самые тяжкие времена люди, в их реальной жизни, разбавляют концентрированный раствор, который навязывает им враждебная жизни идеология. Пить-то все-таки надо. И в 30-е годы, и сразу после войны, то есть во время самого бесовского разгула, строились все-таки не только дворцы и бараки. Ясно, что именно умопомрачительные высотные “недоскребы” и тортообразные павильоны ВДНХ были символом и идеалом эпохи, но делалось и тогда кое-что более скромное — по необходимости. Конечно, и здесь речь могла идти не о принципиальном различии идеологического порядка (немыслимое допущение!), а о степени “художественной” расточительности при исполнении общего социального заказа.

Этот страшный заказ, морально искалечивший несколько поколений советских архитекторов, не отменен и сегодня. Не вспомнят ли о нем завтра?

С. Х.

Сначала — две цитаты, разделенные двумя десятилетиями. Оскар Рудольфович Мунц (1917 год): “Деспотизм и искусство... От тяжелой руки бесконтрольной власти несказанно страдало искусство

слова... Но деятели в области других искусств, в частности, архитектуры, почти не испытывали, надо иметь смелость сознаться, этого гнета; мы страдали от него, как граждане, но мало страдали, как художники. Поэтому нам принадлежит исключительное счастье иметь возможность с гордостью оглянуться на прошлое нашего искусства”.

Владимир Алексеевич Щуко (1937 год): “Наша партия выдвинула для всех искусств, в том числе и для архитектуры, лозунг социалистического реализма. Это означает, что в стране социализма архитектура прежде всего должна быть идейно направленной, должна четким, ясным и понятным для масс языком отражать все социально-бытовые, экономические и политические устремления нашего социалистического общества”.

Теперь по существу.

Возможно, самый любопытный период в истории советской архитектуры — первая половина 30-х годов. Исторический фон происходившей тогда художественной переориентации хорошо известен. Официальные формулировки вроде внезапно вспыхнувшего “интереса к освоению художественного наследия прошлого” мало кого обманывают. Но суть перемен совсем не так очевидна.

Спорить сейчас со сталинскими искусствоведами бессмысленно*. Конструктивизм 20-х годов так же мало нуждается сейчас в защите, как и генетика 40-х. На этом сходство кончается. Общим для обоих был разве что метод пресечения. Но Лысенко был откровенным шарлатаном. Щусев, Жолтовский, Фомин, даже, наверное, Иофан — под это определение категорически не подпадают. Лысенковский “дарвинизм” сгинул вместе с Лысенко. Основы архитектурной психологии, заложенные в 30-е годы, более или менее благополучно пережили стилевые метаморфозы 50-х, растерянный либерализм 60-х, отчетливо окрепли в 70-е и, похоже, нашли вторую молодость в 80-е годы, к счастью, не определяя уже целиком архитектурную физиономию страны.

Сравнение двух приведенных в начале цитат отчетливо демонстрирует сдвиги в профессиональном мышлении русских архитек-

*“Небольшая группка интеллигентов старого поколения с изрядным грузом буржуазной идеологии засела в журнале “СА” и архитектурном обществе ОСА и на все лады уверяла себя и других в том, что они господствуют на архитектурном фронте и якобы представляют собой новую, “прогрессивную” архитектуру”. М.П. Цапенко, О реалистических основах сов. арх-ры, М., 1952.

торов, происшедшие за 20 лет. С исторической точки зрения все ясно. Мы знаем, какие события привели сначала к изменениям в политической структуре страны, а затем обусловили культурную революцию 1933 года. Мы понимаем, какие обстоятельства заставили академика с дореволюционным стажем Щуко с такой гордостью декларировать совершенно новый с точки зрения привычных художественных представлений статус советских зодчих.

Непонятно, что же, собственно, произошло с искусством. Практическим результатом перемен явилось совершенно уникальное явление художественной культуры — не взлет, не деградация, а мутация, замещение одного другим. Архитектурное перерождение страны произошло практически мгновенно — за 2–3 года и практически на 100 процентов.

Новую эпоху никак нельзя рассматривать просто как очередной этап в художественном развитии страны. Во-первых, она не имела почти никаких естественных предпосылок. То, что сейчас лукаво называется "ориентацией на классическое наследие" (а раньше называлось "истинно реалистической архитектурой"), не только не вытекало, но и прямо противоречило проблемам, которые решались в конце 20-х годов.

Во-вторых, сами вожди этого движения, волею случая или начальства оказавшиеся на вершине архитектурной иерархии, не имели накануне ни малейших шансов на такой успех. Кроме того они, по-видимому, и не предполагали, чем обернутся в результате неожиданной поддержки их добросовестные попытки сохранить и возродить "вечные архитектурные ценности".

Классицизм 30–40-х годов — не классицизм вовсе. И психологически, и даже стилистически, он противоречит тому, чем занимались в 10-20-е годы его формальные лидеры — такие, как Жолтовский, Фомин, Щусев. И это особенно интересно. Переломная эпоха пришлась на середину творческого пути людей, которых нельзя упрекнуть ни в неискренности, ни в недостатке таланта. Следовательно, их деятельность в 30-е годы можно рассматривать как полноценное искусство, во всяком случае, формально полноценное. Их художественная психика оказалась настолько пластичной, что приспособилась к новым условиям, не утратив творческого потенциала. В результате создалась парадоксальная ситуация. Есть ряд художников, имена которых прочно и заслуженно вошли в историю искусства, в то время как их деятельность, начиная с какого-то момента, из истории искусств выпадает.

Выпадает так же прочно, как выпадает нацистское искусство из современного искусства Германии. Остается предположить, что полноценность произведений искусства определяется в данном случае не только мастерством и талантом, но и какими-то иными, менее привычными элементами художественной психологии. В этой статье речь идет о попытке обосновать на общеизвестном художественном материале гипотезу, возможно, объясняющую в какой-то степени этот феномен тоталитарной архитектуры.

Победа Сталина во внутрипартийной междоусобице и последовавшие за ней экономические и политические реформы повлекли за собой перестройку и культурной жизни страны. Постановлением ЦК ВКП/б/ от 23 апреля 1932 года были уничтожены независимые художественные организации и на их месте созданы единые, централизованные творческие Союзы, в том числе и Союз советских архитекторов. Одновременно с этим многоступенчатый конкурс на Дворец Советов определил как художественные вкусы руководителей государства, так и круг задач, которые отныне предстояло решать советским зодчим. На фоне этих событий началась стремительная перестройка профессиональной психики в масштабах государства. В канун перестройки в СССР существовало множество конкурирующих художественных направлений. Очень грубая классификация позволяет выделить несколько основных групп.

Конструктивизм — самое многочисленное и, по существу, уже победившее направление. Принципиальный классицизм (Жолтовский, Фомин). Эклектический ретроспективизм свободного толка (в первую очередь, ленинградская школа). Романтический экспрессивный неоклассицизм, часто формально сближавшийся с конструктивизмом (Троцкий, Гольц, Иофан).

Опыт Италии и Германии подсказывает, что последнее направление должно было бы оказаться наиболее близким существу режима. В СССР произошло не совсем так, хотя и Троцкий, и Иофан сразу же заняли места в лидирующей группе. Только конструктивизм был полностью и решительно исключен из обращения (несмотря на грядущие посты и звания некоторых его вождей). Все остальное было принято в переработку и в кратчайшие сроки превращено в нечто концептуально и стилистически однородное, заранее получившее название "архитектура социалистического реализма".

С победой Сталина завершилась эпоха наивного революционно-художественного романтизма, питавшего в 20-е годы левые течения

в искусстве при брезгливо-настороженном отношении революционных властей. Теперь заказчик четко объяснил, что ему надо — проектирование монументальных сооружений, символизирующих собой величие государственной власти. Настало время однозначного, как пирамида, пафоса, пафоса власти. Искусству даже не предлагалось изобразительно выражать политическую идею, как в первые годы революции, речь шла не о художественной агитации. Агитация за идею предполагает возможность выбора как идеи, так и художественных средств агитации. Тут же нужно было найти наиболее энергичный эмоциональный эквивалент одной-единственной идее — мистической идее вечной, незыблемой и абсолютной власти — идее тоталитаризма*.

Относительно быстрой и бескровной перестройке архитектурной психики помогли, как ни странно, некоторые ее профессиональные особенности.

1. Желание строить при любых обстоятельствах. Архитектор-профессионал — это значит практик. Отказ от участия в строительстве равнозначен смене профессии (не говоря уже о потере средств к существованию) .

2. Архитектура — искусство агрессивное. Она формирует эмоциональную среду существования человека средствами, которых он не в состоянии избежать. Это определенная власть. А власть развращает. Оказавшись в условиях, когда не только дозволяется, но и предписывается максимальная аффектация, неограниченное давление на психику, — не все могут удержаться. Особенно, если подстегивает романтический темперамент и профессиональное недовольство вечной недооценкой социальной значимости архитектуры.

3. Невинная форма, в которую была поначалу облечена борьба за социалистический реализм в архитектуре. Отношение к историческому наследию — вполне привычная и достойная тема для архитектурных дискуссий. Хотя уже в конце 30-х годов ярлык "конструктивист" был синонимом политического обвинения, в начале десятилетия дискуссии еще допускались, правда, в весьма умерен-

* "Многие столетия простоит на земле Дворец Советов. Он войдет в новую географию мира. На карте мира исчезнут границы государств... Возникнут коммунистические поселения, не похожие на старые города... Люди будут рождаться — поколение за поколением, — жить счастливой жизнью, стареть понемногу, но знакомый им по милым книжкам детских лет Дворец Советов будет стоять точно такой же... Столетия не оставят на нем своих следов, мы выстроим его таким, чтобы он стоял, не старея, вечно. Это памятник Ленину". Н. Атаров, Дворец Советов, М, 1940, стр. 14.

ной форме. И всегда существовала возможность достойного и почетного отступления. Ведь согласиться с правотой или даже осторожно оспаривать слева Ивана Владиславовича Жолтовского ни с моральной, ни с физической точек зрения совсем не то же самое, что дискутировать с Молотовым (председателем жюри конкурса на Дворец Советов). Удивительным образом вкусы полуобразованных мещан, выступавших в роли "вождей пролетариата", оказались под защитой авторитета целого букета академиков с дореволюционным стажем.

Что особенно поражает в этом процессе массовой перестройки архитектурной психики, так это не столько его скорость, сколько глубина и искренность. Можно, конечно, не доверять чувству гордости, с которым хитроумный и не обремененный предвзятыми художественными концепциями Щусев заявлял, что в его работе над гостиницей "Москва" "...представители правительства принимали самое активное участие и по их указаниям мне приходилось неоднократно переделывать самые существенные детали!" Но архитектурную молодежь, похоже, удалось купить за так. Пример тому — судьба одного из самых симпатичных людей в нашей архитектуре, А.К. Бурова. Блестящий молодой конструктивист, личный друг Корбюзье перестраивается сразу же (всю жизнь, однако, оставаясь на левом фланге). В 40-е годы он в осторожной форме заносит в личный дневник вполне здравые и вполне еретические для своего времени мысли. Его записи могли бы служить редким примером личного свободомыслия, не будь они так безнадежно архаичнее его же собственных художественных воззрений 20-летней давности. Сам он в это время успешно занимается техническим изобретательством и время от времени проектирует, исходя, похоже, из какой-то странной смеси инстинкта самосохранения, профессионального самолюбия и бог знает еще чего (по принципу "ни вашим, ни нашим"), нечто уж совершенно несусветное. Абсурдное со всех точек зрения, в том числе и ортодоксально-академической (проект "Храма Славы" в Сталинграде и монумента "Сталинградская эпопея"). И становится в 1957 году член-кором Академии строительства и архитектуры.

Итак, существовала иллюзия отступления без морального ущерба. То, что это была всего лишь иллюзия, сейчас можно утверждать почти наверняка. Руководители страны, смешав всех зодчих в едином котле Союза архитекторов СССР, отнюдь не собирались идти на поводу у ими же назначенных лидеров. Им вовсе не нужны были

в чистом виде ни "палладианство" Жолтовского, ни "красная дорика" Ш.И. Фомина. И то, и другое были художественными явлениями обычного порядка, приспособленными, даже в своих крайностях, к вполне обычному образу жизни и способу восприятия. Теперь же требовалось нечто совершенно новое, соответствующее по масштабу и смыслу совершенно новой, уникальной политической структуре. По-видимому, довольно точно суть перемен уловил А.А. Веснин, осторожно заметивший в 1934 году: "Образность в архитектуре подменяется часто символизмом". Символизмом не художественным, добавим мы, а политическим.

Дореволюционные особняки Фомина или Жолтовского (дом Половцева и др.) обладают всеми типологическими признаками жилья, соответствующего нормальной человеческой природе заказчика. Жилые "саркофаги", которые строил в 30–50 г.г. Жолтовский, этих признаков уже лишены. В них чувствуется холодное мастерство рисовальщика и стремление к тому, что тогда (да и сейчас) называлось "монументализмом", а на деле означает стремление превратить любое здание, независимо от назначения, в условный символ величия, материализованный пафос. При этом Жолтовский был значительно больший эстет, чем большинство его единомышленников и учеников, и, следовательно, гораздо сдержаннее, чем они, выполнял так называемый "социальный заказ".

Один из главных ударов был нанесен по архитектурной типологии. Архитектура утратила свои функции по созданию живой человеческой среды. Социальные программы 29–30 г.г., проблемы создания новых типов жилья и новых принципов расселения забыты. Теперь требовался антураж для проведения митингов, демонстраций и монументы, прославляющие прошлое, настоящее и будущее режима. Эти требования в равной степени распространялись на немногочисленные жилые дома, общественные и административные сооружения. Примером могут служить московские "недоскребы", на которые распался после войны так и оставшийся главным мифом советской архитектуры Дворец Советов. Было запроектировано 8 почти идентичных по архитектуре и "национальных по форме и социалистических по содержанию" зданий: университет, две гостиницы, два административных, два жилых здания и одно административно-жилое. Совершенно очевидно, что основные усилия архитекторов были направлены на создание нового образа городских сооружений. Так же очевидно, что образ этот никак не был связан с назначением дома. "Идейно-художественные образы

этих зданий символизируют торжество великих идей Ленина—Сталина.., удачно выражают идеи, вытекающие из существа коммунистического общества, а именно величие этого общества, раскрепощенный творческий труд, радость бытия, веру в человека”. (Цапенко) *. В равной степени можно говорить о пространственном моделировании структуры государственной власти.

Люди, живущие в домах, символизирующих власть, — сами власть. Они не нуждаются в обычных для жилища приметах бытового комфорта. Ведь быта нет. Во всяком случае зрительно. Есть непрерывное круглосуточное служение — не без ореола мистики. И этим тоже, наверное, а не только личными привычками Сталина, объяснялось то, что все ответственные работники страны работали, в основном, по ночам. По существу, дома для начальства (а других, кроме барачников, тогда не строили) были не столько жильем, сколько богатыми казармами. Стремительная карьера забрасывала людей в роскошные апартаменты и так же стремительно они меняли их на условия гораздо менее комфортабельные.

Московские небоскребы — пример позднего, послевоенного “сталинского ампира”, обладающего собственными специфическими чертами. Это уже результат внедрения в профессиональную психику идей “социального заказа”, которые формулировались и уточнялись на конкурсах первой половины тридцатых годов.

Можно сказать, что была, наконец, решена, точнее снята вечная проблема соответствия формы и содержания. Содержание, смысл здания никакого отношения к архитектурной форме заведомо не имели, а сама архитектурная форма, якобы традиционная, тоже утратила свой первоначальный смысл и наполнилась новым содержанием, не имеющим никакого отношения к архитектуре вообще. Любое здание рассматривалось как монумент, памятник либо постамент под памятник, в котором лишь в силу технической необходимости проделывались окна и устраивалась какая-нибудь начинка. Интересно, что до сих пор “монументальность” является основной целью творческих поисков и основным комплиментом в устах советских зодчих, мало задумывающихся над тем, что она означает психологически и эмоционально.

Другое новшество тридцатых годов касается взаимоотношений архитектора и заказчика. В двадцатых годах заказчика просто

* Прекрасный анализ того, как догматика новой эпохи преломлялась в архитектуре, сделан Вадимом Паперным в книге “Культура 2. Очерки истории советской архитектуры”.

не было. Архитекторы сами ставили себе задачи и сами их решали, иногда приходя на теоретическом уровне к блестящим результатам. Можно только предполагать, какие трудности возникли бы при реализации замечательных проектов соцрасселения, не изменилась обстановка так кардинально (ведь карточная система распределения жилья, по-видимому, и тогда не вызывала особых сомнений). Художественная борьба велась почти без участия политического руководства. Конкурсы имели вполне реальный смысл. Это позволяло строить время от времени действительно прекрасные здания, например "Центрсоюз" Корбюзье — один из основных объектов злобной критики последующих десятилетий.

Но обстановка изменилась. Появился заказчик, причем персонафицированный. Его вкусы и вкусы его ближайших соратников определил и художественный стиль эпохи. Это был заказчик нового типа. Он совмещал в себе цензора, художественного руководителя, но, как ни странно, не потребителя. Потребительское значение архитектурных сооружений 30-х годов крайне не велико. Нельзя сказать, что они были совсем не нужны — хотя бы потому, что ответственные работники тоже должны были где-то жить. Их основное назначение было иллюзорно-символическим. Требовалось как можно скорее изгладить из памяти населения представление о прежней жизни и построить на ее обломках образ нового социалистического города. Отсюда вспыхнувшая внезапно страсть к ансамблевому градостроению. Не к изучению закономерностей композиционного построения новой городской структуры — такие понятия тогда уже существовали и были искусственно выведены из обращения. Апеллировали к дворцово-храмовым ансамблям традиционного характера, исполненным теперь, правда, нового смысла. Художественные проблемы градостроителей свелись все к той же социальной символике. Симметричная композиция из 3—4-колонных зданий с горкомом (райкомом, горсоветом, сельсоветом и т.д.) по оси и статуей вождя в центре стала универсальным градостроительным приемом. Страну покрыли мемориально-храмовые комплексы, одновременно жуткие и нелепые до смешного, поскольку архитектуре все-таки приходилось выполнять кое-какие житейские функции, а людям — пользоваться ею в качестве жилой среды. Вполне естественно, что создателям новых культов культовые сооружения прошлого казались врагами. Этим, по-видимому, а не только художественным невежеством, объясняется поднявшаяся тогда новая волна уничтожения памятников архитектуры,

одной из первых жертв которой стал Храм Христа Спасителя в Москве.

Единственной архитектурной затеей, которая принесла практическую пользу населению, было строительство метро. При этом она носила настолько откровенный престижно-пропагандистский характер, что говорить о ней, как о социальной программе, невозможно. Вот как обосновывал журнал "Строительство Москвы" (№ 2—3, 1935, стр. 51) отказ от проекта строительства московского метро по типу парижского: "Этот проект был направлен на создание самого дешевого, самого бедняцкого метро в мире. Конечно, он в корне не соответствовал нашим социалистическим принципам и нашим возможностям, позволяющим и диктующим нам создание метро, превосходящего во всех отношениях все метро капиталистических стран!"

Задача иллюзорного приобщения населения к дворцовой роскоши, очевидно, преобладала над практическими задачами решения транспортной проблемы. Такой яркий пример заботы руководства страны о населении как бы снимал необходимость проведения прочих социальных программ, например, строительства массового жилья.

Что же касается социалистических принципов и возможностей, то именно на время строительства метро приходится массовая смертность от голода в новорожденных колхозах.

В начале тридцатых годов в СССР сложились совершенно особые условия для архитектурного творчества. Появился, как мы уже говорили, заказчик нового типа, который не являлся потребителем заказываемой архитектуры в обычном смысле этого слова. В практическом плане потреблять было нечего — страна не нуждалась в таком количестве министерств, театров и партийных резиденций. В плане духовном то же самое: заказчик не мог рассматривать новую архитектуру, как потребную для себя среду, — она создавалась для других. Власть, заказывающая архитектуру, символизирующую власть, не может относиться к самой себе с тем же пиететом, какой она предписывает населению. Можно говорить разве что об удовлетворении тщеславия, о развитии комплекса величия и т.п.

Радикальные изменения в постановке архитектурных проблем не могли не превратить все население страны в потребителя нового типа. Потребителя, которому нечего потреблять, кроме архитектур-

ных иллюзий, социальной символики, выраженной средствами псевдоархитектуры.

Картину дополняет абсолютный вакуум на месте бурной профессиональной атмосферы недавнего прошлого. Архитектор функционировал в этом вакууме, накрепко повязанный правительственной дисциплиной, не имея никаких социальных контактов с потенциальным потребителем. В таких условиях выковывались новые архитектурные кадры, архитекторы нового типа. Надо полагать, что искусство, порожденное таким стечением обстоятельств, имеет право на особый статус во всеобщей истории искусств.

В зависимости от того, как сказывается в произведении искусства личность автора, его можно причислить к одной из основных форм художественного творчества — искусству “народному” или искусству “современному”. Возможно, более точные определения — “массовое” и “индивидуальное”. “Массовое” искусство хронологически первично. Оно является, по существу, тем, что мы сейчас называем ремеслом. Оно выражает духовную жизнь всего общества (или, скажем, популяции) и обращается, соответственно, к массе. Для того, чтобы дать о нем представление, достаточно назвать эпоху и страну. Имя автора, даже если оно известно, ничего к этому не прибавляет. “Народное” искусство целиком основывается на традициях, традиционных, стереотипных приемах, материалах и образах. Оно выражает общенациональные черты, темперамент, образ мыслей. Такой подход исключает свободу творчества, как и свободу выбора творческого пути.

Но вот наступает момент, когда индивидуальность автора приобретает определяющее значение. Этот скачок соответствует достижению определенного уровня цивилизованности общества, при котором художник оказывается в состоянии осмыслить и свое, и чужое искусство. Перед ним возникает возможность выбора, возможность создания своей собственной индивидуальной манеры творчества и возможность заимствования стилей из прошлого своего или других народов. На месте суммы правил и приемов возникает теория искусства. В разных искусствах этот процесс происходил по-разному. В европейской архитектуре перелом, видимо, произошел где-то в 14-м веке. Готика была последним “массовым” стилем, опиравшимся на естественно существовавшие традиции. Уже Возрождение дает нам имена художников и архитекторов, личность и индивидуальная манера которых целиком определяют

различия созданных ими художественных школ, несмотря на сосуществование их в рамках одной эпохи и даже одного стиля. Процесс этот, конечно, был сложным, не единовременным и не однозначным, но нам сейчас важен принцип. Художник-личность требует зрителя-личности. Разговаривая не от имени народа, точнее культуры в целом, художник обращается не к толпе, а к каждому человеку в отдельности, предполагая в нем равную себе индивидуальность. "Массовое" искусство продолжает существовать в виде народных ремесел и будет существовать, покуда жива питающая его естественная среда.

Возможно, равноправный характер взаимодействия личности автора и личности зрителя естествен для нормального искусства.

Советская архитектура тридцатых годов в эту классификацию попросту не укладывается. Уровень общественных отношений, кастовая система социального устройства и художественное единоначалие предполагали (и породили) "народное" искусство, обращенное к массам, заставляющее человека чувствовать себя частицей толпы и видеть только в этом свою ценность. "Незаменимых нет!". Разумеется, предполагается абсолютная однородность искусства, одностилие. Предполагается ремесло, так как все творческие (в современном понимании) установки уже определены и незыблемы. Но это касается только особенностей зрительского восприятия. С точки зрения профессионального самосознания Иофан, Жолтовский и их коллеги были вполне современными художниками. Они с полным уважением относились к своей индивидуальности и своему личному вкладу в мировую архитектуру. Идеи, которыми питалось их искусство, так же, как и идеи, которые легли в основу создания режима в целом, были сначала сформулированы, а потом воплощены, и таким образом являются продуктом духовного творчества в нашем, современном понимании этого слова. На них в огромной степени сказалась личность вождя-создателя.

Такое положение дел совершенно необычно для нормальных взаимоотношений художника и общества. И для нормальной человеческой психики тоже. Вот тут уже можно говорить о морали. Сам по себе анализ образного строя сталинской архитектуры в полной мере такой возможности не предоставляет. Можно рассматривать Дворец Советов, как символ тоталитаризма, крайнюю степень архитектурного хамства, а можно как "...здание грандиозное, стройное, светлое, радостное" (Н.Атаров)

Анализ авторской психики — это, по существу, тест на профессиональную чистоплотность. Тест, которого сталинские зодчие не выдерживают. Их искусство аморально, потому что навязывание санкционированных режимом художественных решений, стиля, метода не ограничивалось правом зрителя на выбор этих решений или хотя бы выражение неудовольствия. Правом даже не реальным, о том и речи нет, а предполагаемым, тем, что должно быть заложено в авторском сознании и означает уважение к людям.

Нельзя сказать, что профессиональное хамство и личная nepядочность — это одно и то же, хотя границы тут достаточно размыты. Людей типа Алабяна или Мордвинова, непосредственно осуществлявших политику партии в области архитектуры, и самолюбивого принципиального Жолтовского нельзя ставить на одну доску.

А как отнестись к Щусеву, говорившему в конце жизни о своем здании НКВД на площади Дзержинского в Москве: "...попросили меня построить застенок. Ну, я им построил застенок повеселее"?

Выше говорилось, что сталинская архитектура почти лишена потребительского значения. Это не значит, что она бессмысленна. Просто изменился смысл архитектуры вообще. Ее прикладное значение больше почти не принималось в расчет. Новую задачу можно было бы сформулировать приблизительно так: "Управление социальной психологией путем ее подавления". Эту свою полицейскую функцию архитектура нового типа выполняла и выполняет блестяще.

С 1984 года в Мюнхене выходит ежемесячный общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал
СТРАНА И МИР

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности — живущим в СССР и за рубежом. Объем журнала 96 стр. крупного формата.

В каждом номере журнала: ежемесячный обзор важнейших политических событий; интервью и выступления политических деятелей; облик тоталитаризма; СССР — взгляды изнутри и извне; проблемы современного Запада; историческая ретроспектива; судьбы русской интеллигенции; литература и общество; религиозное движение нашего времени.

Стоимость годовой подписки 60 нем. марок. Стоимость полугодовой подписки — 30 нем. марок. Цена одного номера — 6 нем. марок. Доставка авиапочтой — за дополнительную плату (10 долл.). Подписная плата принимается перечислениями на банковский счет (Deutsche Bank Munchen, BLZ 700 700 10, Konto-Nr 331 9613, Das Land und die Welt e-V), или на почтовый счет (Postgiroamt Munchen, Postcheck-Konto-Nr.22 3981-804), а также в виде чека. При посылке чека просьба добавить к подписной плате 5 нем. марок.

Виктор Каган

НАУКА ЛОМАТЬ

Говорят, ломать — не строить: ума не надо. Но разломать массивную конструкцию дело нелегкое, и если сил немного, без ума не обойтись.

Дом Романовых рухнул сам, Николай II тут сделал больше, чем все оппозиционеры и революционеры вместе взятые. К этому сводятся оценки таких разных деятелей, как С.Ю. Витте, В.В. Шульгин, А.Ф. Кони, и они, по-видимому, правильны. Февральская революция была не организованной, а действительно стихийной, народной. Она захватила врасплох все без исключения политические партии. Но с Октябрьской республикой дело обстояло иначе. Ее судьбу в одинаковой степени решила бесхребетность, безынициативность Временного правительства и энергичная искусная тактика большевиков.

Две капитальные монографии профессора М. Френкина*, в значительной степени опирающиеся на обширный архивный материал, впервые введенный автором в научный оборот, открывают новые возможности проследить этот глубоко трагический период русской истории.

* * *

Общественные процессы — это прежде всего процессы управления и организации. Кибернетика, общая наука об управлении, подвела новую, более глубокую основу под старую идею об аналогии между биологическими и социальными структурами.

“...невероятно маленькие группы атомов, слишком малые, чтобы они могли проявлять точные статистические законы, играют главенствующую роль в весьма упорядоченных и закономерных явлениях внутри живого организма. Они управляют видимыми признаками большого масштаба (...), определяют важные особенности функционирования (организма)”**.

Человека ни в каком приближении нельзя рассматривать как раствор органических молекул, хотя организм на 60—65% состоит из воды. Аналогично и по таким же причинам марксистский тезис “историю творят массы” ничего не дает для понимания истории и явлений общественной жизни, хотя массы составляют подавляющую по численности часть общества. Исторические процессы определяются общественными структурами, организациями. Количество людей в таких организациях могут измеряться и миллионами, и единицами. Отсюда ясна и роль личности в истории. Личные качества человека становятся фактором истории тогда и только тогда, когда он входит в структуру, которая играет “главенствующую роль в упорядоченных и закономерных явлениях” внутри общества и в то же время состоит из групп людей, слишком малочисленных, чтобы “проявлять точные статистические законы”.

* 1. М. Френкин. *Русская армия и революция, 1917—1918*. Мюнхен, 1978.

2. М. Френкин. *Захват власти большевиками в России и роль тыловых гарнизонов армии. Подготовка и проведение октябрьского мятежа. 1917—1918*. Иерусалим, 1982.

Далее в тексте в скобках ссылки на страницы в этих монографиях.

** Э. Шредингер. *Что такое жизнь с точки зрения физики? ИЛ, 1947, стр. 34.*

* * *

Армия и полиция — две организации, защищающие государство от разрушения такими механическими средствами, как интервенция и восстание. Армия — организация гораздо более мощная, поэтому именно она решает в конечном счете судьбу революции. Даже Энгельс признавал, что у революции нет шансов победить, если армия не перейдет на сторону повстанцев или не будет хотя бы нейтральной, так как подавление восстания регулярными войсками не составляет трудностей, если оно является для них лишь чисто военной задачей. Выбрав объектом своего исследования русскую армию, М. Френкин выделил один из главных факторов, определивших историю России в период 1917—18 гг., события которого имели столь далеко идущие последствия для всего мира.

* * *

Февральская революция победила, когда части Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. Застрельщиком выступила учебная команда Волынского полка под руководством унтер-офицера Кирпичникова — после того, как в ночь с 26 на 27 февраля юнкер Михайловского артиллерийского училища Петр Кушников, тайком проведенный в казарму полка, договорился с Кирпичниковым, что юнкера-михайловцы поддержат солдат-волынцев. Подробностей рассказа Кушникова я, к сожалению, не запомнил. Помню, он говорил, что волынды не решались выйти на улицу, не зная, на чью сторону станут юнкера, так как полностью укомплектованные артиллерийские подразделения под командой опытных фронтовых офицеров, преподавателей училища, были по тем масштабам серьезной военной силой.

К моменту февральской революции царская армия, потерявшая свыше 5 миллионов людей и недополучившая за год около 20% вагонов продовольствия (1, 23—24), была глубоко деморализована. 1,5—2 миллиона дезертиров (оценки Родзянко и австрийской разведки расходятся /1, 25/). Мародерство, голодные бунты, перебежки к врагу, массовые сдачи в плен, братания и т.п. (1, 31).

При первых же вестях о революции во многих армейских частях начались выступления солдат, офицеры бежали, опасаясь расправы. Приказ Родзянко по Петроградскому гарнизону от 28 февраля — солдатам немедленно вернуться в казармы и беспрекословно подчиняться офицерам — был элементарной грубой ошибкой, так как никакой независимой от гарнизона силой, чтобы заставить себе подчиняться, Родзянко не располагал. А для солдат его приказ звучал как приказ вернуться к тому самому старому режиму, который они только что свергли и олицетворением которого в их глазах были офицеры. Приказом Родзянко правительство показало, что солдатам его и бояться нечего, и любить не за что. Петроградский Совет перехватил инициативу и издал знаменитый приказ №1, регулировавший отношения между солдатами и офицерами. Приказ узаконивал солдатские комитеты (но не предусматривал создания офицерских организаций), запрещал грубое обращение с солдатами, предоставлял солдатам все политические права вне строя и службы и в то же время предписывал "соблюдать строжайшую воинскую дисциплину" в строю и при исполнении служебных обязанностей (п. 6). Он отчасти сыграл роль предохранительного клапана, но в то же время существенно подорвал принцип единоначалия. Сам факт, что приказ по армии исходил не от военного командования, а от штатского Совета, был определенным нонсенсом и оттолкнул офицеров, в особенности тех, кто и без того принял

революцию враждебно. Солдаты гарнизонов стали теперь признавать своей властью не правительство, а Советы. Советы, стремясь сохранить свою главную опору — гарнизоны — добились права вето в вопросе вывода частей на фронт. В армии создано двоевластие. Временное правительство предприняло "чистку" и уволило около 60% лиц высшего командного состава действующей армии, признанных несоответствующими занимаемым должностям (1, 65). Это было, по-видимому, действительно необходимо (1, 64; 2, 22—23). Вспоминаю еще, что П. Кушников, командовавший батареей в знаменитом офицерском корпусе ген. Каппеля, очень резко отзывался о "старых переносках", занимавших все высшие командные посты в армии Колчака. Но в результате отношения правительства с генералитетом и Ставкой обострились.

Все это происходило на фоне широкой волны самоуправных арестов и отстранений офицеров, митингов, братания с противником (1, 63; 1, 67), т.е. в обстановке, в какой п. 6 приказа №1 обычно оставался лишь добрым пожеланием. Показания адмирала Колчака перед трибуналом в Иркутске дают ясную картину прогрессивного паралича черноморского флота вследствие развала дисциплины, вызванного фактическим сведением на нет командной роли офицерского состава.

Воинская часть, в которой не хватает бойцов, вооружения и снаряжения, но сохраняется организованность и дисциплина, это все же воинская часть, т.е. структура, принципиально отличная от вооруженной толпы. К весне 1917 г. структура армии была существенно ослаблена и разрушена. Так оценивали положение и творцы приказа №1, считавшие, что они разрушили старую армию ради спасения революции (меньшевик И. Гольденберг-Мешковский, член Исполкома Петроградского Совета /1, 55/). М. Френкин пишет, что приказ №1 защитил завоевания революции от реакции справа, но открыл широкую дорогу реакции слева (1, 55; 2, 37). Дальнейший ход событий полностью подтверждает вторую часть этой оценки.

* * *

Обширный фактический материал показывает, как остро стояли в 1917 г. вопросы о мире, аграрный и национальный. Нам здесь неважно, почему Временное правительство не оправдало надежд на скорое решение этих вопросов, волновавших подавляющее большинство населения бывшей Российской империи. Важно, что эта, бесспорно, очень серьезная причина падения Февральской республики была не единственной и даже не главной. Во время второй мировой войны потеря — людских, материальных и территориальных — было гораздо больше. Продовольственное положение было значительно хуже. С аграрным и национальным вопросами дело обстояло ничуть не лучше. В тылу была многомиллионная масса заключенных, о какой понятию не имели в прежней России. На фронте сражались целые части, перешедшие на сторону врага, чего тоже не бывало за всю историю дома Романовых. И все-таки советский режим устоял. Устоял потому, что Сталин сумел сохранить жесткие структуры двух механических опор государства — армии и служб безопасности. Он был совершенно прав, когда в 1942 г. сказал Черчиллю, что считает положение лучшим, чем в годы коллективизации, хотя в этот момент вся Украина, Белоруссия, Прибалтика и часть центральной России были в руках гитлеровцев, гитлеровские войска двигались к Кавказу, Ленинград задыхался в блокаде, а армия Паулюса штурмовала Сталинград.

Физику советское общество напоминает переохлажденный раствор. Такой раствор остается жидким ниже температуры затвердевания, если не до-

пускать возникновение центров кристаллизации. Но если такой центр возник, — процесс развивается лавинообразно, и вся масса застывает почти мгновенно.

До сих пор советские руководители успешно предотвращали подобные фазовые переходы.

Массовое выступление в Новочеркасске, описанное Солженицыным, подавили войска, и жертв было, вероятно, много больше, чем в "Кровавое воскресенье" 9 января 1905 года. Во-вторых, более года после того Новочеркассск и Ростов-на-Дону снабжали лучше, чем даже столицы; старожилы не помнят такого снабжения за все годы советской власти. Центр кристаллизации разрушили, а переохлажденный раствор в опасном месте подогрели.

Временное правительство не создало для себя механических опор и не подогривало сильно переохлажденный раствор даже в самых опасных местах. И — последнее по порядку, но не по важности — попустительствовало развитию активнейшего центра кристаллизации, организации Ленина.

* * *

Можно по-разному относиться к Ленину и его платформе, но нельзя не признать, что политический тактик он был первоклассный. Он понимал, что какие бы широкие массы ни привлекли к нему лозунги о мире, земле и праве наций на самоопределение, у него нет никаких шансов пробиться к власти, пока правительство располагает армией. Рассчитывать, что горсть большевиков придет к власти демократическим путем, он тоже не мог. А так как власть он все же хотел заполучить, ему оставался единственный путь: не помогать достраивать, но разрушать то, чего еще не достроили другие. И в первую очередь ему нужно было развалить армию. Разгром русской армии на фронте убивал для него двух зайцев: ослаблял и самую армию, и власть правительства в армии и в стране. В этом его интересы полностью совпадали с интересами германского военного командования. И хотя Ленин, конечно, не был простым платным немецким агентом, он сполна использовал все возможности, какие могло ему дать сотрудничество с вражеским государством. Сотрудничество Ленина с Германией доказывается бесспорными архивными документами и свидетельствами современников. Его переброску из Швейцарии в Россию организовало отделение "111 б" германской разведки по предложению МИД Германии и по приказу Верховного главнокомандования германской армии (2, 185). Император Вильгельм и германская Ставка заранее распорядились перебросить ленинскую группу через немецкие фронтовые линии, если шведские или русские власти откажутся ее пропустить (2, 189). Парвус, который в Стокгольме вел с Лениным переговоры, выехал в Берлин для доклада, только когда узнал, что Ленин благополучно пересек русскую границу. После известной речи Ленина с броневика глава немецкой разведки в Стокгольме Штейнвакс телеграфировал в Берлин: "Ленин счастливо оказался в России. Он действует вполне по нашему желанию" (2, 189).

Большевики получили из Германии огромные деньги. По оценке главнокомандующего Петроградским военным округом ген. Половцова "за один только месяц прошло около 10 миллионов рублей" (2, 184). По данным МИД Германии на цели пропаганды в России в 1917 г. было израсходовано свыше 26 миллионов немецких марок и германский министр иностранных дел фон Кюльман писал, что "большевистское движение никогда бы не достигло такого размаха и влияния (...) без нашей постоянной поддержки" (2, 184; 2, 375). За один только октябрь 1917 г. МИД Германии переправило

большевикам 15 миллионов золотых марок и продолжало посылать деньги и в ноябре, и позднее (2, 375). Германия единственная немедленно откликнулась на ленинский декрет о мире. Брестский мир, спасительный для большевиков, был очень выгоден Германии. Вместе с тем, она была заинтересована в сохранении власти большевиков, которые в то время лучше других обеспечивали военный паралич России, и потому 7 тысяч германских солдат в глубокой тайне были под видом военнопленных переброшены через линию фронта в резерв большевикам. Их разместили в окрестностях Москвы, и они находились в ведении штаба при германском посланце графе Мирбахе (2, 375). Дальновидного предложения ген. Гофмана — свергнуть большевиков — германское правительство не приняло (2, 376).

* * *

Поддаляющее большинство солдат стояло за защиту своей страны, никто из них не желал разгрома русской армии. Но все хотели мира, и потому многие охотно шли на братание с вражескими солдатами, причем были случаи насилия и даже убийства тех, кто им в этом мешал. П. Кушников мне рассказывал, что братальщики его чуть не убили. М. Френкин пишет о случаях ареста и даже убийства артиллеристов (1, 266).

Вражеское командование организовало сбор разведывательных сведений у спаиваемых русских братальщиков. Сверхсекретные отчеты австро-венгерской разведки сообщают, что только за май 1917 г. разведчики 3-й и 7-й армий провели 285 шпионских встреч под видом братания. Если с русской стороны братание было солдатской самодеятельностью, то австро-германское командование предписывало "вступать в разговоры с представителями противника только специально уполномоченным на это офицерам разведки (1, 266). Такие офицеры передавали воззвания о перемирии и мире на имя полковых комитетов. Фактическое перемирие на целых участках фронта в результате братания было тоже к выгоде врага.

Большевики активно пропагандировали и организовывали братание, некоторые сами передавали врагу секретные сведения (1, 266; 1, 268). Они спекулировали на желании мира, чтобы подстрекать солдат к невыполнению боевых приказов и бунтам, доходившим до убийства командиров (1, 258—259). Все это немало способствовало провалу июньского наступления 1917 г.

* * *

Разваливая армию, большевики одновременно делали все, что могли, чтобы дезорганизовать управление в промышленности. Подстрекаемые ими экстремистские элементы из рабочих самоуправно устранили администрацию, сокращали рабочий день, вмешивались в дела технического управления. Они добивались повышения заработной платы в то время, как производительность катастрофически падала. Предприятия становились убыточными, закрывались. С марта по октябрь было закрыто 568 предприятий (2, 266—269).

Рост безработицы содействовал росту Красной гвардии. Большевики начали создавать ее под видом "заводской милиции" якобы для охраны предприятий. Затем, под вывеской борьбы против выступления ген. Корнилова, они сумели резко увеличить и численность, и вооружение Красной гвардии. Вооружение добывали всеми законными и незаконными путями: получали, вымогали, выкрадывали (2, 261—263). В начале октября вражеская разведка доносила, что "оружейные заводы последние месяцы больше работали для большевиков, чем для русской армии" (2, 264). Расходы по содержанию

Красной гвардии большевики сумели взвалить на промышленность, которая и так задыхалась от недостатка оборотных средств. Красногвардейцы получали средний заработок рабочего (250—360 рублей в месяц), их бесперебойно снабжали продуктами и обеспечивали обмундированием. Ядро Красной гвардии составляли уволенные низкоквалифицированные рабочие, кроме того в нее влилось немало авантюристов, выходцев из прежней охранки, черной сотни и даже уголовников. Меньше всего красногвардейцы занимались охраной предприятий, но "заработок" получали исправно, нередко вымогая его под угрозой оружия. Вражеская разведка была недалеко от истины, донося, что Красная гвардия — "темный сброд" (2, 273—276). И все же это была военная организация. Ее силами был совершен октябрьский переворот, и она была главной опорой большевиков в первый период после захвата власти — взамен разваленной ими старой армии.

Большевики вытеснили меньшевиков и эсеров с ключевых позиций в Петроградском Совете. Рьяно ратуюя против вывода воинских частей из города, они обеспечили себе дружественный нейтралитет Петроградского гарнизона. "Героический штурм" никем не защищаемого Зимнего обошелся почти без жертв: М. Френкин приводит сведения об убитых 5 солдатах и 1 матросе и о 3 раненых юнкерах, а Дж. Рид — о 3 изнасилованных ударницах из женского батальона. А потом пошло повсеместное насаждение ревкомов, "триумфальное шествие советской власти", оставившее только рожки да ножки от "власти Советов" (2, 372).

* * *

Решив физически уничтожить своих прежних политических соперников, Сталин объявил, будто они превратились из политического течения в "беспринципную банду шпионов и диверсантов". Эту характеристику — в 1938 году безусловно клеветническую — можно, однако, с большой долей справедливости применить к партии большевиков как целому в период подготовки октябрьского переворота. Разумеется, если говорить об отдельных конкретных лицах, мы встретим немало людей бескорыстных и самоотверженных, субъективно честных, искренне веривших, что они борются за правое дело. Готовность жертвовать собой давала им — в их глазах — моральное право жертвовать "для пользы дела" чем и кем угодно. Советская историография и литература буквально кишит жизнеописаниями таких идеалистов, из которых многие сложили головы на фронтах гражданской войны, а потом большинство оставшихся погибли в сталинских застенках и лагерях. "Ни один лес не может состоять из одних только вьющихся растений" (А. Эйнштейн), и ленинская организация не пробилась бы к власти, не будь в ней вначале такого костяка. Это уже потом, когда были созданы прочные организационные структуры и отлажена бюрократическая машина, костяк стал костью в горле. Но для понимания явлений общественной жизни нужно строго разграничивать оценки организации и личных качеств людей, которые в нее входят.

Меньшевики, эсеры и даже кадеты вели себя с большевиками как с равноправными политическими партнерами, хотя еще до 1917 г. тот же Мартов называл их политический курс "ленинской нечестивщиной", а П. Аксельрод "характеризовал ленинскую компанию как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии" (2, 72; 2, 73). Они упорно не хотели видеть принципиальной разницы между пользованием демократическими свободами и подрывными уголовными действиями. Об ответственности за прямое подстрекательство к противозаконным и даже преступным

действиям не было и речи. Поговорка "языком болтай, рукам воли не давай" обернулась так, что партии, стоявшие у власти, только болтали в то время, как большевики во всю действовали руками.

Солдаты и часть матросов потребовали ареста Ленина в связи с подозрительным проездом через территорию Германии — Исполком Петроградского Совета послал в Волынский полк специальную делегацию, чтобы "рассеять те ложные слухи, которые распространены среди солдат о тов. Ленине" (2, 199).

Русская и французская контрразведка информировали Временное правительство о связях большевиков с Германией — оно не воспользовалось информацией (2, 248), а лидеры меньшевиков (Дан, Церетели, Чхеидзе) даже взяли Ленина под защиту (2, 245; 2, 246).

Контрразведка перехватила письма Ленина к Парвусу, большевиков с поличным поймали на получении денег из Германии — Временное правительство даже не обнаружило документов, компрометирующих большевиков (2, 247; 2, 248).

Большевики трижды — в апреле, июне и июле — устраивали вооруженные "мирные" демонстрации, "своеобразное сочетание демонстрации с чем-то вроде вооруженного восстания" (Ленин), но и тут они отделались легким испугом.

* * *

В момент революции неизбежна встряска и ломка общественных структур. Тогда на исторической сцене временно появляются "массы" — выброшенные из рамок структур люди, количество которых достаточно велико, чтобы они могли "проявлять точные статистические законы". Выступление масс в этот трагический период русской истории являет мрачную картину массового дезертирства, мародерства, погромов, "аграрных беспорядков" — разграбления не только помещичьих усадеб и экономий, но и крестьянских хуторов (2, 104). Известно, какие меры потребовались, чтобы большевистский переворот не утонул в вине. В Петрограде под личным руководством Троцкого уничтожили все винные склады. Вино из разбитых бочек ручьями текло по улицам, и его лакали, становясь на четвереньки. Подстать были и методы "введения в рамки". "Товарищеский суд" 3-й роты гвардии Волынского запасного полка в Петрограде приговорил бить кнутами двух солдат, бежавших домой на праздники (2, 43). В. Трифонов писал в годы гражданской войны о полках Красной армии, добровольно принявших дисциплинарный устав, предусматривавший телесные наказания, "которые с успехом и довольно широко применялись"*. "Железный поток" А. Серафимовича в слабо завуалированной форме повествует о телесных наказаниях в знаменитой Таманской армии. Причем, по свидетельству Гладких, адъютанта командовавшего армией Ковтюха, солдаты принимали это как должное: "натянули штаны и опять пошли маршировать".

Большевики искусно играли на низменных инстинктах толпы, они делали все возможное, чтобы усугубить анархию. Достаточно вспомнить знаменитый ленинский лозунг "грабь награбленное" и менее известный проект резолюции солдатского митинга в Киеве, объявляющий борьбу с дезертирством "нарушением демократических принципов" (1, 258). Структуры, преграждав-

* Цитирую по книге Ю. Трифонова "Отблеск костра", М., "Советский писатель", 1966, стр. 142.

шие большевикам путь к власти, возможно было доломать малыми силами только 6 мутных волнах анархии, когда возникали и такие положения, что каких-то два-три десятка тысяч латышских стрелков оказывались решающей силой.

Временное правительство должно было сразу же радикально расправиться с большевиками и в то же время предпринять впечатляющие демонстративные шаги в направлении решения наиболее важных вопросов о земле, мире и национальном. Ослабив таким образом напор масс, оно бы смогло ввести ход событий в некое русло и укрепить систему управления. Но Временное правительство поступало как раз наоборот.

Большевики — по рецепту Ленина (записка о красном терроре) — заблаговременно подавляли и истребляли не только всех своих противников, но и всякого, кто может таковым оказаться. Они всегда вовремя открывали предохранительные клапаны. И все же итог их хозяйничания в столь богатой ресурсами стране оказался весьма плачевным. Потому что они в совершенстве овладели только наукой помать, захватывать и подавлять. А наука вести к прогрессу нравов, расцвету культуры, демократии и экономики — это совсем другая область знания.

Виктор Богуславский

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

“Первый гой этой алии”, — представился он и, как нечто уже мало существенное, добавил — “Никита Кривошеин”. Знакомство наше состоялось в кулуарах Брюссельской конференции весной 1976 года. Никита был в штате синхронных переводчиков и последние дни в Брюсселе, помимо переводов, был занят безнадежными хлопотами, пытаясь заработанные им на конференции деньги передать Израилю. В ответ на мое удивление, он, неожиданным для него серьезным тоном, пояснил: “За спасение евреев денег не беру. Это у нас семейное, — отец, спасая евреев от наци, тоже никогда не брал”.

Отчаявшись вернуть заработанные деньги, Никита нашел простое решение — пропить их с евреями — и пригласил нас, группу новых израильтян, в Париж, где он жил с родителями. Между рюмками кальвадоса я узнавал уникальную историю уникальной семьи. Нина Алексеевна, мать Никиты, узнав, что я из Хайфы, вдруг сказала: “Я ведь была в Хайфе... в конце апреля 1948 года (!) Это было так удивительно...” Ее рассказ был наполнен такими живыми деталями... Воистину, Кривошеины — из тех, кто “посетил сей мир в минуты роковые”.

Их молодость — Серебряный век России, к коему они, родившись с “серебряной ложкой во рту”, имели непосредственное касательство. Дед Никиты по отцу, граф Кривошеин — министр земледелия, дед по матери — крупнейший промышленник Мещерский, из рода князей Беклемишевых. Двадцать пять лет жизни в изысканных салонах Петербурга сменились кра-

хом и эмиграцией. В Париже родители Никиты встретились. Париж двух десятилетий между мировыми войнами, центр мировой культуры, "праздник, который всегда с тобой", стал их новым домом. Здесь и родился Никита.

Но и этот дом был разрушен нацистским нашествием. Игорь Александрович во главе группы русских эмигрантов становится в ряды Сопротивления. Эта его деятельность завершается арестом, гестапо и Бухенвальдом. Полуживой, вернулся он к своей семье в Париж и... поддался персональным уговорам Молотова, специально приезжавшего с этой целью в Париж. Кривошеины "репатрируются" в СССР. Здесь КГБ счел, что за спасение евреев Бухенвальд — наказание недостаточное, и отправил Игоря Александровича в ГУЛаг. Там, в "круге первом", в Мордовии, познакомился он с Солженицыным...

Хрущевская оттепель для Кривошеиных началась освобождением Игоря Александровича и завершилась арестом Никиты. Юный парижанин попадает в изысканное общество политзаключенных: демократов, националистов, сионистов (хотя и в те времена, как и позже, большинство населения политзона составляли полицаи, в свое время служившие немцам, а в лагере прислуживавшие начальству). "Сучня" считала Никиту евреем. Причин было две: парижский акцент и те компании, с которыми водился Никита. Среди его многочисленных друзей были и будущие "самолетчики": Федоров и Кузнецов.

После освобождения Никиты на подмосковной даче Кривошеиных стало регулярно собираться общество, весьма примечательное для ГБ — лагерные друзья двух поколений, отца и сына. Власти долго бы не трогали сей "салон", но когда евреи пробили "железный занавес", Никите было под эту марку предложено покинуть "пределы". Тут власть очередной раз проявила общность взглядов с лагерной "сучней". Никита не преминул этой возможностью воспользоваться и летом 1971 года оказался в Париже, тем самым и став "первым гоем нашей алии". Вскоре к нему присоединились и родители. Таким образом, евреи в какой-то мере отблагодарили эту благородную семью. Но благодарность проявилась и более конкретно: Игорь Александрович был приглашен в Иерусалим и в Яд-Вашем был удостоен звания "Праведника Мира".

Так Кривошеины-старшие начали новую часть своей жизни — четвертое двадцатилетие, "четвертую треть", как выразилась Нина Алексеевна. "Четыре трети нашей жизни" — так назвала она книгу своих мемуаров. Книга была написана по просьбе друга семьи, А. Солженицына, и вот сейчас вышла в серии "Всероссийской мемуарной библиотеки" издательства "Имка-пресс".

ПИСЬМА

Уважаемые господа!

Прочитал в "22" умную и прекрасно аргументированную статью (или, вернее, письмо) профессора Марка Азбеля. Правда, мне трудно судить, насколько справедливы доводы автора, когда он характеризует особенности западной научной среды занятой такими специальными областями, как физика или математика, ибо я никогда с нею здесь не соприкасался, но мой, вот уже более чем десятилетний опыт общения со здешними гуманитариями, к сожалению, приводит меня к прямо противоположным выводам.

За годы эмиграции мне приходилось выступать совместно со своими западными коллегами (и зачастую весьма и весьма именитыми!) во множестве различных аудиторий в самых разных частях света, и — да простит меня искренне уважаемый мною профессор Марк Азбель, — все они, за редчайшим исключением, отличались прежде всего прямо-таки катастрофическим многословием, недисциплинированностью мысли, неуважением к долготерпению аудитории, а в личных разговорах удивительной ограниченностью интересов: в совершенстве изучив собственный предмет и обладая в нем самыми обширными познаниями, они ничего или почти ничего не ведали да и не ждали ничего ведавать о предметах смежных. К примеру, блестящие знатоки Ахматовой имели, как правило, крайне смутные представления о ее современниках вроде Цветаевой или Мандельштама. Причем, почти все они и опять-таки, как правило, являлись на свои выступления с опозданием (это, как я заметил, даже считается у них обязательным: способ показать слушателям свою невероятную занятость!) и явно неподготовленными. И наоборот, русские и восточноевропейские участники на моей памяти всегда в таких случаях отличались краткостью, ясностью мысли, обоснованностью аргументов и профессиональной дисциплиной.

Приведу два примера из совсем недавнего личного опыта.

Открытие учредительной конференции Интернационала Сопротивления в Париже. Участники: несколько громких общеевропейских имен (не буду называть их, ибо питаю к ним самое высокое уважение) и диссиденты: Петр Григоренко, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов. Регламент выступлений: четыре минуты. Все диссиденты точно уложились в отведенное им время. Все общеевропейские знаменитости наболтали в среднем по 30—35 минут на каждого, заговорив публику до того, что она в конце концов разбежалась, забыв даже о предстоящем концерте популярного французского певца. Но, кстати сказать, даже опустевший зал не смутил выступавших: они продолжали свои словоизвержения, не смущаясь отсутствием слушателей.

Штутгарт. Конференция по марксизму. С одной стороны, лучшие анти-марксистские силы университетского мира ФРГ, с другой — Александр Зиновьев и ваш покорный слуга. Тут уж дело дошло до того, что даже сам председательствующий — бывший глава местного правительства — в заключение вынужден был признать, что "двое русских научили нас, как, с какой силой и убедительностью и с каким немногословием нужно и можно говорить о марксизме".

Это свидетельствует не только о том, что наши западные коллеги далеко не всегда отвечают стандартам, заданным им профессором Марком Азбелем, но и о том, что мы по-настоящему интересны западной аудитории не тогда, когда переходим на их "западный язык", а когда говорим на своем собст-

венном. На мой взгляд, именно тем-то мы для них и привлекательны. В данном случае я имею в виду аудиторию подлинно заинтересованную нашими проблемами, а не ту, что ждет от нас лишь подтверждения своих априорных благоглупостей о России. Тут мы никогда и ни в чем не переубедим, потому что переубеждаться ей просто невыгодно, да и дискомфортно. Не знаю, каких диссидентов имел в виду уважаемый профессор Марк Азбель, говоря об их "скромных успехах", но у тех, кого я знаю, к примеру, у Владимира Буковского, Александра Гинзбурга или Эдуарда Кузнецова до сих пор от приглашений отбоя нет. Честно говоря, и мне грех жаловаться. И все это, по-моему, от того, что каждый из нас никогда не старался и не старается переходить на "их язык". На "своем языке" западная аудитория и без нас достаточно понаслушалась.

После прочтения статьи профессора Азбеля я произвел также некоторые расчеты, основываясь на памятных для меня участиях в некоторых симпозиумах и конференциях. В результате выходило, что на самое длинное свое выступление или доклад я тратил пятнадцать минут (с переводом), а мои коллеги на самое короткое — полчаса (без перевода, разумеется).

И еще одно наблюдение. За десять лет моей эмиграции ни один мой западный гость (даже когда встреча назначалась по его просьбе) не приходил на свидание вовремя: десяти—пятнадцатиминутное опоздание было правилом, но зачастую такое опоздание доходило и до часа. И только я, "русский дикарь из тоталитарной страны", всякий раз оказывался на месте за две—три минуты до встречи. Это может подтвердить каждый, кто со мною когда-либо сталкивался.

Вот так-то, дорогие друзья. Думается мне, что искренне уважаемый мною профессор Марк Азбель подсознательно приписывает западным коллегам форму своего собственного поведения. Вот им бы у него и поучиться!

С уважением

Владимир Максимов (Париж).

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН

"ПСАЛОМ" (Роман-притча)

В конце этого года издательство "Страна и Мир" выпустит в свет новый роман замечательного писателя. Этот роман уже опубликован во Франции по-французски и восторженно встречен французской прессой:

"Не новый ли Достоевский вырос из воспитанника сиротского дома и бывшего комсомольца?" ("Нувель Обсерватор").

"Голос пророка и поэта" ("Монд").

"Библия по Горенштейну" ("Фигаро").

Заказы на книгу присылать по адресу издательства "Страна и Мир".

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле — до выхода следующего номера — 30000 шекелей, после этого — в соответствии с новым уровнем цен; за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR
L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

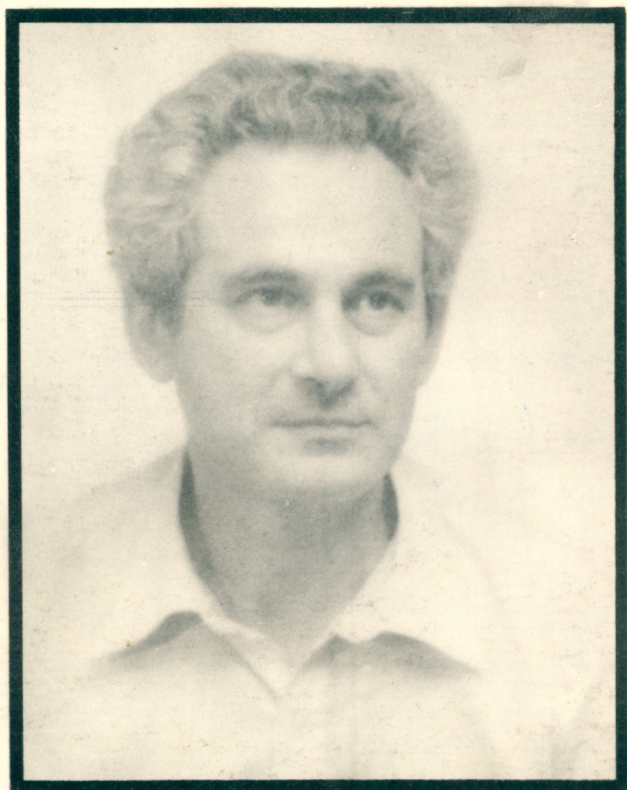
КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В мае—июне журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Н. Либерман (Ришон-ле-Цион) — 10000 шек., Л. Наткович (Нацерет-Илит) — 15000 шек., проф. И. Герцбах (Беер-Шева) — 10000 шек., М. Черкес (Тират-а-Кармель) — 5000 шек., М. Фильштинский (США) — 10 долл., Л. Пан (США) — 25 долл., С. Цитронблат (Париж) — 10 долл.

КО ВСЕМ АВТОРАМ

Редакция не возвращает отвергнутые рукописи и не вступает в переписку по их поводу.



Редколлегия и авторский коллектив журнала "22" с глубокой скорбью узнали о преждевременной смерти известного активиста борьбы за еврейскую репатриацию из СССР в Израиль, одного из зачинателей нового сионистского движения в СССР Меира Гельфанда. Меир Гельфанд был замечательным, необычайно привлекательным человеком, и многие из нас гордились дружбой и знакомством с ним. Память о нем сохранится в наших сердцах.